426412
К

Герольд Бельгер

Каждый год

Герольд Бельгер

КАМЕННЫЙ БРОД

Повести и рассказы

МОСКВА
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1987

84Жене
ББК 84 Каз7
Б 44

Художник
АЛЕКСАНДР ЕРЕМИН

4702230000—107
Б ——————— 393—87
083(02)—87

© Состав и оформление.
Издательство
«Советский писатель», 1987

Северо-Казахстанская
областная библиотека
им. С. Муканова
Петропавловск

426412


Повести

ПЕРЕД ДАЛЬЮ

У дорог только одно направление —
они мчатся в будущее...[1]

Роберт Вебер

I

Мы едем и едем. Я засыпаю под монотонный стук колес и скрип ветхого вагона и просыпаюсь измотанный, сомлевший от бесконечной тряски, а мы все едем. Или это только чудится? Или дни и ночи только кажутся такими длинными?

За маленьким квадратным окошком мелькают поля, лощины, редкие безмолвные деревеньки.

Днем хорошо. Днем наш поезд стоит часто и подолгу. Тишина в первые мгновения оглушает. Но вот по вагонам прокатывается слух: стоять будем час, а может, и больше, и тогда нас, мальчишек, никто уже не в силах удержать в душных вагонах, на жестких, тесных полках. Какое наслаждение — чувствовать под ногами твердь насыпи! Вокруг простирается бурая степь, сливаясь у пустынного горизонта с небом, и в этом огромном пространстве, наполненном тишиной и запахом осенних полей, кажутся неестественно крохотными, игрушечными и надсадно отдувающийся паровоз, и покорно выстроившиеся за ним товарные вагончики.

Мне нравятся эти стоянки. Я никак не могу привыкнуть к ощущению ошеломляющей бескрайности, безбрежности мира; в мою душу ворвалось вдруг столько впечатлений и тревог, что пребываю все эти дни в состоянии взволнованности и смятения. И только на стоянках, когда с ватагой незнакомых мальчишек я ошалело мчусь вдоль вагонов, меня покидает ненадолго это странное, тягостное чувство.

---

[1] Эпиграфы к главам I, II, VI, X, XI, XIII, XIV взяты из стихов советских немецких поэтов.

Мне трудно поверить, что эта тьма людей едет в одном эшелоне. И никто никуда вроде не спешит. Один мой папа носится из конца в конец состава, мелькая то здесь, то там белым подолом халата. Иногда он останавливается у какого-нибудь вагона, роется в своем чемоданчике-аптечке, но уже через минуту я вновь теряю его из виду. Мы мечемся, как угорелые, самые отчаянные из нас лезут под вагоны, что-то там находят, ощупывают, и пожилые женщины смотрят на нас почему-то грустными глазами и непривычно щедро одаривают домашней стряпней — шпрецелями[1], кренделями, пряниками, румяными, с блестящей глазурью баранками, обсыпанными маком.

Неожиданно взмывает, раскалывая прозрачную осеннюю тишь, требовательный, натужный гуд, и все бросаются к своим вагонам. Потом паровоз гудит еще, глуше, печальней и протяжней, точно мычит у калитки, вернувшись с выгона, наша Зорька. И вдруг вагоны вздрагивают, будто от испуга, и колеса, как бы нехотя, заводят свою унылую, опостылевшую песню: трак-та-та, трак-та-та, и мы снова едем.

Куда?.. Зачем?..

Мне кажется, о том же спрашивают и бесцветные глаза дедушки Пеннера. Пеннеры расположились на верхней полке рядом с нами, и я никак не могу сосчитать, сколько их. Им так тесно на своей половине, что сам Пеннер-отец с двумя сыновьями-подростками почти все время пропадает где-то внизу, у дверей. Жена его, рыхлая, растрепанная, точно наседка, кудахчет, ворчит, покрикивает на свой неугомонный выводок — рыжих, конопатых дочерей мал мала меньше.

Дедушка Пеннер... Должно быть, проказливые внучки надоели ему до смерти: он даже не замечает их. Самая младшая и непоседливая забирается со своим горшком на нашу половину. Дедушка Пеннер в упор, пристально смотрит на меня, отчего мне становится не по себе. Поймав мой взгляд, он шевелит дряблыми, лиловыми губами, раскрывает беззубый рот и точно выдыхает: «А?» Никому нет дела до дедушки Пеннера, никто с ним не разговаривает, и, кажется, единственное его занятие — глазеть на меня испытующе-угрюмо и время от времени ворчливо-строго вопрошать: «А?.. А?..»

Смеркается. В вагоне укладываются спать, потому что

---

[1] Сдобные сладости.

больше заняться нечем. И за квадратным окошком быстро сгущаются сумерки. Однообразно стучат колеса, покачивается, поскрипывает вагон, того и гляди развалится или опрокинется на поворотах, внизу у приоткрытой двери сидят, покуривают, подолгу молчат мужчины. Я вглядываюсь в сумрак: папы среди них нет. Значит, опять задержался в другом вагоне. А может, отстал от поезда? Я зябко вздрагиваю от этой страшной догадки и с тревогой смотрю на маму. Она, прижав к себе причмокивающую во сне Эльму, спит или просто думает, закрыв глаза. На гвоздике в углу белеет ее беретка. У мамы коротко остриженные черные волосы, темные лучистые глаза, круглое смуглое лицо. Когда она смеется, на ее щеках появляются крохотные ямочки. Но в последнее время мама не смеется. Она молчит и почти не выпускает из рук Эльму. Папы все нет, и я волнуюсь. На каждой остановке он натягивает на себя белый халат, в котором кажется еще выше, хватает свой чемоданчик-аптечку с красным крестом и полумесяцем на крышке и спешит к другим вагонам. Он, оказывается, отвечает за здоровье всего состава.

Все тише в вагоне, и все громче стучат колеса. В противоположном углу проснулась девочка, захныкала спросонья, но тут же успокоилась. Под нами кто-то жутко храпит. В окошко струится лунный свет. Молочно-белая полоска косо пролегла по верхней полке, сломавшись, нырнула вниз и потянулась к двери, к узкому, с ладонь, проему. Полоска дрожит, вместе с ней дрожат и причудливые отблески на ней. У двери лунная дорожка обрывается. Я крепче зажмуриваю глаза, чтобы представить, куда тянется эта белая тропинка с затейливыми бликами на ней, и вдруг отчетливо, до мелочей вижу покинутый наш дом, крыльцо, большую бочку в сенях с пахучей, в зеленоватой плесени, водой, в которой обитает диковинный со страшными щупальцами жук, пойманный папой в нашей речушке, где я с пацанами, бывало, целыми днями ловил раков. Я вижу излучину с разноцветными гальками на пологом берегу, площадь в центре села с крашеной трибуной на подмостках — любимые места наших игр.

Поезд замедляет ход, он почти останавливается, и тут с грохотом раздвигается дверь, кто-то большой и ловкий легко впрыгивает в вагон. Это — папа, он поднимается на полку, склоняется надо мной, поправляет одеяло и ложится рядом.

— Где ж ты так долго?— шепотом спрашивает мама.

— В пятом вагоне,— тоже шепчет папа.— С бабкой Дите плохо.

— Что с ней?

— Сердце... Плачет... Умру, говорит, посреди степей, в дороге...

— О боже!..— вздыхает дедушка Пеннер.— Выходит, не я один не сплю в скрипучем товарном вагоне.

— А из третьего вагона мальчик убежал,— еще тише продолжает папа.

— Как... убежал?!

— На последнем полустанке отстал... нарочно. Коля Вагнер.

— Ну как же он так?! Большой?

— Четырнадцать лет... По дому, видишь ли, соскучился, по деревне, а больше всего по любимому псу. Отец растерян, мать убивается...

— Пропадет мальчишка...

У меня начинает сильно колотиться сердце. Да ведь я его знаю, Колю Вагнера! Вихрастый такой, длинноногий. Вчера еще подбивал, уговаривал Яшу Пеннера бежать вместе. Помню, взахлеб рассказывал о своем Рексе да еще о каких-то древних курганах за деревней... Какой отчаянный!

— Если бы я мог... если б только мог,— слышится свистящий голос дедушки Пеннера,— я бы тоже... пешком, ползком добрался бы до...

— Тише, отец,— говорит папа.— Что бы вы там делали?..

— И один бы прожил... Или умер... зато не трясся бы сейчас, не...— жарко шепчет дудушка.

Есть одно слово — длинное, мудреное,— которое часто повторяют взрослые, но я почему-то не могу его запомнить. Вспомню и тут же забуду. Но как же, как же?.. Ладно, утешаю я себя, утром вспомню, как проснусь, как только открою глаза, так сразу и вспомню. Всегда так. Бывает, забудешь что-нибудь перед сном — хоть лопни, не вспомнишь. А утром — бах!— и даже не думал об этом вовсе, а оно — вот оно!— будто из-под одеяла выпрыгнуло...

Стучат-стучат колеса, в квадратном окошке мелькают, мечутся тени. Скрипит, жалуется деревянный вагон, убаюкивает. Внизу, у двери, шепчутся, бормочут мужики; вспыхивают в их руках спички. Едкий табачный дым тянется кверху, щекочет ноздри. Глаза мои слипаются...

Я вижу длинную-длинную лунную дорожку, по кото-

рой, ссутулившись, одиноко бредет и бредет вихрастый Коля Вагнер. Дорожка постепенно тускнеет, ныряет в сумеречные лощины, а фигурка одинокого путника становится все меньше и меньше, растворяется во мраке.

Я засыпаю и уже сквозь сон вдруг вспоминаю слово — длинное, мудреное,— которое сейчас у всех на устах: э-ва-ку-а-ци-я...

II

Вкривь и вкось —
как будто так издревле повелось —
ряды хатенок выбегали в поле.

Фридрих Больгер

Деревянные и саманные хатенки с резными ставнями и без ставней, кособокие, приземистые бани в зарослях бурьяна в конце огромных огородов, с ярко золотящимися на солнце подсолнухами в запущенных палисадниках, словно застыли, косясь друг на друга, на почтительном расстоянии вдоль глинистого косогора. Приютился хуторок на краю ковыльной степи неподалеку от речки. Днем здесь безлюдно, сонно, только отчаянно-горластые петухи то и дело — должно быть, от скуки — устраивают перекличку. Все меня поражает: и с низкими потолками дом, куда нас поселили, и непомерно большая, на полкомнаты печь, и сама хозяйка — молчаливая старуха. Но особенно изумляет и пугает меня простор, открывающийся во все стороны от хуторка, необъятный мир, в котором чувствуешь себя беспомощным. Мы будем здесь жить временно — так объяснила мама. И еще она сказала, что сейчас страда, хлеб созрел, но не убран, и сенокос еще не кончился в колхозе, потому что не хватает людей, и все приезжие, э-ва-ку-и-ро-ван-ны-е, мобилизованы на сельскохозяйственные работы.

— Что такое моби... ли... зованы?

— Это значит,— улыбается мама,— всем нужно помогать колхозу.

Папа встает спозаранок, когда я еще сплю, и приходит ночью. И мама прибегает домой нечасто, поест что-нибудь на ходу, сварит кашу для Эльмы и снова спешит на ток — это за косогором возле березового лесочка, где вымолачивают, очищают, просеивают на ветру пшеницу.

...Жарко на кухне. Бабка Кудрявцева с утра растопила печь и теперь с ухватом в руке заглядывает в ее черную утробу, что-то там переставляет, передвигает, и я не вижу ее лица, вижу только сутулую, узкую спину, серое длинное платье, из-под которого высовываются неправдоподобно огромные кирзовые сапоги. У окошка за чисто выскобленным столом сидит растрепанная Валя и деловито дует на бокастый румяный пирожок. Ее бабушка, несомненно, великая стряпуха. Какую только начинку она не придумывает для своих пирогов: то с капустой, то с картошкой, то с морковью, то с вишнями, смородиной, крыжовником. Валя, гримасничая, откусывает от горячего пышного пирога, и изнутри его еле заметной струйкой вьется пар. Я сглатываю: интересно, с чем сегодня пироги?

— Сейчас покушаем и пойдем играт да?— постреливает на меня синими глазищами Валя.

Я киваю. С чем же все-таки пироги? печки дет незнакомый, очень вкусный запах.

Мамы уже нет. Она и Эльму забрала с собой. Многие мамы берут детей на ток. Там, говорят, есть избушка.

С Валей мы подружились в первый же день. Она сама подошла ко мне, тряхнула желтыми кудряшками:

— Тебя как звать?

— Гарри.

— Как? Как?

— Гар-ри...

— Гришка небось?— снисходительно улыбнулась Валя.

— Нет, не Гришка,— подумав, возразил я.

Валя, наверное, старше меня и потому сразу принялась мной командовать. Я хотел сначала возмутиться, но потом, когда она повела меня в огород и угостила смородиной, забыл о своем хотении. Почему-то имя мое ей не понравилось, и она предпочитает меня называть: «Эй, ты!»

Валя откусывает пирожок по краям, облизывает губки, дует на пальцы. Бабка с грохотом швыряет ухват в угол, задвигает заслонку и, топая сапожищами, подходит к столу и протягивает мне два раскаленных с подпалинами пирога. Лицо ее изрезано морщинами, глаза под насупленными бровями смотрят сурово. И вдруг губы ее расплываются в беззубой улыбке.

— Ешь, мальчик... Мамка твоя после обеда придет.

Я в нетерпении разрываю пирог.

— Это... мясо?

Русское слово «мясо» я вспомнил только сейчас, в это мгновение, и удивился, откуда оно вдруг пришло, ведь не знал его и даже, кажется, не слышал никогда. Я почувствовал необыкновенную радость оттого, что так запросто, без усилия смог его сказать. И вообще это просто непостижимо, сколько русских слов я узнал, запомнил за эти дни, поймал на лету, пока живу в хуторке и играю с желтоволосой Валей.

— Хэ,— ухмыляется Валя.— Мясо захотел... Это требушина!

Все знает эта вертушка. Требушина! Надо спросить у мамы, что это такое. Что бы ни было — вкусно!

Солнце уже стоит высоко. Невесомые белые нити плывут в воздухе, цепляются за тяжелые, поникшие головы подсолнухов. На статной осине возле дома чуть слышно шелестят листья. Вот вздрогнуло дерево, сорвалось несколько листьев, они плавно закружились вокруг осины, как бы силясь удержаться в воздухе, ближе к родной ветке, но не удержались, заскользили по земле, потом покорно легли, словно глядя на тех, что еще беззаботно перешептывались в вышине. Я смотрю на крайнюю избушку рядом с черной копешкой прошлогоднего сена. Туда поселили Пеннеров. Возле избушки никого сейчас не видно. Пеннер-отец работает в поле, жена его — со всем своим выводком, видно, тоже на току. Может, Яшка дома?..

Мы бежим на край хутора. Домик маленький, скособоченный, утонувший в бурьяне, и даже плоская крыша его, дерном покрытая, заросла чертополохом. У подгнившего плетня нашли пристанище сухие пегие кусты перекати-поля. Во дворе стоит телега без двух колес и с одной оглоблей, лежит деревянная колода, вокруг которой суетится клушка с уже оперившимися птенцами. Мне чудится, кто-то за мною следит. Я оглядываюсь: на завалинке, подстелив какую-то ветошь и опершись подбородком на палку, греется на солнышке дедушка Пеннер. Он смотрит на меня долго-долго, качает головой, шевелит лиловыми губами и спрашивает, будто выдыхает: «А?» О чем он думает? Что он хочет сказать? Почему он смотрит на меня не то с укором, не то с жалостью?..

Жалко дедушку. Он — такой маленький, высохший — сам похож сейчас на куст перекати-поля у плетня.

— Уйдем,— тормошит меня Валя,— уйдем отсюда.

Мне самому хочется скорее уйти. Но надо же что-то сказать дедушке. Говорить «Здравствуйте!», когда я уже

собираюсь уходить, вроде бы неудобно. Сказать «До свидания!», когда я не произнес ни одного слова, тоже, по-моему, нехорошо. Что бы такое у него спросить? Пока я раздумываю, дедушка еще сильнее качает головой, и глаза его становятся еще печальней, и он уже сам задает свой неразрешимый вопрос: «А?»

Мы убегаем.

В конце огорода, вдоль плетня, густо растут акации, тальник и смородина. Здесь уютно, тихо, приятно припекает солнце, пахнет разогретой землей, прелым сеном, увядшей картофельной ботвой. Носятся взад-вперед, шелестя прозрачными крылышками, лупоглазые стрекозы. Кружатся, порхают бабочки. Я взбираюсь на плетень, держусь за длинные гибкие ветви тальника и смотрю на темнеющие заросли и дальше — на крутой каменный берег, по которому, вынырнув откуда-то, вьется дорога, и еще дальше — в степь, по которой плывут бесконечные таинственные тени.

— Что это... лес?— спрашиваю, опять чувствуя необъяснимую радость оттого, что знаю такое слово.

— Нет... Тугай. Леса дальше,— задумчиво говорит Валя.— Знаешь, сколько в лесу ягод! Был бы папаня дома, поехали бы за вишнями.

Я молчу. Я знаю, Валин папа, тракторист, на фронте бьет сейчас фашистов. Знаю, что он прислал два письма — я видел эти истертые треугольнички за иконой в переднем углу.

— А в тугае что есть?

— В тугае шиповник, смородина, черемуха. Только меня туда не пускают.

— Страшно?

— Не-е... Комары больно кусучие. И мошка. И заблудиться можно. Или в Ишим ненароком упасть.

— Ишим?

— Река так называется.

Мне вспоминается наша речушка, оставшаяся далеко-далеко. Она была мелкая, берега в ромашках, по краям стоял камыш, плавали кувшинки и лилии.

— А эти... как их... раки есть?

— Какие раки?— Валя морщит носик.— Раков захотел! Щуки есть — во! И окуни, и пескари, и... Папаня всегда ловил. Ты ел пирог с рыбой?

Я вздыхаю. Ишим. Тугай. Степь... Интересно! Ничего этого я раньше не знал. А они всегда были. И Ишим, и

тугай, и степь. А что там, за Ишимом, за тугаем, за степью?.. И там тоже живут люди? Какие люди? И откуда они?

Дни проходят, проплывают, как тени за Ишимом. Уже и солнце погружается в пасмурь, и туманы по утрам окутывают хутор, и тогда кажется, один дом бабки Кудрявцевой остался на всем белом свете. Вот и кончилась работа на току. Мама занята стиркой, а бабка Кудрявцева топит баню. Из низкой узкой двери валит густой черный дым. Из дыма выскакивает бабка в кирзовых сапогах и восхищенно шамкает:

— Ох, и банька будет! Ох, и попаримся же сегодня!

Сомневаюсь, что в этой яме, пропахшей угаром, можно мыться. Только измазюкаешься как черт.

Видно, и папа так считает. Придя с поля, он постоял возле бабкиной бани, помог натаскать воды, потом, сильно сгибаясь, залез в ее нутро, изрыгавшее клубы едкого дыма, но тут же выскочил и махнул рукой.

— Пойду-ка лучше в Ишиме искупаюсь.

По тропе меж густых зарослей бурьяна и полыни мы спускаемся в низину. Навстречу нам со стороны тугая бредут задумчивые коровы. Папа идет быстрым шагом, и я еле успеваю за ним. Как он изменился за эти недели! Похудел, загорел, оброс. Жидкие волосы прилипли ко лбу. Лицо вытянулось, и теперь нос кажется еще мощней. Гимнастерка выцвела на спине и плечах до белизны. В обвислые штанины галифе цепко вкогтились колючки репейника.

Тропа из низины поползла на рыжий бугор.

— Побежали, Гарри! За мно-о-ой!..

Мы летим по тропинке — выше, выше и, взбежав на вершину бугра, останавливаемся.

Ух ты! Какая ширь! Внизу, тускло поблескивая, застыла река. У берегов вода темная, а к середине она постепенно синеет, местами, на отмели, виднеется желтая песчаная полоска. Ни одной живой души вокруг. Справа Ишим зажат с двух сторон каменистым яром, а слева он течет вольно, лениво меж размытых берегов.

Мы спускаемся к реке. Папа быстро раздевается, осторожно входит в воду. Сделав несколько шагов, он восторженно ухает и, широко, сильно загребая, пускается вплавь. Он плывет и плывет против течения, пофыркивает, я бегу бережком, попеременно прыгаю то на одной, то на другой ноге, глубоко увязая в зыбучем песке.

— Давай! Давай! — кричит, подзадоривая меня, папа. Вокруг него вода бурлит, пенится, и только руки его мелькают в воздухе. Я уже бегу во всю прыть, спотыкаюсь, падаю и вновь бегу, бегу...

— Сто-ой! Сда-ю-усь! — слышу позади папин голос.

Папа уже свернул к середине, встал на ноги, пошел по намытой песчаной косе. Там он стоит долго, высокий, сильный, смелый, один посередине незнакомой степной реки.

На берегу папа крепко, до красноты, растирается полотенцем, подпрыгивает, бодро одевается и все приговаривает с каким-то упорством:

— Хорошо, Гарри, хорошо! Хорошо!

Я не совсем понимаю, что он хочет этим сказать, но и мне почему-то кажется, что не так уж все плохо.

Наутро, когда я просыпаюсь, мама сообщает, что папа уехал в район. Там должны сказать, где мы будем дальше жить и кем будет папа работать. Мобилизация на сельскохозяйственные работы кончилась.

III

Сюда я прибыл,
И отсюда начинается мой путь.

Эва Штритматтер

Быкам спешить некуда. Они тупо смотрят на разбитую в трещинах дорогу, мотают головами, похлестывают себя грязными, с фиолетовыми колючками на конце хвостами. И степь, и лесочки, и стерня, и эта длинная-длинная дорога — все им до скуки знакомо. Ничем их не удивишь.

Не спешит и возница. Он сидит, скрестив ноги, на передке, на охапке сена, застеленного старой фуфайкой, и глухо поет что-то бесконечное. Странная песня. Он ее завел, когда быки втащили наш рыдван через мост на берег, и с тех пор бормочет и бормочет. Я пытаюсь уловить мелодию, но мне слышится одно и то же — монотонное, заунывное: «Ля-ля-ля, буль-буль-буль». У него широкое, скуластое лицо, плоский нос, маленькие твердые уши. На бороде редкие волосинки — сосчитать можно. Он сильно щурится, и без того сужая узкие глаза-щелки; иногда он достает из кармана толстых кожаных штанов пузырек, сыплет на ладонь щепоть бурого с зеленцой жевательного

табаку, аккуратно закладывает его за губу. Тогда песня ненадолго умолкает.

Скрипит рыдван. Сприпят колеса. Скрипит ярмо. Скрип-скрип... И дороге нет конца.

Сколько же можно ехать? Ехали на машине, потом на поезде, потом опять на машине, а теперь на телеге, запряженной быками. С кем я теперь играть буду? Нет ни Яшки Пеннера, ни Вали Кудрявцевой. Когда я взбирался на телегу, Валя разревелась и убежала в огород. Бабка улыбалась, совала мне сверток с пирогами, а я тоже крепился изо всех сил. Мама все уговаривала, чтобы я сбегал к Пеннерам, простился с девчонками и дедушкой, но я упрямо мотал головой. Я представил угрюмо-растерянный взгляд дедушки Пеннера, задающего загадочный, с придыханием вопрос: «А?» — на который я не мог ответить. Я чувствовал, что поступаю гадко, но пересилить себя не мог. И мама, заметив мою растерянность, оставила меня в покое.

На рыдване все наши пожитки: кровать с блестящими шарами на спинках, черный с замком сундук и баул, туго перетянутый багажным ремнем. Мама сидит на сундуке, забавляет Эльму, перебирает, улыбаясь, ее пальчики. Поразительно, до чего тихой и покладистой стала эта плакса! Я оседлал баул и смотрю по сторонам. Вокруг степь, лесочки да небо. Думаешь, за тем перевалом будет что-то другое, ждешь, ждешь, всматриваешься до боли в глазах вперед, и быки преодолевают наконец и этот перевал, но там опять степь, лесочки, бесконечная дорога; и возница, выплюнув изжеванный табак, крутит над головой прутом, чтобы быки не совсем уснули, и опять затягивает гортанное: «Ля-ля-ля, буль-буль-буль...»

Папе не сидится на телеге. Такая езда не по нему. Он идет рядом по обочине дороги, играет с Эльмой в прятки, успевает забегать в лесок, потом догоняет нас и угощает то вишнями, то костяникой.

— Жуть, сколько ягод в лесу,— сообщает он.— Костяника прямо горит под ногами. А как она красиво растет — смотри!

В самом деле — прелесть! Рубиново-красные прозрачные ягодки похожи на бусинки. Они расположены плотно, кисточкой, и эти грозди как бы обрамлены мелкими, в рубчиках, листиками. В руках у папы все красиво. Даже букет разноцветных осенних листьев горит в его руках ярче, чем в лесу.

— Вишня уже засыхает,— замечает мама.— Некому собирать... Еще далеко нам ехать?

Папа сам не знает. Он спрашивает у возницы и переводит его слова.

— Километров двадцать от района.

И мне только теперь становится ясно, что означает в устах возницы «дуайсат». Иногда возница и папа перебрасываются словами, и мне чудится, что они говорят по-русски, но одни и те же слова они произносят настолько разно, что я ничего не понимаю.

Мама сомневается: мы тащимся уже два часа, а на жилье и намека нет. Возница сдвигает шапку на лоб, скребет бритый затылок.

— Э, бог знайт... Может, дуайсат пет...

— Двадцать пять!— поражается мама.— Как здесь все далеко! У нас там одна деревня кончается, другая начинается.

— Да,— соглашается папа.— Здесь простор! Раздолье! Смотри какие поля! А земля-то — сплошь чернозем!

Дорога то в лесок нырнет, то опушку обогнет, то в ковыльную степь выходит. Скрипят колеса. Заученным шагом бредут быки.

Возница смотрит на меня, щурится:

— Эй, баранчук... пацанка... спать хочет?

Меня и впрямь клонит ко сну. Глаза смыкаются, все вокруг точно плывет куда-то, покачивается. Папа мигом сооружает лежбище, придвинув баул к сундуку.

Вознице, должно быть, надоело петь. Ему хочется поговорить.

— Тебя звать как?— спрашивает он папу.

— А вас?

— Мой — Тайшык.

— Как?.. Тайчик?

— Ия... Тайшык.

— А я — Гертер.

— Кертр?!— изумленно спрашивает возница.— Каких только имен у орысов нету!.. Кертр...

Мама начинает вдруг хохотать. Что-то ее рассмешило в этом разговоре. Папа тоже смеется. Глядя на них, добродушно похихикивает и возница. Я улыбаюсь: убаюкала меня тряская телега. Мне теперь кажется, будто и колеса скрипят: «Тай-шик, тай-шик...»

Долго ли мы еще едем — не знаю. Будит меня радостный крик возницы:

— Эй, баранчук, приехали!.. Аул!

Я протираю глаза и ничего не понимаю. Солнце опустилось за лес.

Быки стоят, понуро свесив головы, возле какого-то дома. То здесь, то там темнеют еще дома, совсем непохожие на хуторские. И запах здесь иной, незнакомый. Папа опускает меня на землю рядом с мамой и вместе с Тайшиком заносит черный сундук в дом. На нас глазеют в сторонке ватага мальчишек и несколько взрослых в непривычном одеянии. Все они кажутся похожими на Тайшика.

Аул?.. Это и есть аул? Деревня?

Здесь будет папа работать?

Здесь мы будем жить?

IV

Приветливое лицо — лучшее блюдо.

Немецкая поговорка

Не отрекайся от того, у кого приветливое лицо.

Казахская поговорка

Низкие, темные тучи заволокли небо над аулом. Все холоднее дыхание ветра. Еще три дня назад папа сказал: «Будет снег». Но снега все нет. Есть одна промозглая стынь. Земля — черная, обнаженная — затвердела, промерзла до звона.

Я уже сделал три круга, и мне осталось еще семь. Я должен разогреть мышцы, расширить сосуды и раздышать легкие свежим воздухом. Таков наказ папы. Мама считает, что вовсе необязательно бегать как дураку возле дома. Воздуха достаточно и в комнате: дует-то во все щели. Но папа настоял на своем: десять кругов. Мне не совсем ясно, почему именно десять. Наверное, думаю я, потому, что до десяти я давно считаю без запинки.

За папой приезжали еще ночью: кто-то сильно занемог. И я раздумываю: а ведь и в самом деле неинтересно без толку бегать по кругу. Стоит ли мне делать оставшиеся семь кругов? Никто не видит и не знает, сколько раз я бегал. А потом, могу же я и со счета сбиться.

На помойке стрекочут две сороки, о чем-то возбужденно переговариваются. «Кто-то идет, кто-то идет, идет, идет»,— будто надрывается одна. Другая вторит: «Вот он,

вот он, вот идет». Действительно, к помойке подкрадывается рыжий шелудивый пес. Он нехотя обнюхивает то место, куда мама выливает помои, и с любопытством смотрит на меня, склоняя голову то налево, то направо. Потом пес уходит, презрительно косясь на умолкших белобоких сплетниц, а они суетливо вышагивают-вышагивают по помойке и пуще прежнего стрекочут. «Он ушел, он ушел, он ушел»,— твердит одна. Другая перебивает ее. «Ну да, ушел, ну да, ушел, ушел, ушел».

Гости будут. Раз сороки слетелись к дому — жди гостей. Болтуньи, откуда, какие гости?.. Нет, все же сделаю еще семь кругов. Нехорошо обманывать.

На широкой пустынной улице семенит тетка. Длинный подол трепыхается на ветру. Одной рукой она стягивает борта плюшевого не то пальто, не то халата, в другой держит маленькое деревянное ведерко. Больше всего меня поражает ее головной убор: не платок, не шаль, а что-то большое, белое, развевающееся, будто сделала прорезь в простыне и натянула ее через голову. Такого я еще не видывал. Она идет быстро, бочком, маленькая, легкая, кажется, вот-вот взлетит. С удивлением и страхом убеждаюсь, что идет тетка к нам. Опрометью бросаюсь в дом.

— Мама, мама... ка-ка-казашка идет.

— Что-о?

Мама не в духе. Опять печка дымит, и дрова сырые, шипят, не разгораются.

Дверь раскрывается без стука, и, окутанная облаком пара, вырастает на пороге гостья. Она улыбается.

— Э... аман?.. Живой-здоровый?

— Здравствуйте,— отвечает мама.

У гостьи черные открытые глаза, широкие скулы, узкие, как у девчонки, плечи. Она садится на краешек сундука, ставит на стол деревянное ведерко, завязанное цветастой тряпицей, и быстро оглядывает наше убогое жилье.

— Э, карош... карош... Баранчук аман? Твой аман?..— радостно лопочет гостья.— Мой — Магрипа...

«Магрипа»,— повторяю я про себя. Непривычно, но звучно. Значит, тетя Магрипа, а я буду называть ее, наверное, танте Магрипа. Забавное сочетание!

— Вот,— говорит танте Магрипа, указывая на ведерко.— Маленький баранчук молока...

Мама не сразу понимает, что говорит гостья, а поняв, переливает молоко в кастрюлю и приносит деньги. Гостья машет обеими руками:

Северо-Казахстанская
областная библиотека
им. С. Муканова
г. Петропавловск
426412

— Нет, нет... не надо. Зачем?

Мама в недоумении. Она благодарно улыбается и угощает гостью слоеным пирогом. Гостья довольна.

— Э... першил нету?

Это она про папу. Першил — значит фельдшер.

— В Каратал уехал.

— Ладно... ладно...

Танте Магрипа озирается вокруг, улыбается, языком прицокивает.

— Баранчук маленький, молоко надо... Еще таскайт буду,— уходя, говорит она.

— Ты не заметил, где она живет?— спрашивает мама.

— Кажется, во-он в той завалюшке.

Мы с мамой долго смотрим в окно.

По широкой пустынной улице быстро-быстро семенит наша гостья. Ветер развевает подол ее длинного платья, треплет странный головной убор...

Я вновь отправляюсь на улицу. Мне надо честно проделать еще семь кругов. Я бегу ровно, легко, как учил меня папа. Грудью вперед, локти слегка прижаты к туловищу, кисти рук расслаблены, дышу только носом. Три шага — вдох, четыре шага — выдох. Вот так, так, так... Уже последний, десятый, круг...

— Хе-хе-хе...

На меня пялят глаза двое. Когда они подошли? Откуда? Один приземистый, плотный, узкоглазый, в рваном, клочья наружу, кожушке, перетянутом в поясе волосяной бечевкой. Вид у него вызывающий, дерзкий. Другой стройный, ростом выше меня, светлолиц, в пушистом лисьем треухе, стеганой фуфайке и высоких сапогах. Мы внимательно разглядываем друг друга.

— Тамыр[1] будем?— спрашивает приземистый и улыбается во весь рот.

Этот начинает мне нравиться. Непонятно только, чего он от меня хочет. Я тоже улыбаюсь, выказывая свое искреннее расположение к нему.

— Мен — Ойрат,— тычет он себя в грудь.— Сен?

— Гарри.

— А?— щерится приземистый.— Кари?

Светлолицего, оказывается, зовут Салим.

Ойрат вдруг хватает меня за шиворот и, подставив ногу, швыряет на землю. Я холодею от возмущения и

[1] Друг, приятель *(каз.)*.

вероломства и смотрю на дом: может, скорее дать деру? Но Ойрат смеется, хлопает меня по плечу, говорит: «Давай, давай!» — и показывает, что желает со мной бороться. Я никогда в жизни не боролся и в этот миг подумал, что бороться — значит неожиданно свалить соперника на землю. Я резко вскакиваю и обеими руками изо всех сил толкаю Ойрата в грудь. Он, точно подрубленный, шмякается оземь. Шапка слетает с его головы. Салим испуганно шарахается в сторону, решив, наверно, что теперь я накинусь на него. Ойрат обескуражен. Он неуклюже поднимается и начинает ругаться:

— Дурак!..

Лихорадочно соображаю, чем бы ответить. Я совсем не знаю ругательных слов. Можно б было, пожалуй, обозвать его обезьяной, но он ведь не поймет. К тому же надо было сказать сразу, а не раздумывать. А Ойрат опять хватает меня за бока, ухмыляется, подбадривает: «Давай, давай!» Я обеими руками вцепляюсь в волосяную бечевку, силюсь приподнять его — какой там. Чурбан! Раскорячит свои кривые ноги, и с места не сдвинешь. Может, сверху навалиться, попытаться придавить его? Но он тогда нырнет под грудь и перекинет меня через голову. Пока я размышляю, он прижимает меня к себе, делает рывок в сторону и бросает через бедро. Я вскакиваю и опять хватаю его за волосяную бечевку, поднатужившись, кручу-верчу его вокруг себя, а он, потоптавшись, делает подножку и валится на меня. Ойрат доволен. Ойрат похохатывает. Меня это начинает злить. Не может быть, чтобы он меня поборол! Я ведь ростом выше его. Но Ойрат без труда одолевает меня и в третий раз. Больно колет в животе, к ногам подкатывается слабость, кружится голова.

— Вставай, вставай,— говорит Ойрат.

Досадно все же. Может, со светлолицым схлестнуться? Но тот, наверное, сильнее Ойрата.

— Давай наперегонки,— предлагаю я.— Ну, бегать, бегать вокруг дома. Вот так... Кто быстрее, а?

Ойрат кривит губы:

— Мой не собака!

Мама стучит в окно: пора обедать. А мне совсем не хочется расставаться с новыми друзьями. Им тоже не нравится, что я ухожу. Раздевшись, смотрю в окно: светлолицего не видно, а Ойрат, не торопясь, идет по улице к той завалюхе через два дома. Неужели и он там живет? Неужели наша гостья, принесшая молоко, его мама?..

V

Где они, слезы вчерашние?
Где он, прошлогодний снег?

Бертольд Брехт

Еще не совсем проснувшись, я понял: что-то случилось. Такая необычная стояла тишина, какой и ночью не бывает. Словно уши заткнули ватой. Не свищет ветер, в трубе не гудит, и ворон горластых не слышно.

Мягко, без привычного скрипа распахивается дверь, и ноздри мои мгновенно улавливают новый запах, который, накатываясь волной, обволакивает мою постель и бодрит, свежит, будто грудь распирает. Мама опускает у печки вязанку только что нарубленных поленьев.

— Посмотри, Гарри, как красиво идет снег!

Я отшвыриваю одеяло и льну к окну. За окном неслышно кружатся крупные белые хлопья. Снег плотно укутал землю, и дома точно вырядились в белые мохнатые шапки. Кажется, с неба, из-за плотной серой пелены, бесконечной волной опускается на землю, колыхаясь, белая воздушная кисея.

— Видишь, видишь?!— радуется вместе со мной мама. Щеки ее раскраснелись, глаза поблескивают, от нее идет тот же свежий, бодрящий запах.

Я заметил, что мама восторгается любой погодой. Если солнечно и тепло, она говорит: «Красота! Даже в дом не хочется заходить» Когда черный ливень неистово хлещет землю, мама ликует: «Чудо-дождь! Все вычистит, всю грязь смоет». И даже пасмурные, хмурые дни ее радуют: «Как уютно! Самое время домашним делом заняться».

Снег — это, конечно, прекрасно, но мне-то как быть в моих обшарпанных ботиночках и жидковатом пальтишке?

После завтрака я вновь устраиваюсь у окна. Снег, кажется, идет ленивей, медленней, и мне хочется, чтобы он шел подольше, и тогда, может, не надо будет бегать вокруг дома десять раз.

На заснеженном пустыре появляется Ойрат.

— Мама, я пойду на улицу?

— Только не надолго!

На улице безветренно, тепло, но рыхлый снег сразу набивается в ботинки. Я выковыриваю его указательным пальцем и плетусь след в след за Ойратом. Возле дома

Салима, единственного под железной крышей во всем ауле, нас встречает рыжий пес и добродушно помахивает хвостом, дескать, ладно уж, заходите, коли пришли.

В передней председательского дома многолюдно. Нас обдает жаром и кисловатым, удушливым запахом. Прямо от порога полукругом сидят на кошме старухи и молодайки в верхней одежде, и перед каждой из них стоит одно или два ведра с молоком. Седенький, весь в черном, благообразный старичок, исполненный важности и достоинства, восседает на подушке и крутит сепаратор, точно священнодействует. Монотонно и самодовольно жужжит сепаратор, будто мурлычет, млея от истомы, сытый кот. Из одного краника широкой тугой струей, пенясь, льется синеватый обрат, из другого — тянется тонкая, но густая желтоватая струйка сливок. Как не важничать старику, если во всем ауле только один сепаратор, и все эти женщины должны покорно сидеть и ждать, пока он прокрутит их молоко? Он точно сросся со своим сепаратором и даже не меняет отрешенной позы в то время, как женщины — кто цокая языком, кто качая головой — с любопытством разглядывают меня, робко переминающегося с ноги на ногу за спиной Ойрата. Для многих в ауле я все еще странный пришелец, и мое появление сопровождается неизменными словами — «першыл», «бала», «Кари», которые в сочетании означают: «Гарри — сын фельдшера».

Салима дома нет, он отправился поить жеребца, и Ойрат озабоченно чешет затылок. Он, конечно, надеялся, что после того, как сепаратор умолкнет, ему, Салиму и мне выпадет счастье слизать, жмурясь от удовольствия, густые сливки на чашечках и краниках сепаратора. Но, видно, сегодня нам это не суждено, и Ойрат, вздохнув, предлагает:

— Айда к Кабдешу!

Солнце робко пытается пробиться сквозь толщу туч, снег уже не идет, осел и теперь не так сильно лезет в ботинки.

Мы идем мимо школы. Здесь в самом разгаре потешная баталия. Грудь в грудь сошлись противники в глубоком сугробе. Особенно стараются предводители двух сторон — оба долговязые, крепкие. Один из них вдруг подбежал к Ойрату, подсадил его себе на шею, выбежал в круг, взбрыкивая, точно строптивый конь. Другой — горбоно-

сый, пучеглазый, разгоряченный — тотчас схватил меня, тоже усадил верхом и закричал: «Держись!» Перестрелка снежками затихает, всем охота полюбоваться поединком предводителей. «Хватай! Вали! Дави!» — рычит подо мной горбоносый, и я соображаю, что должен схватить Ойрата за руку и стянуть с плеч того крепыша. Наши «кони» яростно сходятся, неистовствуют, толкаются, и толпа вокруг орет, подзадоривает. Азарт охватывает и меня, и я изо всех сил норовлю вцепиться в истертый воротничок Ойратова кожушка. Мой «скакун» неожиданно заходит сбоку и, почувствовав, что я все-таки изловчился и поймал соперника за ворот, резко отскакивает в сторону, и Ойрат, вместе со своим «конем» потеряв равновесие, валится в сугроб. Ошалевшая от восторга толпа набрасывается на поверженных, устраивая кучу-малу, а горбоносый, не опуская меня на землю и ликуя, вприпрыжку несется в школу и невпопад орет: «Гутен таг! Гутен таг! Анна унд Марта баден». Я вконец растерян. То, что горбоносый надрывается: «Гутен таг!» — «Добрый день!» — еще куда ни шло, но с какой стати он вспомнил каких-то Анну и Марту, которые к тому же купаются,— совершенно непостижимо. Горбоносый ворвался в класс, опустил меня у доски, сунул мне в руку мел и вытянулся передо мной, подобострастно тараща глаза:

— Их бин хойте орднер[1].

Класс хохочет от острот горбоносого, а у меня от растерянности и стыда пылают уши. Тут-то и появился Очкастый Ганс с журналом под мышкой.

— Что такое?

— Это наш новый учитель немецкого языка,— продолжает дурачиться горбоносый.

Глаза Очкастого Ганса улыбаются из-за толстых стекол очков. Собственно, зовут его не так. Я слышал, как папа называл учителя, что-то очень похоже на «А-ха-ха-ка-хатович», но ни я, ни мама не можем запомнить его мудреное имя и потому зовем просто: Очкастый Ганс. Был такой учитель в маминой деревне.

— В десятый класс тебе, пожалуй, рановато, а?— говорит Очкастый Ганс.

В классе опять смеются.

— Ну, ладно... Иди...

Пусто в длинном коридоре. На стене — плакаты, га-

[1] Сегодня я дежурный *(нем.)*.

зеты, карты. У входа на скамейке стоит громадный бак с железной кружкой на цепи.

— Этот Шаймурат — настоящий жынды... дурной,— говорит Ойрат.

— Какой Шаймурат?

— Да вот этот... на котором ты скакал...

А-а... этот горбоносый и впрямь, видать, забияка, задира, надо будет подальше от него держаться.

За школой тянется балка, за ней то здесь, то там темнеют неказистые домики. Самый крайний упирается в березовый колок. Здесь живет Кабдеш. От дома по глубокому снегу тянутся две колеи, а между ними — еще один след. Видно, недавно отправился куда-то на своих быках расторопный Тайшик.

Мы входим в низкую, душную комнату с одним окошком, и пестрый, тонконогий теленок, привязанный к косяку, глядя на нас печальными, навыкате глазами, в задумчивости пускает тоненькую, вялую струйку. Босоногая девчушка, вскрикнув, прыгает с дощатого настила и подставляет помятую консервную банку.

Кабдеш лежит на сундуке в углу, укрытый лоскутным одеялом. У него большая голова, глубокие, с желтизной, глаза и дряблый, старческий рот. Острые скулы выпирают из-под бледной кожи. В груди его булькает, свистит, хрипит.

— Больной, совсем больной,— удрученно качает головой Ойрат.

Всего полтора месяца проучился нынче Кабдеш: злая хворь уложила его в постель. Из брезентовой сумки у изголовья Кабдеш достает тетради и показывает нам свои последние рисунки: лес, корова с теленком, женщина доит кобылицу, усатый воин, вскинув саблю, мчится на скакуне во весь опор.

— Амангельды-батыр,— поясняет Кабдеш.

О таком герое я не слыхал, и Кабдеш добавляет:

— Казахский Чапай.

А-а... теперь понятно. Чапаева-то знаю, у него есть бурка и папаха. И еще двух батыров я знаю — Ворошилова и Буденного. У одного их них — огромный вороной конь в белых чулках. На фотографии видел. Еще очень хорошо рисует Кабдеш танки и самолеты, на которых ярко горят красные звезды.

— Карандашей нет,— вздыхает Кабдеш.— Один только остался... вот.

Он показывает толстый, шестигранный огрызок: с одного конца красный, с другого — синий.

Мама Кабдеша разгребает длинными щипцами угольев печке, вытаскивает из-под золы истыканную ножом, подгорелую по краям лепешку.

— Нан! Нан!— галдят малыши.

На круглое выровненное место в печке мама Кабдеша закладывает только что раскатанную лепешку, зарывает в золу, сверху кучей сгребает тускло мерцающие угольев. Потом она стелет поверх кошмы в середине скатерку, разламывает горячую лепешку, всем — и мне с Ойратом — сует по куску и принимается разливать щербатым половником кислое молоко из заляпанной кадки по деревянным чашкам.

— Айран! Айран!— ликует горластая орава.

Квашеное молоко пузырится, острый дух бьет в ноздри. Кабдеш садится, прислонясь спиной к подушке, и, покашливая, вяло жует свою долю. Чашка дрожит в его иссохших руках.

Мы уходим от Кабдеша притихшие и опечаленные. Солнце так и не пробило толщу туч. Дует низовой холодный ветер. Я прикрываю ладошками озябшие уши. Ойрат сворачивает по балке вниз.

— Там тамыр Мырзаш есть...

— Какой Мырзаш?

— Омара и Коспана сын.

— Что за Омар и Коспан?

— Кузнецы.

Я, поеживаясь, смотрю на продолговатое, из дерна сложенное строение между колхозным амбаром и фермой. Мало ли у Ойрата тамыров в этом ауле...

— Нет, нет,— решительно говорю я.— Домой надо, домой.

Аул хоть и маленький, а разбросан далеко. Промозглая мгла нависает над ним, а ветер уж снег метет с бугров.

Возвращаюсь я, промерзнув насквозь. Скорее бросаюсь к печке и жду, когда мне попадет за долгую самовольную отлучку. С мамой еще можно поладить и столковаться, но с папой шутки плохи. Но он начинает вдруг говорить совсем про другое:

— Околеет мальчишка. Надо что-то придумать.

— Я из своей жакетки пальто ему выкрою,— отвечает мама.— Немного бы ваты на подкладку.

— Что вата? Мне в Коктереке верблюжью шерсть обещали. А Афанасий из Козловки, может, пимы скатает.

— Хорошо бы...

От такого разговора становится сразу теплей.

— Знаете, чему я сегодня научился? Вот! Нан, айран, жаксы, жаман, сут, кар, Омар, Коспан, бала...

— Боже!— изумляется мама.— Эдак он мигом у нас казахом станет.

Польщенный похвалой, продолжаю:

— Жол — дорога. Сиыр — корова...

— Молодец!— говорит папа.— Учись. Казахский может тебе еще и пригодиться.

— Каким образом?— недоумевает мама.— Думаешь, долго здесь пробудем?

Она считает, что война очень скоро кончится и мы вернемся домой. Это может случиться уже весной. Мечтая так, она поглядывает на папу, ей хочется знать, что думает он, но папа ничего не говорит. Да и где он, этот дом? Я напрягаю память, силюсь вообразить, представить те места, которые мама называет родным краем, и — точно сквозь дымку вижу площадь с трибуной в центре кантона, излучину реки, еще... бабушкин дом в деревне... с летней мазанкой-бакхаузом, с сараем, высокими деревянными воротами. Все остальное чудится долгой и бесконечной дорогой, по которой мы едем на машине, потом в товарном поезде, потом — на грузовике, наконец на арбе, запряженной быками...

VI

Счастье и стекло, как легко они бьются.

Немецкая поговорка

Очкастый Ганс здоровается и поспешно снимает очки. Косматое облако пара, оседая, стелется по полу и тает. Протирая платком запотевшие в тепле стекла очков, учитель близоруко щурится на нас, и я замечаю в его глазах радость. «Наверно, узнал про мой день рождения»,— догадываюсь я. Еще утром папа с мамой дружно протутукали торжественный туш и с длинными пожеланиями и наставлениями вручили мне подарки. В новом, на ситцевой подкладке, пальто с медными, со звездочками, пуговицами я с трудом узнал мамину жакетку. Папа,

долго манипулируя, протянул мне черные тупоносые, с косыми голенищами валенки. И не успел я ахнуть и по достоинству оценить значение этих даров, как мама подвела Эльму, которая изо всех сил вцепилась в узкую продолговатую коробку. Лишь после долгих уговоров, заревев в три ручья, сестренка швырнула мне коробку с цветными карандашами. Шесть штук. Мне не терпится скорее их очинить.

— Вечером будешь писать контрольную работу,— говорит папа.— Тогда и очиню.

Так уж повелось: в день рождения я рисую и пишу в толстой клеенчатой тетради, которая хранится на дне сундука. С тех пор как я появился на свет, папа аккуратно фиксирует все этапы моего развития. Вес, рост, болезни, которыми я переболел, поступки и проступки, достоинства и недостатки — все в этой тетради. Правда, в последнее время папа пишет обо мне все реже и меньше. Видимо, времени мало. А может, мои достоинства с каждым годом убывают, и обо мне просто нечего писать? За весь прошлый год папа записал всего одну фразу, которую я обронил случайно: «Чем больше человеку лет, тем меньше у него ума». Записывая мое изречение, папа долго хохотал, а что тут смешного?

— Свершилось,— говорит, сияя, Очкастый Ганс.— Выдюжили, Давид Павлович! Сейчас по телефону слушал сообщение Совинформбюро...

— Ну-ка, ну-ка... Порадуйте нас.

— Отстояли Москву! Не вышло у них. Не вышло! Так и передали: «Враг понес огромные потери в живой силе и технике».

Очкастый Ганс достает помятую карту, густо испещренную разноцветными — жирными и тонкими — линиями, точками, кружочками. «Москва»,— читаю я там, куда упирается указательный палец учителя. К этим буквам полукругом нацелены остриями черные пики. Навстречу им, впиваясь, вклиниваясь, тянутся красные стрелки. Учитель называет армии, фронты, фамилии генералов, тычет пальцем туда-сюда.

— Вот видите: Тула, Клин, Солнечногорск...

— Истра, Можайск,— вторит папа.

— Главный удар... Вспомогательный удар...

Они колдуют над картой и так горячо обсуждают про-

шедшие и возможные события, что кажется, судьба войны решается здесь, в ауле, за нашим колченогим столом.

— Скоро, значит, война кончится? — нетерпеливо спрашивает мама.

— Может, и скоро. Вот остановили их. Разбили. Теперь только бы гнать и гнать... Чтоб не опомнились...

— Сейчас бы второй фронт,— непонятно говорит папа.

У Очкастого Ганса от волнения вспотели очки.

— О-о, тогда бы завыл Гитлер, как волк в капкане.

Учитель и папа молчат, завороженно смотрят на карту. Мама разливает по кружкам кофе из поджаренного ячменя. Рассеянный взгляд Очкастого Ганса скользит по мне.

— У меня... у меня,— бормочу я, краснея,— день рождения.

— Что, что?— не понимает учитель.— Какой день?

— Рождения,— вконец смущаюсь я.— Вот подарки...

— Хм-м...— Учитель улыбается.— И сколько тебе лет?

— Семь!

— О, джигит! Значит, скоро в школу?.. Читать еще не умеешь?

— Умеет, умеет,— отвечает за меня мама.

— Молодец!— Учитель шарит у себя в карманах.— Что бы тебе подарить, а?

— Весть, которую вы нам принесли,— лучший подарок.— говорит папа.

— Бери!— учитель протягивает мне железную ручку с двумя наконечниками — с карандашом и пером.— А раз умеешь читать, принесу в следующий раз книжку.

Очкастый Ганс спешит в школу рассказать ученикам о разгроме фашистов под Москвой, а папа — в сельсовет просить подводу, чтобы съездить в Жанаталап.

Счастливый сегодня день! Только холодно. Мороз обжигает лицо, сбивает дыхание. Снег лежит твердыми пластами, сухой, скрипучий. Солнце стало совсем немощным. К обеду оно еле-еле выглянет из-за скирды кладовщика Альмиша и, обойдя крыши двух соседних домов, бессильно соскальзывает в березовый лесок за околицей. Короткие пошли дни.

Сугробов мне теперь бояться нечего. Но валенки жесткие и голенища высокие, негнущиеся, идешь, будто на ходулях.

Ойрат сидит на дырявой кошме у единственного окошка и плетет из сыромятной тесьмы плетку в четыре струны.

В мазанке сыро. Из-под дощатого настила несет стужей, мерзлой нежитью. Магрипа, которую я теперь тоже зову «апа»[1], днями пропадает на ферме, и Ойрат сам себе — как он говорит — и бий[2], и ходжа[3].

На серой бугристой стене висит фотография. Коке[4] Ойрата, тракторист-стахановец, скуластый, с короткими жесткими волосами, смотрит напряженно, пристально. Лицо его изрыто оспинками, сросшиеся брови насуплены. Фашистов он наверняка бьет, как мух.

— Скоро, Ойрат, твой отец приедет.

— Откуда знаешь? Сон видел?

— Очкастому Гансу по телефону сообщили. Всех фашистов перебили под Москвой.

— Кто сказал?

— Ну, этот... учитель в очках.

— Почему ты говоришь Каныс? Он не Каныс, а Ахметжан. А моя апа сон видела. Хороший сон. Наверное, письмо коке пришлет.

Ойрат смеется, потешно сужая глаза, и говорит, говорит... Я понимаю его примерно так: он хочет своему коке подарить плеть из тонкой тесьмы, сплетенной в четыре струны, и ручкой с медным кольцом, с кисточкой. Такая же камча у баскармы[5], но у Ойрата камча будет еще красивей, потому что к ней приложат руки Омар и Коспан, а лучших умельцев, чем они, во всей округе не найдешь. Хороша будет камча, что и говорить, только зачем она нужна трактористу?.. У Ойрата разгораются глаза. Так будет конь! Еще до войны отец обещал ему достать стригунка. Да, да, стригунок будет высокий, быстрый, со звездочкой на лбу, может быть, даже белоногий, как конь у Ворошилова на фотографии в настольном календаре.

Магрипа-апа хорошо поджаривает пшеницу. Настоящее лакомство! Пшеницу перебирают, провеивают и замачивают в молоке, потом, разбухшую, мягкую, немного подсушивают и поджаривают на сливочном масле в черном казанчике. Из серой, насквозь пропитанной жиром торбы за печкой Ойрат выгребает пиалу поджаренной пшеницы, и мы начинаем хрумкать. Ойрат при этом учит меня

---

[1] Старшая сестра, мать *(каз.)*.
[2] Судья *(каз.)*.
[3] Мулла *(каз.)*.
[4] Отец *(каз.)*.
[5] Председатель *(каз.)*.

казахским словам. Я уже знаю названия всех предметов в доме, и сегодня, когда мы будем писать контрольную работу, я нацарапаю несколько казахских слов в толстую клеенчатую тетрадку. Вот удивится папа! А сейчас я учусь считать до десяти.

— Бір,— начинает Ойрат.

— Бир,— повторяю я.

— Не бир, а бір,— поправляет Ойрат.

— Бур,— соглашаюсь я.

— Не бур и не бир, а бір, бір,— начинает выходить из себя Ойрат.

— Бр, бр, бр,— повышаю я тоже голос.

— А-а...— кривится Ойрат.— Ладно. Екі.

— Еки.

— Екі.

— Еке.

— Тьфу, дурной твой язык!— возмущается Ойрат.— Екі.

— Экю!— дергаюсь я от старания.

— Э, ладно,— безнадежно машет рукой Ойрат и показывает три пальца.— Уш!

— Уш. Уч.

— Ха-ха-ха!.. «Уч»! Ладно. Төрт!

— Торт. Турт. Тюрт.

Нет, ни «о», ни «у», ни «ю» не соответствуют казахскому «о» с перекладиной.

— Ладно.— Ойрат растопыривает перед моим лицом пятерню:— Бес!

Вот «бес» у меня получится как надо. И «он» — десять — я произношу правильно. Главное — считать до десяти, а дальше — проще простого. Скажешь «он» и добавляешь «бір», «екі», «уш». И так до двадцати — «жиырма» и опять добавляешь «бір», «екі», «уш»... Тридцать — «отыз» — тоже большой трудности не представляет. Но зато сорок — «кырык» — для меня совершенно неодолимый перевал. Из пяти звуков я в состоянии правильно выговаривать только «р» посередке. Остальные звуки я произношу кое-как, приближенно, лишь тогда, когда сам себя начинаю душить.

Наевшись жареной пшеницы и научившись бойко считать до сорока, я возвращаюсь домой. В затишье под окном мама пилит дрова. Наспех сколоченные козлы шатаются, и бревно ерзает, и пила виляет, взвизгивает. Мама считает, что дрова только тогда дрова, когда они

распилены, расколоты и аккуратно сложены у стенки крыльца. Папа придерживается другого мнения: главное, чтобы были дрова, а пилить и колоть — всегда, мол, успеется. Мама раскраснелась, пряди волос выбились из-под клетчатой шали, глаза горят, густые брови упрямо сошлись в переносице.

— Давай-ка, Гарри, попробуем вдвоем. Ты только ручку держи.

Пила длинная, а рука моя короткая. Приходится каждый раз делать два шажка вперед и два — назад. Куда пила, туда и я. А пила не слушается, выгибается дугой, скулит, как щенок, норовит выскочить из рук. Мама злится, рывком тянет пилу вместе со мной, а назад пила не идет — защемило. Попробуй вытащи! Мама бьет колуном по концу плахи, надеясь отбить комлевый чурбак, и пила с визгом выскакивает и, упруго изгибаясь, звеня, шлепается на снег.

— К черту! — говорит мама.— Убиться можно.

Мы начинаем новую дорожку; желтые опилки, кружась, падают на мои черные валенки, здесь им теплее, чем на снегу; пила нехотя вгрызается в стылое тело березы, пила уже дошла почти до половины плахи, и тут ее опять заклинивает. Мама ругает и пилу, и плаху, а заодно и папу.

— Не может он ее, дрянь ржавую, керосином протереть, поточить, зубья развести!

Я помалкиваю, хотя и полагаю, что пила и папа тут совершенно ни при чем. Просто мы с мамой не умеем пилить. У меня силенок маловато, а мама до этого ни разу в жизни не держала в руках пилу... Да и где ей было? В том краю, в Мангейме, где она выросла, леса и в помине не было. Там топили, главным образом, кизяком и соломой. Мама рассказывала, что ей приходилось с самого раннего детства все делать по дому: полы мыть, коров доить, гусей пасти, воду носить, сестер-братьев нянчить, шерсть сучить, стирать, прясть, глину месить, даже у каких-то богатеев прислуживать. Я не могу понять, как она при такой занятости умудрилась еще пять или шесть классов кончить, на каких-то курсах учиться, на гитаре играть, даже с парашютом с вышки прыгать. Мне нравится слушать мамины рассказы, особенно про дедушку — музыканта-капельмейстера.

Вечером после ужина при свете лампы-семилинейки я пишу контрольную работу. Папа с мамой волнуются: им

хочется, чтобы я писал и рисовал не только лучше, чем в прошлом году, но красивей, грамотней, чем даже я могу сейчас. Я рисую дом, немного прямей и с большим количеством окон и дверей, чем прошлогодний, и дым из трубы валит густой, черный, косматый,— и мама, смеясь, поясняет, дескать, это оттого, что у нас дрова сырые, потому что папе недосуг браться за пилу, а возле дома, на пустыре, стоят, растопырив руки, три человечка, и под ними я пишу прямыми печатными буквами — «Гарри», «Ойрат», «Салим». И еще я рисую колодец с кривым шестом-журавлем, с бадьей на одном конце и колесом — на другом. Потом я пишу пять строк разных слов — русских, немецких и казахских вперемешку. Папа стоит рядом, внимательно следит за направлением моего карандаша и время от времени предупреждает: «Не так! Не так же!» Я и сам смутно догадываюсь, что не так: есть у меня одна слабость — некоторые буквы я упорно пишу вверх тормашками. Потом я решаю примеры на сложение и вычитание в пределах десятка, после чего папа еще раз просматривает мой годовой отчет и размашисто подписывает внизу: «Так писал и рисовал Гарри 15 декабря 1941 года».

За стеной визгливо скрипит снег, фыркает лошадь, кто-то стучит в окно. Выглянув, папа говорит:

— Кажется, коктерекский почтальон.

Папа выходит и тут же возвращается с письмом.

— Алтайский край... Пан-кру-шихинский район...— читает он обратный адрес.

— Это от мамы!

Мама выхватывает письмо, вспарывает конверт и, присев на край кровати, начинает читать. Руки ее дрожат, нижняя губа закушена, взгляд напряженно бегает по строчкам... Вдруг мама бледнеет, застывает как-то странно, будто не может ни вздохнуть, ни выдохнуть, страшно изменившимся голосом шепчет: «Отто! Отто!» — и падает ничком на кровать, обняв подушку. Папа бросается к ней, хватает ее за трясущиеся плечи:

— Аня!.. Аня!..

Я замираю. Холод сковывает меня, стягивает кожу на голове.

Ветер свищет за окном, завывает в трубе.

Чуть потрескивает фитиль лампы. На голой стене мельтешат уродливые тени.

Где-то идет война...

VII

Тусклым, серым был тот день,
Тусклым, серым — небо.

Нелли Ваккер

Белая кутерьма за окном. Неделями неистовствует буран, шквалом набрасывается на стены, воет на все лады. Пришла пора большой метели. Дома занесло по самые крыши. От крыльца папа прорыл туннель и каждое утро откапывает окно возле печки. Второе окно давно завалено снегом, и папа его не откапывает. Во-первых, уверяет он, бесполезно, все равно опять завалит, а во-вторых, в комнате не так сильно дует. Иногда буран, выбившись из сил, делает передышку, ненадолго затихает, и тогда ребятня катается на санках. Мы ставим санки рядом с печной трубой, черным зевом зияющей из-под снежной горы, и, оттолкнувшись, мчимся по пологому склону до самого колодца через улицу. Потом, выбиваясь из сил — тащить-то санки во-он сколько! — опять взбираемся на гору, смотрим по сторонам, на безбрежное снежное пространство, испытывая нечто похожее на оторопь оттого, что мы, такие маленькие, стоим так высоко, что даже крыша дома оказывается под нашими ногами.

Сегодня неожиданно прояснилось, ветер затаил дыхание, и папа с Тайшиком с утра уехали в район. Тайшик — за горючим, папа — за медикаментами. Я бренькаю на балалайке, учусь четко отбивать такт в темпе вальса, потому что вечером я должен без запинки аккомпанировать «Над волнами». Это не очень трудно: большим пальцем правой руки по струнам вверх — раз, остальными пальцами, ровно касаясь струн, два удара вниз — два, три. Левой рукой следует точно прижимать струны на соответствующих ладах и делать вовремя переход, не сбиваясь с такта, не делая паузы, не дожидаясь, пока папа, солирующий на скрипке, качнется всем корпусом налево или направо. Тренькать, когда никто не играет и не поет и ты чувствуешь смену тональности в мелодии, — совсем неинтересно. Получается однообразное «трень-трик-брик, трень-трик-брик». На музыку не похоже. Иногда мотив напевает мама, а я аккомпанирую, получается вполне прилично. Но сейчас мама не поет. Весть о гибели дяди Отто подшибла ее. Исчезли ямочки на щеках, возле рта появилась складка. Однажды мама принялась рассказывать, как поза-

прошлым летом приезжал в отпуск дядя Отто, мамин младший брат, крепкий, веселый, весь в ремнях, в хромовых сапогах, как он ходил со мной по деревне, по домам, в гости и ради шутки, бывало, сажал меня в большой котел, встроенный в печь, в котором обычно поджаривали тыквенные семечки. Рассказывая, мама вдруг расплакалась, вместе с ней разревелась Эльма, а меня начала бить противная дрожь.

— Эй, ты пой! Хватит тебе по струнам шлепать,— говорит Салим.

Что бы такое ему спеть? Ага, вот эту. И тональность та же, и такт как у вальса «Над волнами». Мама часто поет эту песню.

Du hast Diamanten und Perlen,
Hast alles, was Menschenbegehr...

Салим открывает рот от изумления. Такой песни он никогда не слыхал.

Du hast die schönsten Augen —
Mein Liedchen, was willst du mehr?[1]

— Уа, давай, давай!— подхлестывает меня Салим.

Я делаю невольную паузу: дальше — не знаю слов. Но ведь можно спеть этот куплет еще раз и даже много раз: Салим слов все равно не понимает. Меня воодушевляет эта мысль, и я пою сначала и громче:

Du hast Diamanten und Perlen...

Салим явно заинтересован. Он даже забыл, что хворый дедушка, сухонький старичок, послал его к нам за грелкой.

— Ну как?— спрашиваю.

— Нешауа,— говорит Салим.— Ты... по-немецки пел?

— Да.

— А у фашистов такой же язык?

— Не знаю. С фашистами не разговаривал.

Я и сам уже однажды об этом подумал: так ли говорят фашисты, как мы, или по-другому. И вообще можно ли

---

[1] Популярная немецкая песня. Слова Г. Гейне.

У тебя есть алмазы и жемчуг,
Все, что люди привыкли искать,
Да еще есть прелестные глазки,—
Милый друг! Чего больше желать?

(Пер. И. Добролюбова)

говорить вместо «фашисты» — «немцы», а вместо «немцы» — «фашисты»? Надо спросить об этом у папы. Он всегда понятно объясняет. Бывает, мальчишки допытывают: «А ты взаправду немец?» И я отвечаю: «Немец, только другой». Дальше меня не спрашивают, будто уже все ясно, но мне-то как раз ничего и не ясно.

— Теперь пой ты.

Салима не надо долго упрашивать.

— Давай свою домбру.

Он неуверенно берет балалайку, долго прилаживается к ней, потом начинает всей пятерней хлестать по тугим струнам. Сузив глаза и запрокинув голову, он зычно и долго тянет:

— О-о-о-э-э-э-эй!..

Мы с мамой в недоумении. Что это с моим другом-тамыром? Разве так поют? Бедный, аж посинел от натуги. Наконец Салим переводит дыхание и что-то быстро-быстро проговаривает. Я различаю лишь одно слово — «паровоз». Мне слышится:

Паровоз а-та-та,
та-та-та, у-ту-ту...

Салим отбил себе пальцы, слишком жестки струны балалайки, не как у домбры, но он вошел в азарт, ерзает на стуле, мотает головой и вдруг, к нашему удивлению и восторгу, запевает в растяжку ту же песню, которую только что пел я, да с таким забавным выговором, да так потешно гримасничая, что мы с мамой улыбаемся:

Ду хасыт диманты онт берлин.

Он поет так заразительно, что и я начинаю ему подпевать, и при этом мне кажется значительно интересней произносить слова так, как Салим.

Хасыт алыс бас мешынбекер...

Мама, глядя на нас, улыбается, а мы, увлеченные, довольные, поем все вновь и вновь.

Папа приезжает вечером, промерзший, задумчивый, и после ужина открывает семейный совет. Семейные советы папа проводит лишь по особо важным случаям. Мы чинно садимся за стол, готовясь выслушать и обсудить необыкновенную весть. Папа явно тянет, наконец, как бы между прочим, произносит слово «повестка», от которого мама вздрагивает и сразу бледнеет.

— А мы как?!

Папа молчит, постукивает пальцем по столу.

— Как все, так и вы. Сама понимаешь... Возможно, обзздрав еще оставит. Медработников и так не хватает. Если нет, переедете весной к Гульде.

— У тети Гульды нам будет очень хорошо,— подаю я голос на правах члена семейного совета.

Папа усмехается. Мама еще больше мрачнеет. Не понимаю, отчего она так встревожилась. Ведь ничего страшного не случилось. Теперь мой папа тоже будет на фронте или в трудармии — какая разница? А у тети Гульды мы заживем весело. Она такая хохотунья, выдумщица. И с Альмой и Зельмой, моими двоюродными сестрами, тоже не заскучаешь.

Радость по случаю предстоящего переезда и возможных перемен в нашей жизни живет во мне весь следующий день, обрастая радужными надеждами, в то время как мама, осунувшаяся за одну ночь, хлопочет у печки, стряпает брецели и подсушивает на противне сухари, украдкой вытирая набегающие слезы, а папа на дворе сосредоточенно пилит березовые плахи и разделывает колуном кряжистые, звонкие от мороза чурбаки.

— Мама, зачем нам дрова? Как папа уедет, мы ведь сразу переедем...

Мама смотрит на меня с укоризной:

— Глупыш ты...

В день прощания, когда перед разлукой мы сидим за нашим обшарпанным столом, моя радость, взлелеянная в душе за эти два дня, вдруг странным образом улетучивается, и меня охватывает непостижимый, необъяснимый страх, и такая же, как тогда, когда мы получили весть о гибели дяди Отто, жуткая слабость подкрадывается к моим ногам, и я не могу, просто не в состоянии проглотить кусочек хлеба или глоток ячменного кофе, будто мне захлестнуло горло. И мама не ест. И папа кое-как одолевает полстакана блеклого, с густым осадком кофе, и такая тишина обрушивается на нас, что все начинает зыбиться перед глазами. Я не могу сказать ни слова. Я вообще не в силах разомкнуть челюсти. Мама молчит. И папа молчит. И Эльма, закутанная в одеяло, молчит. И это становится уже невыносимо, словно вот-вот случится что-то страшное, непоправимое. Но тут слышится скрип полозьев и знакомый голос:

— Эй, Кертр!..

Мы вскакиваем, наспех одеваемся. Папа бросает хлюпкий рюкзак на широкие сани, укрывает его сеном, поверх

кидает овчинный тулуп, взятый у кого-то. Потом он обнимает меня, подбрасывает, как маленького, и я до боли в скулах сжимаю зубы, чтобы не разреветься.

— Будь молодцом! — говорит папа.

Теперь папа целует ничего не понимающую Эльму, обнимает маму. Тайшик деликатно отворачивается.

— Нешауа, баранчук-пацанка,— утешает он меня.— Бог даст-та, хорошо все будет...

Тронулись быки, тяжело мотнув головами. Колыхаясь на ухабах, поплыли сани. Пробормотал что-то Тайшик. Папа идет по колее. Он все оборачивается и машет нам, машет. Мы стоим на пустыре, печальные, одинокие, растерянные. Мама обеими руками прижимает к себе Эльму, словно боясь уронить ее невзначай. Глаза у мамы большие, черные, застывшие.

У школы быки сворачивают на большак и спускаются в балку. Из учительской навстречу папе бежит Очкастый Ганс. Они о чем-то говорят, долго жмут друг другу руки. Папа еще раз оборачивается к нам, машет шапкой и тоже скрывается за леском.

Серый день. Серое небо. По щекам мамы катятся серые слезы...

VIII

У каждого дня свои беды.

Немецкая поговорка

У беды семеро братьев.

Казахская поговорка

— Видишь, его зовут Синопа.

Ойрат долго разглядывает круглолицего мальчика в пышной шапке, красиво вышитой меховой шубке, в мягких, тоже из шкуры, ичигах. Мальчик прижимает к груди остроносого лисенка.

Вчера заходил Очкастый Ганс. Посидел немного, поблескивая очками, спросил у мамы, все ли у нас хорошо, потом достал из портфеля книжку:

— Читай, Гарри. Про такого же мальчика, как ты.

В книжке много картинок, и все диковинные. Я второй день не расстаюсь с книжкой. У папы в медпункте на столе целая стопка книг, но они неинтересные: сплошь про болезни. Ужас, сколько болезней бывает на свете!

Ойрату особенно нравится картинка, где узкоглазые и смуглолицые мужчины сидят в кругу, задумчиво курят длинные трубки, а один из них, высокий, сильный, с головы до ног, вдоль спины, украшенный перьями, держит на вытянутых руках туго запеленатого ребенка.

— Казах?— спрашивает Ойрат.

— Нет, индеец.

— Какой индейс?

— Черный индеец.

— А индейс кароший?

— Хороший.

— Э-э, значит, как казах,— решает Ойрат.

Мы с Ойратом теперь еще больше подружились. Мама неохотно отпускает меня на улицу и совсем не желает, чтобы я мотался, как беспризорный, по аулу. И потому мы все чаще играем дома. Дни тянутся долго, нудно. Мне кажется, что папа уехал уже давно-давно. Но мама говорит: «Сегодня две недели». От папы мы получили три письма. Первое он написал еще в райцентре и передал с Тайшиком. Второе письмо пришло из Урнека, где папа со спутниками остановился на ночлег. Он писал, что вместе с ним едет и Пеннер, что жена его с целым выводком детишек осталась одна. Дедушка их, оказывается, умер в начале зимы.

Третье письмо было уже из Кзыл-жара. В ожидании главной комиссии папа временно работал на каком-то заводе. Письмо было хорошее, бодрое. Папа предлагал мне решить одну задачу. Я должен был высчитать, на сколько дней хватит ему маминых сухарей, если из ста двадцати пяти он съел в пути до города двадцать пять, а теперь ест в среднем лишь по пять сухарей. Я не могу справиться с задачей. Меня пугает сама цифра «сто двадцать пять». По-моему, это ужасно много. Неужели папа сможет съесть столько сухарей?! Я долго ломаю голову и прихожу к выводу, что, видно, здесь сложением и вычитанием не обойтись. По озадаченному выражению маминого лица мне кажется, что и она не в силах высчитать, на сколько хватит папе сухарей. И все же меня удручает, что я не в состоянии решить задачу. Не решить ее — все равно что не выполнить папиного поручения. А это стыдно и недопустимо. Я говорю о задаче Ойрату. Он долго не понимает, чешет затылок, даже глаза закатывает от умственного напряжения, потом спрашивает:

— Сухарь — что такой?

Теперь мой черед чесать затылок. Поразмыслив, я полагаю, что не будет большого греха, если заменить сухарь «таба-паном», лепешкой. Ойрат сразу понимает, и губы его растягиваются до ушей.

— Э, хорошо! Жизнь твоего коке — во!— Ойрат показывает большой палец.— Сто двадцать пять нан — целая арба.

— А если лепешки маленькие?

— Если маленькие, так одна кошевка будет,— убежденно отвечает Ойрат.

Меня, однако, берут сомнения. Какая там кошевка, когда вся папина поклажа вместе с сухарями поместилась в одном рюкзаке? Может, попросить Очкастого Ганса: он точно решит, на сколько дней хватит папе сухарей. Ведь когда сухари кончатся, папа, возможно, вернется...

— Айда!— подмигивает Ойрат.

Сегодня мы договорились проведать Кабдеша. Ему, бедному, даже на улицу выходить нельзя. Мама не пускает меня к нему, говорит, у Кабдеша очень опасная болезнь и я могу заразиться. Мне неловко от этих слов: Ойрату такое и в голову не приходит, а я должен почему-то опасаться. Это же несправедливо. Ойрат показывает мне два больших твердых курта[1], он их хочет подарить Кабдешу. Мой подарок лучше: я решил отдать ему свои карандаши. Правда, потом за это мама меня отругает, но это будет потом, когда она догадается, а пока Кабдеш будет рисовать свои танки и самолеты и совсем-совсем забудет про то, что он болен и вынужден днями и ночами лежать в постели в душной избенке.

Мы идем знакомой дорогой мимо школы, и Ойрат поет, кувыркается в снегу, похохатывает. Он весел: его апа видела сегодня сон, будто коке Ойрата мчался на вороном скакуне вокруг аула. Он делал три круга, размахивая над головой новой камчой, сплетенной в четыре струны. И соседка, бабка Кульшара, погадав на камушках, сказала, что сон вещий: Жуматай вернется домой через три дня или три месяца, и у них начнется новая жизнь. С утра у Ойрата начал дергаться правый глаз, а это, как известно, к добру. Вскоре глаз перестал дергаться, но Ойрат усердно подмигивал и тер кулаком глаз, чтобы не исчезало приятное предчувствие добра.

Вдоль школьной ограды строевым шагом идет десятый

[1] Сушеный сыр *(каз.)*.

класс. Впереди — тщедушный учитель в гимнастерке и галифе. Правый рукав гимнастерки пуст и прихвачен ремнем. Неужели учителю не холодно? Лицо его суровое, решительное, словно окаменелое.

— Абикей-мугалим,— тихо говорит Ойрат.— Видишь: военное дело.

Военное дело однорукий Абикей преподает истово. На ребят-старшеклассников он смотрит как на красноармейцев и стремится приучить их к суровой армейской дисциплине.

Однажды произошел такой случай. Как-то выехал из Марьинки старый лысый инспектор районо Асхатулла, гроза аульных учителей. За Караталом, в тринадцати километрах от нашего аула, его настиг буран. Санную дорогу мгновенно замело; лошадка вскоре перешла на нудную трусцу. В снежной круговерти то и дело исчезала даже дуга, единственным ориентиром служил лошадиный хвост, и инспектор плотнее укутался в старый волчий тулуп и все чаще поминал аллаха. И вдруг прямо из пурги вынырнула ватага парней, одетых налегке. Они, точно джинны, неслись против ветра и хрипло вопили:

— Ур-ра-а-а!..

Старый инспектор Асхатулла опешил. Ватага мгновенно исчезла за снежной пеленой, и тут вдогонку ей пронесся однорукий Абикей, крича изо всех сил:

— Пуй-рат!.. Пуй-рат!..

Только теперь инспектор пришел в себя, узнав неуемного преподавателя военного дела и догадавшись, что в глухой буранной степи старшеклассники с бесшабашной храбростью ринулись на невидимого врага, подстегиваемые победоносным командирским «Впере-о-о-од!»

— Астафирал!а![1] — невольно воскликнул инспектор Асхатулла.

Я заметил, что маленький, подтянутый мугалим больше всего любит, чтобы все всегда и всюду шли строем. Своих воспитанников-интернатовцев он ведет и в столовую, и в школу, и на медосмотр непременно в строю. Говорят, он строг и даже жесток, потому что видел и сам проливал кровь, но интернатовцы любят своего щуплого командира.

Абикей-мугалим круто сворачивает в сторону, приказывает что-то долговязому в длинной шубе, и тот, задрав

[1] Помилуй, аллах! *(каз.)*

голову, лихо запевает. Остальные, сделав несколько шагов, орут во всю мощь:

— Эй, эй, гер-ой!..

Хорошая песня: заразительная, грозная. Особенно этот короткий, как бы подстегивающий, будоражащий припев: «Эй, эй, герой!»

Песня резко обрывается, и ученики, взвихривая снег, шагают мимо нас. Долговязый, поравнявшись, дружелюбно подмигивает мне и кричит:

— Гутен таг!

Я узнаю его, горбоносого Шаймурата, и улыбаюсь в ответ.

— Анна унд Марта баден!

Ученики смеются, сбиваются с шага, и фальцет Абикея-мугалима рассекает морозный воздух:

— Рррразговорчики!

Отряд шагает дальше, а учитель вдруг подходит к Ойрату, смотрит на него пристально, странно, будто хочет сказать что-то очень важное, но ничего не говорит, а только хмурится, стискивает зубы, играя желваками, треплет его по плечу и, быстро отвернувшись, семенит, догоняя своих учеников. Ойрат в недоумении. Что означает этот непонятный порыв сдержанного Абикея-мугалима? Он раньше Ойрата вроде и не замечал...

Домик на опушке леса зажат сугробами. В затишье дремлют под ярмом быки, отрешенно жуют свою жвачку. Вокруг саней топчется Тайшик. На санях-розвальнях лежат топор, пила, волосяной аркан. Видно, в лес собрался Тайшик. Наверное, он тоже колхозник-стахановец. И сено возит, и дрова, и горючее, и товар для сельпо, и еще он охранник — везде Тайшик.

— Ассалаумагалейкум!— солидно здоровается Ойрат.

Я давно уже понял, что со старшими полагается именно так здороваться. Мне удается вполне прилично произносить это длинное, мудреное слово, однако я почему-то смущаюсь в нужный момент к нему прибегнуть и обычно мямлю: «Здрясти!» Не «Здрав-ствуй-те», как научил папа, а «Здрясти», как говорят мои сверстники при встрече с приезжими русскими, что, впрочем, случается редко. Знаю также, что с учителями ученики никогда не здороваются: «Ассалаумагалейкум!» — а говорят: «Саламатсыз ба?» — на что те отвечают врастяжку: «С-саламатсыз-з-з...» Но знать мало, надо еще уметь произнести эти слова степенно, с достоинством, с учтивой бодростью, как это делает мой

друг Ойрат: «Ассалаумагалейку-у-ум!» И тогда взрослые, особенно старики, живо откликаются: «Ия... алейкум ассалам... молда бол!» Последнее звучит похвалой: «Будь муллой!»

Но сегодня Тайшик отчего-то растерянно моргает-моргает, прячет от Ойрата глаза, что-то бормочет, будто в чем-то провинился.

— Заходите, ребятки... Кабдеш дома, дома...

В комнатушке стало вроде еще теснее и сумрачнее. Единственное окошко наполовину завалило снегом. Мама Кабдеша молча хлопочет у печки; в углу копошится неугомонная малышня; печально взирает на нас бычок, привязанный к косяку. Он подрос, окреп, твердо стоит на ногах и вместо консервной банки валяется у порога помятый, грязный котелок. Кабдеш, покашливая, сует один курт под подушку, другой начинает делить на шесть частей — по числу братьев и сестренок. Дольки получаются у него аккуратные, ровные. Мои карандаши приводят его в восторг. Он разглядывает каждый карандаш в отдельности, рисует на обложке старой тетради разноцветные кружочки и улыбается.

— Рахмет... Спасибо! Ай, хорошо, хорошо...

И мама Кабдеша рада нашему приходу, гладит меня и Ойрата по голове. Рука у нее маленькая, сухая, как у ребенка. И сама она неказистая, хрупкая. Непонятно, как у такой мамы может быть столько детей. На Ойрата она смотрит печально, прижимает его к себе, говорит всякие ласковые слова. Почему сегодня все так ласкают Ойрата? Завидно даже.

Я вспоминаю мамин наказ и спешу домой. Ойрат нехотя поднимается.

Выбравшись из балки, мы замечаем, что возле мазанки Ойрата толпятся люди, стоят оседланные кони.

— Вот! Коке приехал!— вскрикивает Ойрат.— Коке!

Он бежит, спотыкаясь о мерзлые кочки. И я бегу. Улица длинная, пустынная. Дома стоят далеко друг от друга.

— Мой коке! Кокешим!— вопит, ликуя, Ойрат. Кажется, вот-вот вырвется из своего заскорузлого кожушка.

— Коке, коке!— кричу и я.

Еще не добежав, мы застываем как вкопанные. Из дома Ойрата доносится надрывный, тягучий, душераздирающий плач.

— ...Ай-ай-а-а-а!... Ай-а-а-а-ай!..

Голос пронзительно высок, с хрипотцой. Не плач — стон, неутешная скорбь, нечеловеческая боль. Лошади на привязи прядают ушами, нервная дрожь прокатывается по их закуржавевшим бокам. Притихшие, испуганные, мы входим в сарай. И здесь толпятся женщины, дети. Увидев Ойрата, они молча расступаются, и мы протискиваемся к двери. Она приоткрыта. И комната полна людей. Ничего еще не понимая, мы пробираемся вдоль стенки к печке, пролезаем в закуток...

В середине, на маленьком пятачке, стоит незнакомый бритоголовый мужчина. Бессильно прильнув к его груди, голосит апа Ойрата. Волосы ее растрепаны, глаза опухли, рот перекошен в неутихающем крике. У стенки напротив двери сидят, поджав ноги, старики. Глаза их прикрыты, лица скорбны, белые, сивые, бурые бороды лежат на впалых грудях. У порога в углу сбилась, преклонив колени, группа старух в жаулыках[1]. Неутешно голосит мама Ойрата. Сквозь рыдания прорываются какие-то слова — не то жалоба, не то проклятие. Старухи вздыхают, шепчут что-то, вытирают краешком жаулыка глаза. По смуглым жестким щекам бритоголового катятся слезинки. Он успокаивает, уговаривает, утешает Магрипу, но та не слышит его слов, обезумело мотает головой и кричит, кричит в низкий потолок мазанки. Ойрат дрожит, ноги его подкашиваются, от страха у него отнялся язык.

— Пойдем... пойдем к нам,— шепчу я ему на ухо.

Ойрат, кажется, и не видит меня. Он падает на колени какого-то старика, и тот гладит его, водит бородой по его лицу.

Мне страшно. Я хочу домой, домой, скорее, скорее к маме. У меня в висках сверлит от этого крика. Я протискиваюсь вдоль стенки к выходу, продираюсь сквозь толпу в сарае.

Над затерявшимся в сугробах аулом мечется истошный, скорбный плач

И лишь потом, потом я вдруг отчетливо пойму горькую, страшную истину: не вернется в родной аул тракторист Жуматай, не войдет он уже в свою плоскокрышую мазанку. Одинокой, неутешной вдовой прокоротает свой век Магрипа. Никогда, никому не скажет больше Ойрат доверчиво и ласково: «Коке, кокешим». И противные человеческой природе слова «война», «смерть», «похоронка» — «чер-

[1] Женский головной убор *(каз.)*.

ная бумага» оставят в неокрепших душах едва помнящих себя детей горькую зарубку на всю жизнь. И никогда для них не кончится война, никогда не кончится, никогда, ибо оставила она в их сердцах проклятую память, и вечно в их ушах будет звенеть скорбный женский плач — плач-стон, плач-боль, плач-отчаяние...

IX

Зима не может длиться вечно...

Из антифашистской
«Песни болотных солдат»

Мучительно однообразно и долго тянулась зима. Неделями неистовствовала снеговерть, пышными сугробами завалила дома. Сумрак и стынь поселились и в нашем убогом жилье. Набухшая дверь обросла наледью, от инея закуржавели косяки, из-под порога струился пар, оседая изморозью на стенах. Порой чудилось, что мы сидим в темнице или в ледяном погребе, сидели здесь всегда, с сотворения мира, и никогда уже нам отсюда не выбраться. Маленькому индейцу Синопе, конечно же, жилось в своем вигваме куда лучше. Ему было тепло, он сидел на мягких шкурах у очага, лакомился мясом бизона, ходил на охоту, слушал причудливые сказы, играл со зверюшками и видел солнце. И еще при нем всегда был папа.

Мы о нашем папе ничего не знаем. Письма его, наверно, тоже мерзнут на почте в районе. Небось целая кипа накопилась. Но в такую погоду Тайшик на своих быках дальше фермы не поедет.

Скучно, тоскливо. Даже сырые чурбаки нехотя чадят, шипя и потрескивая, в печке. Где-то воют не то собаки, не то волки. Ночью от мороза стонут бревенчатые стены, скрипят стропила, и ветер норовит сорвать с петель дверь.

— Мама, зима скоро кончится?

— Скоро, Гаррик...

— И тогда приедет папа?

— Приедет, Гаррик...

— А если не приедет, мы поедем к тете Гульде?

— Спи, Гаррик...

Как живется теперь Ойрату и Салиму? Салиму — что?.. Он в асыки[1] играет, с сепараторных чашек сливки слизы-

[1] Игральные кости *(каз.)*.

вает, на домбре тренькает. А Ойрату худо. Его коке больше никогда не вернется.

— Мама, война скоро кончится?

— Скоро,Гаррик...

— Как только придет весна, да?

— Наверное...

— И мы поедем к тете Гульде?

— Мы вернемся домой...

Эльма чмокает во сне, прижавшись к маме. Она еще не знает, что идет война, не понимает, что у Ойрата больше нет коке и что нашего папы тоже нет дома.

Стонут бревенчатые стены. Гудит в трубе. Скрипит под шквалом пурги дверь.

— Мама, ты очень хочешь, чтобы пришла весна?

— Очень, Гаррик.

— Я тоже очень...

Весна обрушилась неожиданно и бурно. Могучие сугробы быстро потемнели, осели под неимоверной тяжестью, истекая лужами и ручьями. С верховья дул беспрестанно теплый ветер, он слизал с бугров остатки снега, обнажил неприглядную черную землю с жалкой побуревшей прошлогодней травой. Невнятно забормотали проснувшиеся вдруг балки и овраги. Над колками низко кружились, голодно каркая, вороны. Ишим сурово молчал, будто был безразличен ко всему, что творилось вокруг. Но и по нему, поверх льда, пошла вода, тонкие прутья прибрежных ив все заметнее тянулись к солнцу из-под неотвратимо рыхлевшего снега и ледового припая. Вскоре лед набух, река взбугрилась, вспухлась глыбами льда, распираемая чудовищной силой. Ночами лед гулко ухал. А еще через несколько дней река словно взбесилась, разыгралась, взбурлила, с необузданной яростью вышла из берегов, стремительно хлынула, все кроша, ломая, заливая на своем пути — по лугам, по равнине — к аулу. Люди встревожились: такого половодья не могли припомнить даже древние старики. Вода подступала вплотную к крайним домам, монотонно плескалась, переливалась, поднималась все выше, а Ишим по-прежнему гневно урчал, ворочал огромные, с дом, камни, вдребезги разрушив мельницу неподалеку от Марьинки, не в силах унять буйный нрав. Зрелище было дикое. Особенно жутко становилось по ночам. Мама почти не спала. Ворочалась, вздыхала, напряженно вслушивалась в ночные шорохи. Ее тревога передавалась и мне, и мы часто вставали, зябко кутались в

одежды, выходили во двор, прислушивались к глухим всплескам воды в нескольких шагах от дома. По небу метались тяжелые, рваные тучи, кружились над степным морем; изредка выглядывала луна, тускло освещая свинцово отливавшуюся поверхность воды. Аул притих, даже собаки примолкли.

— Хоть бы скорее утро настало,— шепотом говорила мама.

...Как бы долго ни тянулись черные, тревожные ночи, но они проходили, и вновь, все больше смелея, всходило солнце над березовыми колками за аулом, и все заметнее оголялась земля, и днем в затишье приятно пригревало, и Ишим не урчал так зловеще, а смиренно катил мутные воды, понемногу отступая, входя в берега, оставляя вдоль недавней кромки диковинные коряги, камыш, ил, камни, бревна и всякую всячину

Косогор за аулом, возле лесочка, обнажился, подсох. Здесь гомонили мальчишки, играли в асыки, в «чижик», гоняли твердый и тяжелый, как камень, войлочный мяч, устраивали бесконечную борьбу — курес.

На опушке колка между старыми слежавшимися листьями росли подснежники. Ойрат кривил губы, глядя на то, с каким старанием я их рвал.

— Солить будешь? Кушать будешь?

— Нет, в стаканчик поставлю, на окошко.

— Зачем?

— Красиво будет.

Ойрат усмехался, презрительно цвиркал меж зубов. Собирать подснежники в глазах моих аульных сверстников было непонятной блажью.

Хрупкие, дымчатые, с голубыми прожилками цветы я приносил домой, и мама бережно ставила их в баночки, стаканы и тихо напевала какие-то неведомые мне песни...

Однажды Салим, по обыкновению взобравшийся на самую верхушку старой березы, вдруг завопил:

— Эй, смотрите! Орыс сюда скачет!

Все разом побросали игры и, точно в ожидании великого чуда, уставились в сторону колхозного стана, куда вела черная прямая дорога. Действительно, с верховья легкой рысью приближался всадник.

— Откуда ты знаешь, что орыс?— спросил кто-то.

— Ойбай, да есть у тебя глаза?! Ты глянь, как он в седле болтается! Будто куль с овсом.

Верховой и впрямь неуклюже подпрыгивал в седле в такт рыси, привставая в стременах.

— И конь не из нашего аула,— заметил, щурясь, Ойрат.

Кое-кто из малышей, тревожно озираясь, побежал в аул. И тут неожиданно и изумленно Салим воскликнул:

— Эй! Это же Кертр! Наш першил... Пусть глаза мои вытекут — он!

Я похолодел и застыл на месте, держа пучок подснежников. Всадник подъехал, улыбнулся, низким, простуженным голосом позвал меня, и я сначала узнал рюкзак, привязанный к передней луке седла, а потом уже папу. Обросший, худой, в шапке-ушанке, он продолжал сидеть в седле, весело смотрел на меня, потом спешился, передал повод Ойрату, шагнул навстречу. Земля поплыла под моими ногами...

С косогора пошли пешком. Впереди широко вышагивал, посадив меня на плечо, папа. За нами Ойрат и Салим торжественно вели под уздцы гнедую лошадку. Сопровождала нас любопытная ватага мальчишек.

До дома было рукой подать, и все же радостная весть опередила нас, непостижимым образом облетела весь аул. Уже шли, спешили со всех сторон старики, старухи, знакомые и незнакомые, что-то приятное говорили папе и пожимали ему руку. Я и не предполагал, что в нашем ауле столько людей. Возле дома уже собралась толпа, из нее вышла мама, бледная, с сияющими глазами, онемевшая, как и я, от неожиданного счастья и неся на руках чем-то недовольную, надувшуюся Эльму. Папа опустил меня на землю, порывисто обнял маму, и женщины прослезились, завздыхали, прикладывая концы жаулыков ко рту и глазам. Старики, одобрительно бормоча, бесцеремонно ввалились в наш дом, меня неожиданно оттеснили, и я, ошеломленный, отошел в сторону, со страхом вдруг вспомнив, что так и не решил ту папину задачу,— и готов был разреветься от досады и обиды.

Промелькнула Магрипа с самоваром, прошмыгнула, волоча подол, старуха Кульшара с двумя лепешками в руке, подошли неразлучные братья Омар и Коспан, похлопали меня по плечу и тоже исчезли за нашей дверью, а я, стоя в затишье возле соседней шошалы[1], мучительно вспоминал условия папиной задачки с сухарями.

---

[1] Летнее помещение, сплетенное из тала в форме юрты *(каз.)*.

Никогда до этого не было у нас так многолюдно, как в день возвращения папы. Весь аул побывал у нас в гостях.

Однако мне надоело слоняться вокруг дома. Может, папа уже забыл про ту злосчастную задачу? Да и зачем она теперь, если сухари наверняка все кончились?

В сумерках мы наконец остались одни. Папа, уже побритый, переодетый, оживленный, обнимал и тискал попеременно меня и Эльму, с таинственным видом порылся в рюкзаке и достал оттуда куколку для сестренки, а мне — блестящую губную гармошку. Мама, восхищаясь подарками, перемывала и перетирала посуду, подкручивала фитиль чадившей семилинейки, кочергой разгребала ярко разгоревшиеся в печке дрова.

Папа подошел к полке, на которой лежал черный обшарпанный по краям футляр, щелкнул замками, достал скрипку. Он долго настраивал ее, пробовал струны, натирал канифолью смычок, играл знакомые пассажи, тряс кистью, шевеля огрубевшими пальцами, и я облегченно вздохнул, поняв, что сегодня о задаче с сухарями речи не будет.

Папа сыграл, по привычке отбивая такт правой, выставленной ногой, вальс «Над волнами», лихую польку «Персидская», краковяк, бравурный военный марш, все то, что входило в его неизменный и стародавний репертуар, что я слышал уже сотни раз и помнил наизусть, и вдруг неожиданно и, должно быть, само собой пальцы его набрели на тягучую и печальную мелодию, которую зимними вечерами иногда вполголоса пела мама. И сейчас, едва прозвучала заключительная нота первого куплета, мама, опустившись на скамью возле печки и сложив руки на колени, глядя куда-то вдаль, чудь дрожащим голосом затянула:

Müde kehrt ein Wandersmann zurück...

До меня впервые дошел сокровенный смысл этих слов, я только теперь вник в каждый звук этой простой строчки: «Усталый странник возвращается домой...» Боже, как точно, зримо, явственно! Как прекрасны, какой силой пронизаны слова песни! И мизинец папиной руки сильнее завибрировал на грифе, папа медленнее повел смычком, и сочные, грустные и радостные одновременно звуки полились из старого, хрупкого инструмента, согласно и ровно сливаясь с мягким голосом мамы.

...nach der Heimat, seiner Liebe Glück.

Печальная песня взмыла на невидимых крыльях, голос мамы, справившейся со смущением, становился все крепче, задушевнее, и слова, такие близкие и понятные, бесконечно родная речь, от которой я уже начинал отвыкать, потрясли меня своей первозданной, необъяснимой поэтичностью, и я видел этого усталого путника, грустного странника, возвращающегося после долгих скитаний в родной край, к родному дому, к возлюбленной и покупающего у садовницы, «прелестной и бледной», букет роз перед свиданием. Эта по-старинному несколько сентиментальная — как я теперь понимаю — баллада о разлуке, о любви, о печали и утрате всколыхнула мою душу. Ничего более прекрасного и возвышенного я до этого не слышал, не ощущал. Много ли было подобных счастливых мгновений в моей жизни? Много ли раз я испытывал такое упоение от непостижимо дивного и священного, что очень глубоко упрятано в тайниках души человеческой и очень редко выплескивается наружу, обнажая свою истинную прелесть?..

Глаза мамы лучились, источали счастливый свет, эти мгновения были наградой за долгие-долгие дни и ночи тоски. И голос звучал в эту весеннюю ночь так ясно и чисто, так проникновенно и задушевно, что каждое слово, каждый звук, каждый оттенок фразы глубоко запали в мою жаждущую душу и потрясли, пронзили меня так, что у меня до сих пор, спустя много лет, почти полжизни, сладостно сжимается сердце, когда я вспоминаю тот вечер. И скрипка выпевала с чуть заметной дрожью, не повторяя, а оттеняя, сопровождая трепетное пение мамы, и папа, взволнованный и помолодевший, совсем непохожий на того, обросшего, сутулого всадника в замасленной, нелепой шапке-ушанке, которого я видел днем на вершине косогора, как бы слился со сладкозвучной своей скрипкой, и все же, должно быть, не могла она — слишком долго немо пролежала в футляре — высказать всего, что творилось в сильной груди его, и тогда он, опустив смычок, смотрел на маму благодарно-восхищенными глазами и, улыбаясь, мягко, осторожно, чтобы не вспугнуть песню, вступал вторым голосом, и через несколько тактов вновь вскидывал к подбородку скрипку. И я млел от восторга, от непередаваемого очарования и, сжавшись в своем углу за печкой, тихо обливался неутешными и счастливыми слезами.

Ничего сейчас не существовало, ничего сейчас не было, кроме этой простодушной в своей радости и печали песни,

не было ни этих изнуряющих ветра и холода, изматывающего одиночества, великой неустроенности, подавленности, всего того бесконечного и многоликого горя, которые обрушила вдруг на людей тысячу раз проклятая война. Была песня, а вместе с ней смутное предчувствие желанной и неминуемой радости и надежды.

X

Учись у жизни с юных лет
И на судьбу свою не сетуй.

Александр Реймген

Папа всегда вставал рано, теперь же, после возвращения из Кзыл-жара, где ему дали бронь, он вскакивает еще до зари, уходит в медпункт, в сельсовет, а оттуда отправляется с неразлучным чемоданчиком-аптечкой на попутной подводе или — что случается чаще — пешком в аулы. В радиус папиного фельдшерско-акушерского пункта входит одиннадцать селений, расположенных в пяти — пятнадцати километрах вокруг нашего аула по ту и по эту сторону Ишима. Но не только медицинское обслуживание — обязанность папы. Он, как я понял, занимается еще и какой-то санитарно-просветительской работой и еще собирает деньги в фонд обороны и теплую одежду для Красной Армии, проводит беседы о положении на фронте и руководит курсами для старшеклассниц по оказанию первой медицинской помощи. Из района папа каждый раз возвращается с каким-нибудь новым поручением, чему радуется как награде. Мама уверяет: слишком много папа берет на себя, эдак и сам скоро ноги протянет, и дом, и детей своих забудет. Не знаю... меня, во всяком случае, папа не забывает, а, наоборот, всюду берет с собой, если, конечно, считает нужным и возможным, и это позволяет мне быть в курсе всех его дел, о которых, впрочем, он и сам рассказывает на семейных советах.

Сегодня спозаранок папа сбегал в Жанаталап и вернулся уже к обеду, дважды переплыв Ишим.

— Страшно? — спрашиваю я.

— Нет. Я знаю место, где течение несильное. Да и глубоко только у берегов.

Папе ничего не страшно. Он сильный и смелый, и ростом выше всех в ауле. Семь лет служил в Красной Армии. Как память о том, совсем недавнем времени остались у него

гимнастерка, галифе из прочнейшей диагонали, командирские ремни и блестящие пуговички с выпуклой пятиконечной звездой. На дне сундука лежат петлицы с ромбами и много значков и книжек-удостоверений. Иногда мы с мамой разглядываем и читаем их. Таинственно звучат длинные, непонятные слова: Осоавиахим, Всеробпом. Освод. Ворошиловский стрелок... Всесоюзное добровольное общество пролетарского туризма и экскурсий.

Обедая, папа мельком взглядывает на график, прикнопленный к стенке за столом. Я тоже смотрю на аккуратно разграфленный лист, хотя и так знаю, что работу, указанную там на сегодня, папа уже выполнил, следовательно, есть надежда пойти на рыбалку.

— Приходил кто?— интересуется папа.

— Дедушка Мукан приходил. Старуха, говорит, болеет.

— А у Кабдеша был?

— Я нет. Был Ойрат. Говорит, совсем ему плохо стало.

Папа мрачнеет, отодвигает тарелку и опять косится на график.

— Завтра у тебя медосмотр в нашем ауле,— подсказываю я.

— Верно. Но мы успеем это сделать еще сегодня. Пойдешь со мной?

— Оставь мальчика,— подает голос мама.— К нему и так всякая зараза пристает.

— Ничего. Он должен знать жизнь.

— Для своих лет он знает ее предостаточно.

— Надо всегда и на все смотреть открытыми глазами. И еще ему следует усвоить: долг и обязанность — прежде всего!

Не знаю, что этим хочет сказать папа, но я, разумеется, с ним вполне согласен, хотя и предпочел бы сейчас рыбалку на старице.

Мукан-ата сидит у плетня под навесом. Всякая всячина навалена вокруг: обрезки, старая обувь, шкатулки, коробки с дратвой, жильными нитками, шилом, варом, молоточками, колодками, набойками. Что-то бурча под нос, он колдует над огромным сапогом с длиннющим голенищем, обшитым изнутри войлоком. У сапожника широкое, мясистое лицо с ровной смуглостью, редкая сивая бородка, большие навыкате глаза. Круглый-круглый массивный

череп выбрит до синевы. Вылинявшая ситцевая рубаха расстегнута, и упруго выпирает могучая грудь. Руки перевиты синими набухшими жилами, и на запястьях кустисто топорщится щетина. Над ящиком-подставкой круглится тугой живот. Пот струйками стекает по толстой шее... В молодости, рассказывают, Мукан-ата был борцом-балуаном и даже одно время разъезжал по степи в свите знаменитого силача и певца-акына Балуана-Шолака.

— Здравствуйте, старина!

На приветствие папы сапожник отвечает не сразу. С силой натягивает дратву, шилом прокалывает новую дырку.

— Здрясти...

Папа, присев на корточки, рассматривает инструменты, пробует прочность жильных ниток.

— Бабушке не лучше?

— Иншалла... Бог даст — лучше будет... Банки есть? Укол-мукол не надо.

Папа открывает аптечку, протирает руки нашатырным спиртом, надевает халат и идет в дом ставить бабке банки, которые, как я успел заметить, старики и старухи в этом ауле предпочитают всем лекарствам.

Я молча наблюдаю за работой ата. Все у него получается легко, без натуги. Он тоже молчит и лишь изредка бросает на меня скошенный взгляд. Спросил бы ата о чем-нибудь, и тогда я, может быть, ответил бы по-казахски, и он сразу заулыбался бы, похлопал бы меня по плечу, сказал бы: «Ай, маладес, Кари!» Я давно уже понял, что аульчанам нравится, когда я кстати лопочу казахские слова. Старики в таких случаях одобрительно кивают, малыши радуются и подражают моему забавному произношению, а женщины удивленно цокают, прикладывая палец к щеке, и норовят угостить меня то баурсаком — поджаренным в бараньем сале пончиком, то горстью толченого проса, то куртом. Так и во время мальчишеских игр. Стоишь, бывает, в сторонке, смотришь букой, молчишь, и ты вроде бы чужой, незваный пришелец, а заговоришь на языке аульчан, пусть корявом, ломаном,— и ты уже свой. Наверное, и моя мама обрадовалась бы очень, если, скажем, Ойрат или Тайшик заговорили бы вдруг на немецком языке. Есть непостижимая сила в родном языке, в родной речи!

Ата сегодня, должно быть, не в духе. Меня так и подмывает спросить про Шаймурата, сына сапожника, что-то

не видно его в последнее время. Но кустистые брови хмуро сходятся на переносице Мукана-ата, и я не решаюсь о чем-либо его спросить.

Выходит папа, складывает головастые баночки в отделение чемодана-аптечки. Сапожник молчит.

— Что, отец, от сыновей вестей нет?

— Нешауа нет,— говорит ата, в сердцах швыряя шило в ящичек с инструментами.— Шорт знайт!.. Слышал: Шаймурат в райвоенкомат ездит. Каждый день ездит. На фронт отправляй, говорит. Керман-собаку бить буду. говорит.

— Да-а-а...— неопределенно тянет папа.

Сапожник яростно сплевывает.

— А старуха как? А я как? А дом, скотина как? Калмурат на фронте. Ладно! Жалмурат на фронте. Ладно! А Шаймурат зачем? Два сына мало? А?!

С досадой отшвыривает ата тяжеленный сапог.

Вот оно что... Недавно возле школы, у качелей, в кругу ребят, Шаймурат говорил, что пойдет добровольцем на фронт. Не желает он отсиживаться тыловой крысой, а с колхозной работой как-нибудь и бабы справятся. Я стоял рядом, и он вдруг щелкнул меня ногтем по голове и подмигнул ребятам. Я понял, что задира, озорник Шаймурат сейчас выкинет какую-нибудь шутку.

«Ну, Кари, отправлюсь на фронт — худо будет твоим баурам-сородичам. Сразу капут им сделаю!»

Ребята хохотнули, а на мне точно кожа загорелась, и обида захлестнула горло.

«Фашисты мне не сородичи!»

«Как это? Кровь-то небось одна?!»

«Не одна, не одна! Я... я... другой немец».

Я понимал, что Шаймурат не хотел мне зла, а все же задохнулся от слез, убежал и с тех пор старался не попадаться ему на глаза...

— Да-а...— Папе, видно, хочется утешить старика.— Бабушка поправится. Не беспокойтесь. Лишь бы не простужалась.

Сапожник скребет пятерней бритый череп.

— Бог даст-та, здоровый будет. А не даст-та, больной будет. Рахмет, першил... Может, найдешь кожу — сапоги тебе сошью.

— Спасибо тебе, отец!

Наш аул небольшой, намного меньше, чем Гнаденфлюр, где мы жили раньше, но дома стоят далеко друг от друга,

разделенные к тому же длинным саем. Окрест шумят лесочки-колки, вдоль балки цепью тянутся березки, а в низине, по берегам Ишима, темнеет густой тугай. Вокруг дворов плотно растет сочная, зеленая трава. По ней приятно бегать босиком: она пружинит и щекочет ступни. Черная колея посередине аула тоже нынче зарастает гусиной травкой. Раньше по этой дороге ездили на телегах, иногда, говорят, даже машины проезжали, теперь по ней ездит один Тайшик на скрипучей арбе.

Папа идет скоро, легко. Я еле успеваю за ним. Мы уже приближаемся к кузнице, и я, забегая вперед и заглядывая папе в лицо, наконец решаюсь спросить о том, что меня мучает уже несколько дней:

— Папа, правда, люди разные бывают?

— Что?.. А... Конечно.

— И немцы тоже разные?

— Очень разные.

— И фашисты самые плохие?

Папа замедляет ход, сбоку смотрит на меня:

— А, вон ты о чем... Эти вообще нелюди.

— А мы, значит, хорошие?

— Мы советские. И фашисты наши враги.

До чего просто и понятно! Неужели долговязый Шаймурат, проучившись десять лет, не знает этого? Ну, если не знает, спросил бы у Очкастого Ганса. Или у моего папы.

— Только не все это понимают, да?

— Не все, Гарри. К сожалению...

— А почему?

— Одни не могут, другие не хотят.

— А почему?

— Кто знает...— вздыхает папа.

Ворота кузни широко распахнуты, и оттуда доносится знакомый перестук: дзинь-так-тук. Кузница — ветхая, приземистая, из дерна — утопает в буйном бурьяне. У входа — куча ржавого железа, обуглившиеся чурки, зола. Вперемежку стоят покалеченные конные грабли, сенокосилка, плуг, лобогрейка.

Перестук сменяется коротким шипением, и в черном проеме, клубясь, вздымается облако сизого пара. Он быстро тает, улетучивается, и возле чана с грязной водой вырастают братья — Омар и Коспан.

— Э, Кертр, аман, аман!

У старшего, Омара, рука обмотана тряпицей. Папа хмурится, едва взглянув.

— Почему на перевязку не приходите?

— Уай...— Омар сдвигает на затылке черную круглую шапочку.— Шепука!

— Ия... Чепуха...— вторит Коспан.

Странная манера у братьев: старший слово обронит, младший его тут же подхватывает.

— Айда, Кертр, в дом,— говорит Омар.

— Ия... в дом,— поддерживает Коспан.

Братья живут вместе, работают вместе, даже в гостях сидят рядышком. И жесты, движения, походка — одинаковы. Омар только чуть приземистей, покряжистей, а Коспан — поосанистей, поподжаристей. Вот и сейчас они идут через кузницу, через длинный, узкий хлев, сплетенный из тала.

Верхняя половина комнатушки застелена деревянным полом. Убранство как у всех в ауле: большой сундук с горкой цветастых корпе — стеганых одеял и подушек. На полу кошма с узорами. Посередке — низенький круглый столик. Возле — печурка, в закутке — домашняя утварь. В нижнем углу сидит на шкурке женщина в белом жаулыке, в плюшевом камзоле и крутит ручную мельницу. Напротив месит тесто другая, тоже в жаулыке и в таком же камзоле.

Братья усаживают нас на почетное место и устраиваются, скрестив ноги, рядком. Омар, морщась, начинает разматывать тряпку.

— Так не пойдет. Видите: присохло,— укоризненно говорит папа.— Дайте тазик и теплую воду.

Что-то говорит Омар, его точь-в-точь повторяет Коспан, слова Коспана подхватывает женщина, что месит тесто и передает своей соседке, что крутит мельницу, а той, что крутит мельницу, видно, передать уже некому, и потому она проворно встает и бросается к самовару, попискивающему у входа. В тазик с теплой водой папа сыплет марганцовку и заставляет Омара опустить руку.

Я только теперь замечаю мальца, уютно устроившегося возле сундука с одеялами. Он сидит себе на подстилке и макает кусок лепешки в сметану в деревянной чашке. Поймав мой взгляд, растягивает губы до ушей.

— Эй, Кари... хе-хе...

Ну, вот, и этот уже меня знает. Кари да Кари. Эдак я скоро настоящее имя свое забуду... Я догадываюсь, что это Мырзаш, у которого, как говорил Ойрат, «два атес

йес», и дружелюбно улыбаюсь в ответ. Омар, глядя на нас, умиленно бормочет:

— Ай, айналайн!..

— Айналайн-ай!— тотчас отзывается Коспан.

— Подай мальцу каймак,— говорит Омар.

— Да, да, мальцу каймак дай,— откликается Коспан.

Та, что месит тесто, подхватывает эти слова и передает их той, что крутит мельницу, и той, что крутит мельницу, видно, некому их больше передавать, и потому она проворно встает и подает мне кесушку сметаны и кусок лепешки.

— Ешь, ешь,— говорит папа по-немецки, видя мою нерешительность.

Чистенький Мырзаш, гладенький, ухоженный. Точно заласканный барашек. Неплохо он устроился при двух мамах и двух папах. Видно, все четверо души в нем не чают. Может, из-за него и живут-то так дружно, неразлучно братья?

Пока мы, переглядываясь, уплетаем за обе щеки лепешку, папа меняет Омару повязку и с любопытством разглядывает ручную мельницу.

— Надо такой — сделаем,— говорит Омар.

— Ия, ия... сделаем,— кивает Коспан.

— Конечно, надо. Во всей округе ни одной мельницы. А с половиной мешка зерна стоит ли ехать в Марьинку?— Папа затевает разговор о плате, но Омар отмахивается:

— Э, ладно... Шепука!

— Ия, ия... чепуха...— соглашается Коспан.

Солнце клонится к тугаю. Со стороны Ишима бредет стадо. Горластый Темеш-пастух, не щадя глотки, самозабвенно поет «Сырымбет», и в воздухе долго дрожит томительно-прощальное «карындас-а-а-ай...». Мальчишки и женщины-молодки спешат навстречу, ловят телят, гонят их домой. Некоторые сосунки все же вырываются, вприпрыжку несутся к своим матерям, услышав их зазывной рев, нетерпеливо тычутся мордой в набухшее вымя. И тогда поднимается истошный гвалт: «Ойбай! Вон, вон! Держи!.. Оморок его возьми!» — и дети опрометью бегут к непослушному теленку, стараясь изловить его, пока он не высосал все молоко. А тут с другого конца подкрадывается еще одна напасть: возвращаются с выпаса — копытцами цок-цок — овцы и козы, оглашая аул неистовым блеянием. Мечутся молодки, наступая на подол длинного платья, лают собаки. Самая суматошливая пора в ауле — вечер.

Маленькая жена Тайшика доит корову. Заметив нас, смущенно оправляет платье, чуть прикрывает лицо жаулыком, неслышно шевелит губами на папино приветствие.

В шошале по-вечернему сумрачно. В середине под треногой горит огонь, бросая вокруг зыбкий отблеск. В закопченном казанчике слабо булькает. В углу на кошме копошатся малыши. Тайшик, сложив натруженные руки на коленях, отрешенно смотрит на огонь.

Тяжело Тайшику. Попробуй потрясись от зари до ночи то на сенокосилке, то на граблях, то на волокуше. А потом собирай сено в копешки, потом скирдуй, а позже вези его на скотобазу и опять скирдуй. Намахаешься! Но не от одной работы устал Тайшик. Угнетает его неизлечимая хворь сына.

Я опускаюсь на седло с обломанной лукой. Кабдеш с усилием поворачивает ко мне голову и пытается улыбнуться. Морщинистый лоб его покрыт испариной. Руки точно обугленные кривые сучья. С весны лежмя лежит Кабдеш.

Папа щупает его пульс, выстукивает, выслушивает грудь. Потом медленно складывает стетоскоп, достает из чемоданчика пузырек.

— Рыбий жир... По столовой ложке...

Кабдеш порывисто дышит, шевелит пальцами.

— И-и, ал-ла...— вздыхает Тайшик.

— За почтой не ездили?— спрашивает папа.

— Какая сейчас почта?.. Баскарма вчера в районе был. Три черные бумаги, говорят, привез. А газеты Ахметжан взял.

— Похоронки кому?

— Не знаю... Время придет — баскарма стариков соберет. Пойдут — скажут...— Тайшик бормочет что-то, проводит ладонями по лицу.

Малыши обступают нас, глазами постреливают. Папа начинает шарить у себя в карманах.

— Кампит! Кампит!— вопят малыши, увидев плитку гематогена.

По пути папа заходит еще в несколько домов, оставляя меня на улице. Вечерний гвалт в ауле утих, со скотиной все управились, и теперь на пустыре за домом дедушки Сергали резвится ватага мальчишек.

К Очкастому Гансу папа хочет завернуть лишь на минутку, чтобы просмотреть последние газеты.

— О, добрый вечер!.. Проходите... проходите...

Гостевая комната в доме учителя обставлена совсем по-другому. Из-за ярко-красного полога виднеется опрятно прибранная никелированная кровать. Высокий стол накрыт скатертью с кистями. Этажерка в углу заставлена книгами.

Очкастый Ганс и папа начинают оживленно рассказывать друг другу. Я смутно понимаю, что речь идет о событиях на фронте, о последних сообщениях Совинформбюро. Есть что-то загадочное и величественно-торжественное в этом слове. Я произношу его правильно, с шиком. Ни Ойрат, ни Салим, никто другой из знакомых мне аульчан не в состоянии его выговорить точно. Забавнее всех произносит это слово дедушка Сергали: «Сауынпормыбуйра».

Разговаривая, папа быстро просматривает газеты, а Очкастый Ганс нетерпеливо водит карандашом по карте. Я между тем разглядываю фотографии на простенке.

— Ну, пойдет нынче Гарри в школу? — спрашивает вдруг учитель.

— Вряд ли... Марьинка больно далеко. Да и знакомых там нет. Как такого отправишь?

— Так пусть у нас учится.

— В казахской школе?!

— Ну и что? Разве у нас плохая школа?

— Но... он же языка не знает.

— Научится. У детей это быстро...

Уши вспыхивают у меня. Неужели это возможно? Читать, правда, умею, писать — тоже, хотя и печатными буквами. Таблицу умножения наполовину вызубрил, и для меня все равно что — «айнмаль айнс» или «дважды два». Да и по-казахски кое-что кумекаю. Кажется, и папа об этом же думает.

— Вообще-то... Вы считаете... можно?

— Почему же нет? Мальчик смышленый.

От Очкастого Ганса мы возвращаемся поздно. Тихо в ауле. Только слышно, как на том краю лениво тявкает собачка да перхают в загонах овцы.

А потом я никак не могу уснуть и все думаю о школе. Интересно, скоро папа поставит этот вопрос на семейном совете? Из мрака всплывают то грузный, суровый Муканата с огромным сапогом в руке, то братья-кузнецы, монотонно отбивающие на наковальне какую-то железку, то

измученное, с жутким оскалом лицо Кабдеша, то Тайшик, удрученно вздыхающий: «И-и, ал-ла...»

— Замучил мальчика. Видишь: ворочается, не спит,— будто издалека доносится голос мамы.

Наконец сон одолевает меня, все видения исчезают, растворяясь во мраке, но тут раздается стук, кто-то за окном зовет: «Першил! Першил!» — и я сквозь дрему слышу, как вскакивает и быстро одевается папа, хватает аптечку и что-то шепчет маме. Скрип удаляющейся телеги — последнее, что фиксируется в моем сознании.

— Папы еще нет?— спрашиваю я утром.

— Нет. Из Каратала ночью приезжали,— устало отвечает мама.

Да-а... спокойные ночи — редкость. Почти каждое утро я слышу от мамы: «Из Мектепа приезжали...», «Из Кенеса...», «Из Коктерека...», «Из Жанажола...», «Из Козловки...»

Я знаю наизусть все названия окрестных аулов.

XI

Осень под ноги бросала
мне плоды рукою щедрой,
а в лицо кидала ветер...

Рудольф Жакмьен

В непроходимых тугайных зарослях сонно жужжат шмели, пахнет прелью; воздух пропитан вязким духом разнотравья и переспелых ягод — черемухи, черной смородины, шиповника, боярки. Тугай — нетронутое царство — ярмарка щедрой осени. Только некому собирать эти дары, некому любоваться буйными красотами.

— Ай, ай... Сколько добра пропадает,— удручается папа.

Свисают тяжелые, налитые соком упругие грозди над головой, глянцевито поблескивают — бери сколько хочешь, сколько не лень. В безмолвии стоят деревья, кусты, покрытые паутинкой, увитые хмелем с цепкими плетями. И в этих диковинных зарослях бродят с утра двое — я да папа. Собирать черемуху и смородину в свое удовольствие — приятно и полезно, но мы ее собираем лишь чуть-чуть, между делом, ибо должны в первую очередь выполнить государственный заказ. Эти слова папа впервые произнес недавно, когда вернулся из Марьинки с новым

поручением: собирать лекарственные травы. Их, оказывается, в наших краях тьма-тьмущая. С тех пор, отправляясь в аулы, папа неизменно берет меня с собой, потому что без меня — при его занятости — мудрено выполнить государственный заказ, а папа, как я об этом сразу догадался, намерен его еще и перевыполнить.

Порядок сбора определился сам собой: возвращаясь из аулов Прииишимья, мы по пути час-другой собираем в тугае и в низине шиповник, боярку, конский щавель, крапиву, хмель, подорожник. Бывая же в аулах верховья, мы собираем в тамошних лесах и полях ромашку, полынь, череду, татарник и выкапываем солодковый корень. Дома все это сортируется, высушивается, взвешивается, раскладывается по мешочкам и пакетам. Все запахи лесных и пойменных трав смешались в нашем доме.

Папа запихивает в мешок крапиву и хмель, косится на корзину, в которую я собираю шиповник, и смотрит вверх, определяя по солнцу время.

— Пожалуй, пора кончать,— говорит он.— А то не успею...

Пора так пора. Черемухи и смородины я объелся, во рту и в горле липко, вязко, язык точно распух и покрылся густым налетом, хоть ножом соскабливай, руки исцарапаны колючками шиповника, изъедены мошкой и комарами, запах дурманит, кружит голову.

— Да,— соглашаюсь я поспешно, пока папа не передумал.— Пора...

Закинув мешок за плечо и держа в другой руке корзину, папа пробивается сквозь заросли, умудряясь каким-то образом отводить ветки и притаптывать валежник, чтобы я ненароком не напоролся на острые сучья. Осторожно спускаемся мы по крутому обрыву к старице, заросшей по краям осокой, кувшинками, лилиями. Здесь еще утром папа поставил несколько жерлиц. На одной из них беснуется щуренок. Папа ловко снимает его с крючка, нанизывает на кукан и, привязав его конец к талу, вновь отпускает в воду. Улов он заберет вечером на обратном пути. Пока я в сторонке смываю липкую паутинную грязь с рук и лица, папа меняет на жерлицах уснувших живцов-чебачков и с тревогой поглядывает на солнце.

— Скорей, Гаррик...

Вновь взбираемся на обрыв, выходим на развилок рядом со старицей, быстро оглядываемся. Теперь нужно мешок и корзину спрятать в кусты и решить: то ли я пойду с папой

в соседний аул, то ли отсюда — за три километра — один отправлюсь домой. Пока мы раздумываем, из-за тугая, к большому нашему облегчению, неслышно выезжает на своих быках Тайшик. Видно, он неподалеку, возле Ишима, косит сено. Быки, увидев нас, останавливаются. Они, дьяволы, словно знают, что при встрече в пути людям необходимо расспросить про здоровье всех знакомых и родных, о новостях в ауле, благополучии скота. Лишь разузнав все это, путники степенно разъезжаются. Папа, однако, спешит. Ему нет дела до извечных ритуалов. Тайшик угрюмо ждет, пока папа закидывает на арбу мешок и корзину, а я устраиваюсь рядом на свежем сене. Явно недовольные такой короткой передышкой, быки нехотя трогаются с места. По пустынной дороге в Коктерек торопливо шагает папа с аптечкой-чемоданчиком в руке...

Наша колымага спускается в овраг, сплошь заросший жимолостью. Здесь, рассказывают, издревле обитает всякая нечисть — джинны и дивы-оборотни. Днем они молчат, прячась в сумрачных кустах и береговых курганах, развалинах, а ночью устраивают дикие оргии в сае, бегают наперегонки и воют, стонут, ухают на все лады. Однажды поздним вечером, когда мы с Салимом поили председателева жеребца у колодца возле кладбища, я сам слышал, как перекликались утробными, зловещими голосами джинны. Мне страшно представить, как в густых сумерках или даже темной ночью, возвращаясь из Коктерека, папа один пройдет по оврагу.

— Бисмилля,— шепчет Тайшик перед подъемом по склону.

Из оврага мы выбираемся благополучно, и я оглядываюсь назад, надеясь увидеть еще раз папу, но его уже нет; черным волосяным арканом вьется коктерекская дорога вдоль тугая. Справа до самого горизонта безбрежным морем колышется ковыль.

Тайшик вприщур разглядывает меня.

— И-и-и, алла... на кого ты похож? Нос да глаза... С утра, что ли, травы собираете?

— С утра...

— Твой коке и сам не спит, и тебе спать не дает...

— Сейчас самый сезон,— серьезно, словами папы отвечаю я.— Надо выполнить государственный заказ.

— Не дейды?— удивляется Тайшик.— Что он говорит? Сезон... заказ... Что это?

Я молчу. Я не могу объяснить Тайшику ни по-русски,

ни по-казахски, что такое сезон и заказ. Тайшик что-то бормочет, качает головой и смотрит вдаль.

Отсюда наш аул виден как на ладони. Кособокие домишки с шошалами — точно асыки, разбросанные неумелой рукой на зеленой кошме. Строили, видно, кому, как и где заблагорассудится, не думая об улице, не заботясь о планировке, не испрашивая позволения аульной власти. Мало разве божьей земли! Мне нравится и этот простор, и эта кажущаяся беспорядочность, которые маме вовсе не по душе, потому что она считает, что дома должны быть аккуратные, беленькие, с ухоженным палисадником и стоять ровно по одной линии, на одинаковом расстоянии друг от друга, и порой мне чудится, что я живу в этом ауле уже давным-давно, чуть ли не всегда, что он совсем-совсем не чужой, а мой аул, и мне становится немножко досадно и неловко, когда мама с тоской рассказывает о родном крае, о родной деревне. Какой он, родной край? И какая она, родная деревня?..

— И-и, алла...— вздыхает Тайшик.

Он уже не поет, как в прошлом году, свою нескончаемую песню; «Буль-буль-буль». Он чаще молчит или бормочет что-то длинное и таинственное, похожее на молитву. У Тайшика горе: недавно умер Кабдеш. Ни весенний кумыс, ни свежий степной воздух, ни рыбий жир, который папа с трудом достал в районной аптеке, уже не могли помочь Кабдешу. Братья Омар и Коспан вырыли могилку на краю кладбища, дедушка Салима, аульный мулла, прочитал Коран, и теперь лежит Кабдеш под маленьким бугорком, придавленным камнем-стояком с какими-то непонятными арабскими закорючками, и слушает, наверное, по ночам, как в соседнем овраге беснуются джинны и дивы.

Тайшик пристально смотрит на меня воспаленными глазами и улыбается. Впрочем, странная, даже жутковатая у него улыбка, кажется, хочет заплакать, а не может, торчит что-то в горле, мешает.

— Почему ты такой тощий, а? Кабдеш умирал — справнее был. Тебя что, совсем не кормят?

Мне нечего ответить. О моей худобе говорят все, но я ее почему-то не замечаю. Наоборот, я не ощущаю в себе никакого веса, и мне очень удобно бегать, когда в спину дует ветер, я тогда лечу над землей, лишь изредка отталкиваясь ногами, и даже аульные псы не решаются бежать со мной наперегонки. Однажды, когда ветер дул особенно

яростно, я сильно разбежался и едва не перелетел через овраг от края до края — чуть-чуть только оставалось. Ребятня ахала от удивления, некоторые даже решили, что у меня есть невидимые крылья. Ем я не хуже моих сверстников. Пью разные отвары, чтобы не болеть цингой и куриной слепотой. А все равно чуть что — из носа кровь.

У болота близ аула Тайшик сворачивает к молочарне.

— Кумыс пить,— объясняет он мне коротко.

Ферма — невзрачная прокопченная юртешка и небольшой загон для телят и жеребят-сосунков — расположена на открытом лугу рядом со старицей. Вокруг пасутся коровы, кобылицы, резвится молодняк. У коновязи дремлет, отмахиваясь от мошки, кургузая лошаденка под седлом. Возле юрты валяются бидоны, кадки, кожаные подойники, казаны. Чернеют обуглившиеся, завалившиеся по краям земляные печки — жерошаки. Полог юрты открыт, оттуда доносятся звон посуды и неразборчивая речь. Тетка в длинном, до пят, цветастом платье на миг высовывается из юрты.

— Айда, айда,— настаивает Тайшик, заметив мою робость.

Внутри неказистой юртешки довольно просторно. Кислый запах перебродившего кумыса бьет в ноздри.

— Оу, Кари! Кел, кел!— раздается в углу.

Ватага мальчишек, усевшись полукругом, увлеченно ест что-то из казанчика посередине. Заводила Ойрат локтем подталкивает соседа — голопузого мальчонку, по уши измазанного чем-то жирным, коричневым, горелым,— освобождая для меня место рядом. На дне казанчика темнеет густая жидкость, в которую макают и, жмурясь от удовольствия, облизывают кто палочку, что щепку, кто палец.

— Вовремя пришел. Хвалишь, значит, нас. Давай лопай,— приглашает Ойрат.

— А что... это?

— Торта.

— Торта?!

Такого кушанья я никогда не ел, не видал и даже не представляю, как оно называется по-русски или по-немецки.

— Подай мальцу ложку,— слышу я из другого угла голос Тайшика. Он уже цедит кумыс из большой деревянной чаши. Патлатая в цветастом платье начинает рыться в ящике.

— Ишь, кафыр![1] Без ложки не может, что ли?— усмехается Океш, колхозный пастух и первый сквернослов в ауле.— Брезгует!

— Не болтай!— сурово говорит Тайшик.— Кари — сын нашего аула, а никакой ни кафыр!

Океша хлебом не корми, дай только покуражиться над малышами да молодками доярками. Мне не хочется быть кафыром, и я не стану ждать, пока патлатая нашарит в ящике изгрызенную мышами ложку. Я нахожу на полу обуглившуюся, трубочкой свернувшуюся бересту и, слегка развернув ее, начинаю, точно совком, черпать из казанчика торту. Малыши обескураженно переглядываются и начинают еще усерднее макать пальцы и палочки.

Оказывается, тортой здесь называют осадок топленого масла, вытоп. Поначалу кажется очень вкусно, но без хлеба много не съешь. И все же, ревниво косясь друг на друга, мы мигом выскребли, вылизали казанчик дочиста. Что ни говори, а вытоп — нечастое лакомство для аульных мальчишек.

В ауле свои события. Это ураза — пост правоверных, сундет — обряд обрезания, ас — поминки. По каждому такому случаю проводится непременная трапеза, как говорится, «окровавливается нож», то есть попросту режут какую-нибудь скотину, ну хоть бы паршивого козленка.

И тогда сладко булькает в казане, и дразнящий запах плывет-клубится окрест, и со всех дворов сбегается детвора в предвкушении пира — кусочка печени или полного половника дымом пахнущей сорпы — бульона. Но это лишь начало тоя, приятное и нетерпеливое ожидание главного. А главное потом, когда почтенные аксакалы и уважаемые люди аула рассядутся вокруг дастархана, посередине которого, на большом деревянном подносе — табаке, исходит паром гора душистого мяса, залитого острым тузлуком, когда со словами: «Бисмилля!» — «Во имя аллаха!» — начнется сама трапеза и вместе с ней одаривание взрослыми аульной малышни.

«Бери, бери, милый, не стесняйся!»

«На, айналайн! Вырасти большим джигитом!»

«А ты-то, сары-бала, чей будешь? А-а... сын першила, говоришь. Кари, говоришь... Э, жаксы, жаксы. Бери, дорогой, ешь, ешь, мой хороший».

И возликует твоя душа, сердце радостно забьется-затре-

[1] Иноверец *(каз.)*.

пещет в твоей груди от благодарности не столько за лакомый кусочек или сахарную кость, сколько за внимание, за благосклонность, за память и заботу о тебе...

Вытоп масла на колхозной ферме пусть небольшой, а все же желанный праздник для аульной детворы. Для бедняка, говорят, один раз досыта наесться — половина богатства.

От молочарни до аула один катцешпрунг, как говорит мама, всего лишь кошачий прыжок, но для быков Тайшика и это расстояние — путь немалый. Плетутся, посапывают, хвостом-метелкой себя лениво нахлестывают, пучеглазо косятся на прут в руке возницы. Всю дорогу Ойрат и Мырзаш громко рыгают, хвастаясь друг перед другом сытостью. А мне нехорошо, поташнивает, крутит в животе, першит в горле. Запах прогорклого вытопа точно обволакивает меня, и перед глазами неотступно стоит черный, весь в копоти, казан.

У лесочка Ойрат и Мырзаш сигают с арбы, скрываются в лощине и вскоре выпыривают оттуда с пучками дикого щавеля. Мы с удовольствием жуем приятно кислые листочки, и тошнота отступает.

Возле кузницы Мырзаш прощается с нами, а мы с Ойратом, приехав к нашему дому, затаскиваем мешок и корзину в сенцы.

— Смотри, смотри!— шепчет Ойрат.

Из шошалы бабушки Кульшары выходит Шаймурат. Мы застыли в изумлении: одет он чисто, опрятно, словно собрался за невестой. Лицо строгое, серьезное, неуловимо-необычное. Губы плотно сжаты. Над ними грозно навис длинный с горбинкой нос. В больших, на каблуках, сапогах Шаймурат кажется еще выше. Нас он тоже сразу замечает и поманивает пальцем.

— Уай, джигиты, новости-то слышали?— спрашивает он, когда мы с готовностью подскакиваем к нему.

Польщенные таким обращением, мы в унисон шмыгаем носами.

— Не-ет...

— С неба, что ли, свалились?!

Мы виновато опускаем головы. Что же такое могло случиться, о чем даже всезнайка Ойрат, шабарман Ойрат, проныра Ойрат не в силах догадаться?

— Э, ладно,— милостиво машет рукой Шаймурат.— Объявляю вас моими нукерами. Поняли? Ваш ага... это я, значит,— считает он нужным мне объяснить,— ваш ага

едет на фронт! Не вернусь батыром — плюньте мне в рожу! Видите, обхожу дома, прощаюсь со стариками. Вы будете меня сопровождать. Не пристало мне, как бродяге-дервишу, в одиночестве по дворам слоняться.

И мы услужливо киваем. И идем по аулу. Из дома в дом. От очага к очагу. Как велит обычай. Гордый и торжественный вышагивает впереди Шаймурат, будущий славный батыр, а по обе стороны — не менее важные — семеним мы, его избранники-нукеры.

— Ай, сарбазы! Ай, мои надежные крылья! — похваливает нас Шаймурат.

Оказывается, пока мы на ферме объедались тортой, новость успела облететь весь аул. В каждом доме нас встречают как дорогих, долгожданных гостей, а забияку Шаймурата, которого еще вчера иная хозяйка и к порогу не подпускала, сегодня усаживают на почетное место и ведут с ним учтивые речи. Едва мы садимся, чинно подобрав ноги под себя, как перед нами скатертью-самобранкой появляется дастархан с привычными аульными яствами. Шаймурат ест сдержанно, вежливо, выразительно подмигивает нам, чтобы мы не терялись, отведали всего, что на дастархане, а кое-что между делом и запихивали в карманы и за пазуху, а сам при этом начинает степенно, то ли нараспев, то ли всерьез волнуясь, с долгими паузами — такая речь, должно быть, по душе старикам,— очень туманно для меня говорить о том, что судьбой уготовано джигиту тяжкое испытание, которое он, Шаймурат, с благословения почтенных старцев и всех аульчан постарается пройти с честью. В каждом доме он говорит почти одно и то же и все больше витиевато, с большей дрожью в голосе, все многословней, все складней, и старики, слушая его проникновенную речь, суровеют лицами и в знак одобрения теребят-пощипывают бородки, а женщины вытирают краешком жаулыка слезы. Шаймурат — шешен-златоуст. Он, говорят, умеет из слов источать жир. Каким образом у него это получается, я не знаю. Но сейчас я начинаю этому верить. К тому же Шаймурат — акын. В областной газете недавно напечатали его стихотворение «Вой, фашист, в своей могиле!» Даже выпускное сочинение Шаймурат написал стихами.

Глаза Шаймурата горят, тонкие ноздри раздуваются, жилка на длинной шее набухает. Чем-то он похож сейчас на молодого, нескладного беркута с большими когтями и клювом. Таких беркутов — я сам видел — обучает охот-

ник Абильмажин. Шаймурату, наверное, самому доставляет удовольствие собственное красноречие.

Угощение кончается благословением хозяина дома.

— Э-э... айналайн... Не урони чести старого отца своего, Мукана! Восславь своими деяниями свой аул и народ свой! Да будет путь твой светлый и удачливый! Возвращайся с победой да живой-здоровый. Аминь...

При этих словах мы с Ойратом перестаем жевать, благоговейно замираем, держа перед лицом сложенные ладошки, и, услышав заключительное «А-ауминь...», проводим кончиками пальцев по щекам.

— Алла-акбарр...

И это повторяется в каждом доме, и мы чувствуем всю значительность этих проводов, и маленькие сердца наши, обласканные всем аулом, переполненные добрыми напутствиями и благословениями, бьются учащенно и радостно. Мы гордимся Шаймуратом, а он довольно похваливает нас:

— О, мои верные нукеры! Мои могучие крылья!

Обход завершается вечером. Будущий батыр Красной Армии заметно охрип. Верные его нукеры, то есть Ойрат и я, от усталости и небывалого обжорства тоже еле волочат ноги. Однако провожаем его до дома. Мать Шаймурата, придерживая рукой поясницу, хлопочет возле самовара. Мукан-ата понуро сидит на стеганом лоскутном одеяле и перебирает четки.

— Коке! Пришел я со своими нукерами,— сообщает Шаймурат.— Всех обошел, со всеми простился.

— Барекельде[1],— отзывается сапожник.— Пригласи своих нукеров чай пить.

— Не нужен им чай, коке! Они и так вот-вот лопнут. Раздам им свое богатство и отправлю домой.

Шаймурат ведет нас в шошалу, долго копается за огромной деревянной абдрой-ларем, выгребает кучу раскрашенных асыков. Разделив их между нукерами поровну, он достает облепленный паутиной деревянный меч с красиво выточенным эфесом и передает его Ойрату:

— Сбереги, пока вернусь.

— Ия!— хлюпает от восторга Ойрат.— Сберегу!

Представляю, как заблестят глаза у мальчишек при виде такого сокровища!..

---

[1] Возглас одобрения *(каз.)*.

— А с фронта привезу тебе настоящий кинжал. Серебряный!

— А мне?— не в силах скрыть зависть, малодушно спрашиваю я.

— Тебе... тебе привезу губную гармонику. Большую — во! Будешь на моей свадьбе играть «Камажай».

— Какая свадьба?

— Уй, дурачок!.. Я что, по-твоему, один с фронта приеду? Да я же себе немку-красотку отхвачу. На зависть всем аульным девкам. Из Берлина! Такую, понимаешь, с тонкой талией, гибкой, как тал, белую, белую, как очищенное просо, с голубыми глазами, с мягкой, как пух, шеей. И будет у меня... как это... фрау, у тебя — дженге, и мы с тобой породнимся и будем шпрехать по-немецки — ойдойт!..

Мы восхищенно умолкаем. Что там говорить, хват Шаймурат на все горазд. Такой отчаянный джигит хоть какую голубоглазую мигом окрутит. Разве девчонки устоят перед батыром, который умеет из слов источать жир?!

— А пока, грамотей, получай вот это.

Шаймурат подает мне потрепанную, заляпанную книжку. Я открываю страницу и с изумлением и радостью читаю первую строчку: «Anna und Marta baden». Видно, потому-то и врезалась в память Шаймурата эта фраза, что стоит первой в учебнике.

Мы выходим из шошалы, и Шаймурат, потягиваясь, говорит напоследок:

— Оставайтесь живыми-здоровыми, нукеры. Завтра еще в постели дрыхать будете, сны приятные досматривать, а я уже буду в пути. Помните меня!

— Ладно,— говорим мы и опрометью мчимся домой.

... Асыки, доставшиеся нам в наследство от Шаймурата, мы вскоре растеряли во время бесчисленных игр, а деревянный меч и учебник немецкого языка с запомнившейся первой фразой хранили еще долго.

От Шаймурата приходили письма в стихах. Их читали по многу раз. Переписывали. Наизусть изучали. Поговаривали, что у Шаймурата на груди не один «ордын», и мы, мальчики, не сомневались, что он, настоящий батыр, ворвется скоро в Берлин на быстроногом скакуне и заставит злодеев-фашистов выть в собственном логове.

Домой Шаймурат не вернулся.

Осиротел очаг старого сапожника Мукана.

И не суждено мне было на свадьбе Шаймурата сыграть

на трофейной губной гармонике шаловливую, задорную «Камажай».

А помнить — помним!..

XII

Согласие приносит силу.

Немецкая поговорка

В согласии источник блага.

Казахская поговорка

Дурманит голову жухлая картофельная ботва. Прелый земляной дух вьется над грядками. Плывут в прозрачном воздухе невесомые серебряные нити.

— Бабье лето,— говорит папа, встряхивая на лопате клубни, чтобы отстали от них плотные комья чернозема.

— Альтвайберзоммер,— подтверждает Симон-шал.

Он охотно говорит по-немецки, но у него особый выговор. Знакомые слова звучат чуждо, по-книжному. Вначале мне чудилось, что Симон-шал только учится говорить по-немецки, оказалось, он говорит так, как надо, очень грамотно, правильно, одним словом, Hochdeutsch, а мы — на волжском диалекте. Выходит, даже на одном и том же языке можно изъясняться по-разному.

Объявился Симон-шал в ауле неожиданно. Откуда он приехал и почему облюбовал именно наши края — никто не знает. Поселился он в крохотной комнатушке при интернате. Прибежали мы с Ойратом как-то к интернатцам, а там, в коридоре, в окружении взрослых ребят, сидит незнакомый рослый бородач и, слегка картавя, читает им что-то из толстенной пожелтевшей книги.

— Кто это?

— Симон-шал.

— Что за Симон-шал?

— Обыкновенный. Не видишь разве?

— Откуда он?

— Шайтан знает...

Ни длинной фамилии, ни вычурного отчества его никто не запомнил, а потому стали звать пришельца по имени, добавив к нему из уважения к густой бороде, обрамлявшей горбоносое худощавое лицо, почтительное слово «шал». Так и пошло: Симон-шал — Симон-старик.

Работал он сторожем в интернате и истопником в школе.

Оказался Симон-шал с причудами. Вставал чуть свет и, как маленький, бегал вокруг столовой и махал руками. Зимой обтирался снегом и ходил без шапки. Осенью принялся сажать черемуху под окнами школы, будто мало ему было берез вокруг аула. Топор и пилу держал неумело, лошадь запрягал — ребята со смеху укатывались, к интернатскому быку и подходить боялся. И все же было в нем, в этом странном человеке, что-то притягательное, неуловимо-особенное, и все, что бы он ни делал, ни говорил, казалось любопытным, интересным.

В ауле сказывали: у него добрые глаза, приветливое лицо — значит, хороший человек.

К нам Симон-шал захаживал часто, бубнил что-то на чопорно-туманном Hochdeutsch, почесывал бороду, щурился, и мама почтительно слушала и восторгалась образованностью необычного гостя.

Папа ловко и прямо ставит лопату, стараясь не порезать ни одного клубня; мы с мамой собираем картошку, а Симон-шал ходит по убранному огороду, тычет туда-сюда вилами и складывает увядшую, потемневшую ботву в кучу.

Я слышу трель звонка и с грустью смотрю на школьную площадь, залитую солнцем.

— Что, Гарри, завидно? — спрашивает Симон-шал.

— Ничего,— отвечает за меня папа.— Этот год еще дома посидим. Самостоятельно заниматься будем.

— В том даже есть преимущество. Если нужно, и я к вашим услугам.

Все только утешают: «Преимущество». «К услугам». А в школе все равно интереснее...

— Годик позанимаемся,— продолжает папа,— казахский подучим, и можно будет сразу во второй класс. Так договорились с директором.

— Через год, может, еще все переменится,— предполагает мама.

Симон-шал и папа переглядываются и молчат...

Вдруг папа начинает настороженно оглядываться и потягивать носом.

— Где-то горит...

Погожий осенний день. Тихо в ауле. Ни ветерка. Видно, папе просто померещилось. Но через минуту он вонзает лопату в лунку и решительно поднимается на крышу дома. Долго смотрит окрест, прислонив ладони ко лбу.

— Степь горит! — И показывает рукой в сторону колхозного стана за лесом.

— Чем это грозит?— интересуется Симон-шал.

— Да пшеничное поле ведь рядом!

Папа бежит в контору, Симон-шал — в школу, я — по домам.

Степь горит! Пожар! Пожар идет с верховья!

Всколыхнулся тихий аул. Председатель колхоза и группа всадников галопом помчались к косогору. За ними гурьбой побежали ученики. Вслед засеменили старики, засуетились старухи.

За косогором, за лощиной, курчавясь, низко стлался дым. Неподалеку во всю ширь накатывался невидимый степной пал, треск и гул становились все явственней, и аульчане спешили навстречу неумолимо надвигающейся беде.

Председатель мчался уже назад.

— Чем тушить-то будете?! Голыми руками?

— Ветки, ветки ломайте — пламя сбивать...

— Шкуры, кошму тащите!

— Лопаты давай!..

Одни кинулись в колок ломать ветки, другие без толку шарахались взад-вперед, третьи без оглядки бежали назад, в аул.

Пожар с нарастающим гулом стремительно приближался; бледные язычки пламени затаились в траве, жадно, торопливо облизывали землю, подкрадывались к сухим, тускло серебрящимся стебелькам ковыля, мгновенно обугливали его, рассыпаясь искорками и оставляя за собой неприглядное, в черно-бурых пятнах поле. Позади, почти до самого горизонта, что-то еще догорало, тлело, чадило, вспыхивало и вновь угасало, а впереди широко, точно Ишим в половодье, растекалось, шипя и потрескивая, пламя, огненными щупальцами подбиралось к кустам перекати-поля, к кураю, к жимолости, густо разросшимся вокруг старого, полузабытого кладбища на бугре, а там, за бугром, тянулась узкая, ковылем поросшая полоска, потом — дорога на стан, а прямо от дороги начиналось колхозное пшеничное поле, где сонно, истомленно шептались, дозревая на солнце, уже забуревшие, уже встопорщившие усики колосья.

Папа, Симон-шал и несколько взрослых ребят, пообломав по молодой березке, с криком подбежали к огненной кромке и начали яростно хлестать землю, сбивая пламя.

— В ряд становитесь! Все, все! Живо! Бей, бей! Не подпускай!— надрывается председатель.

И пламя, не ожидавшее такого отпора, дрогнуло, заметалось у ног людей, трусливо кинулось назад, обволакиваясь черным дымом.

— Давай, давай! Наступа-ай! Туши-и-и!

Никто уже не стоял в стороне: и старики, и дети, встав плечом к плечу, били и топтали пламя, радуясь, что оно отступает, и преследуя его. Казалось, уже миновала опасность, но тут вскинулся женский вопль:

— Ойбай! Вон, вон!..

Дрогнула людская цепь, отшатнулась, и все увидели ликующе взметнувшийся столб огня на краю кладбища. Видно, какая-то искорка все же переметнулась через головы людей или прошмыгнула воровски меж чьих-то ног, скользнула в заросли, в сизые посохшие кусты перекати-поля и курая, и они вспыхнули, взорвались, будто порох.

В мгновение ока с шумом взвилось пламя, разом охватило все кладбище на бугре, и разбушевался огонь, осатанел, плюясь во все стороны жгучими искрами.

— У-а-а-а-ай!— прокатилось по косогору.

Толпа отпрянула, откатилась — подальше, подальше, подальше от огненного смерча, от исступленного языкастого пламени, уже подбиравшегося в поиске свежей поживы к ковыльной непаханой полосе у самой дороги, и казалось, никакая сила не может противостоять огню. И вдруг — пронзительный голос Абикея:

— Наза-а-ад!

Однорукий военрук рванул с себя гимнастерку и начал хлестать ею пламя. Интернатовцы тотчас кинулись к своему воспитателю и с новой силой обрушились на огонь. Папа с Симон-шалом, зайдя с тыла и рискуя опалить ноги, в лад с размаху стегали ветвистой березкой дымящуюся землю.

— Давай! Еще бей!— подбадривали друг друга люди.

Между тем огонь, истребив дотла все, что могло гореть на бугре, и еще не насытив своей страсти, угрожающе нацелился на желтевшее в нескольких шагах пшеничное поле. И стало ясно, что здесь, на этой узкой полосе, во что бы ни стало нужно укротить огненную стихию.

Пламя будто затаилось, отползало, лизало обуглившуюся землю, медленно умирало и вновь оживало, силясь в рывке перекинуться на пшеницу через дорогу. Но люди стояли стеной у истребленной палом межи — мужчины,

женщины, старики, подростки, дети, все, кого только держали ноги, и били злую силу, посягнувшую на их добро, на их жизнь, и зорко стерегли каждую коварную искорку.

— Смотрите! Смотрите!

Со стороны кузницы скакали на помощь братья Омар и Коспан. На краю межи, где нехотя угасал степной пал, они разъехались, и все увидели между ними тяжелую, намоченную кошму, растянутую на длинном аркане. Волоча ее по огненной полосе, братья проехали взад-вперед несколько раз по полю, и пламя, плотно накрытое толстой, мокрой кошмой, смирялось, задыхалось.

— Ай да братья!

— Молодцы! Вспомнили старый дедовский способ!

— Давай! Еще! Все поле прогладь кошмой!

Обрадованные нежданной подоспевшей помощью, люди встрепенулись, смело пошли по испепеленному полю, сшибая, прибивая ветками и затаптывая сапогами уже бессильные, то здесь, то там едва вспыхивающие язычки пламени. Степь еще чуть дымилась, и проснувшийся ветерок гнал по ней невесомый, жалкий прах ковыля, и солнце, склонившееся к закату, подернулось белесой пленкой, словно стыдясь смотреть на поруганную подругу — обезображенную свирепым разбойником палом степь.

Председатель объезжал спасенное пшеничное поле, озираясь вокруг, высматривая, не подбирается ли откуда еще какая-нибудь напасть.

— Эй, ребятки, посмотрите, не горит ли еще где? Внимательно смотрите!

Опасность миновала; страшный степной пал, не знающий пощады, пожирающий все на своем пути, угас, и люди, взбудораженные, разгоряченные, чумазые, теперь оживленно обсуждали происшедшее, как бы выплескивая остатки недавнего страха:

— Слава всевышнему, ветра не было. Не то пропали бы.

— Не говори! От аула ничего бы не осталось.

— Самое главное — пшеницу спасли.

— Ия... Какая только собака могла поджечь степь?

— Может, невзначай кто...

— Может, невзначай, а может, и нарочно.

— Брось! У кого рука подымется?!

— Товарищи! — кричал папа. — Ожогов нет? Кому нужна помощь?

— Вон у Зайры-молодки подол прожженный.

— Еще неизвестно, кто его прожег. Ха-ха!..

— Ойпырмай, если бы не Абикей, быть беде.

— Не зря командир. Прямо в огонь бросился.

— А братья-то, Омар и Коспан! Как додумались!

— Оу, баскарма! Хватит тебе взад-вперед мотаться. Лучше прикажи на радостях зарезать хотя бы козленка. А то люди небось и вкус мяса позабыли.

Председатель натянул поводья, ладонью вытер лицо.

— Спасибо, люди! Спасли добро и честь колхоза. А козленка зарежем.

— Э, барекельде! Приятные слова и слушать приятно...

Шли с косогора. Шли довольные, радостные. И не умолкали разговоры:

— И кто же первый про пожар-то узнал?

— Кто! Да Кертр! Он, першил наш, с сыном весь аул взбудоражил.

— Надо же! Не зря, видать, нос у него что добрая скалка. Учуял, унюхал!

— Да, храбрец! Не растерялся...

Солнце склонилось над Ишимом, приближался вечер, и люди спешили в аул, к своим повседневным житейским заботам.

Я шел рядом с папой и Симоном-шалом и вдруг заметил, что в толпе бегущих впереди мальчишек нет Ойрата. Там, на косогоре, мы были вместе и хлестали ветками пламя у ног, а потом, в суматохе, когда огонь набросился на заросли возле кладбища, я потерял его из виду. А вдруг... Такой жуткий страх захлестнул меня, что я едва пролепетал: «Сейчас... сейчас...» — и кинулся назад туда, где посреди опаленного, истерзанного поля темнело старое, заброшенное кладбище на песчаном бугре.

— Ойрат! Ой-ра-ат!— кричал я сдавленным, неслышным голосом.

Зловещей тишиной была скована обугленная степь. Багровый отблеск мерцал на безмолвно застывших камнях-стояках, стороживших покой предков аульчан. В стороне над ольхой, у лощины, кружилась, каркая, одинокая ворона. Я стоял у склона, охваченный оторопью, не в силах кричать.

На бугре застрекотала, заверещала вдруг сорока, и, догадавшись, что ее что-то вспугнуло, встревожило, преодолевая страх, я ринулся вверх по склону и сразу увидел Ойрата, сидевшего на корточках на краю чьей-то могилы.

Он плакал, вздрагивая плечами, и что-то шептал. Я тихо позвал его:

— Ойрат... Слышишь, Ойрат... Что ты здесь делаешь?

Он не ответил, только посмотрел на меня и потер кулаком глаза. Я подошел к нему.

— Айда домой... Видишь: все ушли.

— Знаешь... что? — Ойрат не мог унять дрожь... — Здесь лежит мой ата, мой дедушка. И... и прадедушка. И...

— Кто сказал?

— Апа моя сказала. Я знаю... всех своих дедов до седьмого колена знаю... Когда мой коке погиб, душа его... сюда... вот сюда прилетела...

— Как?! Кто сказал?

— Апа моя сказала. И вот сегодня... сегодня... ты видел... все сгорели...

Я молчал, стараясь представить предков Ойрата, покоившихся под этим бугром, и душу неведомого мне воина Жуматая, прилетевшую из-под Москвы в родные края, чтобы сгореть в один несчастный день в степном пожаре.

— Ты знаешь проклятие? — таинственно спросил Ойрат.

— Не-ет...

— Видишь: солнце заходит. Проклятие, если трижды прошептать его перед закатом, имеет страшную силу.

— Кто сказал?

— Апа моя сказала... Повторяй за мной: «Чтоб ты корчился в могиле, фашист-злодей!.. Чтоб ты сгорел в огне и ветер развеял твой прах поганый!.. Пашес-собака! Аминь».

Мы с Ойратом встали рядом с потемневшим от времени, вросшим в землю надмогильным камнем и, повернувшись к заходящему солнцу, трижды прошептали проклятие.

XIII

Говорят, мой друг,
не довелось нам пороху понюхать...

Арно Прахт

Белая морозная муть плотно укутала аул. Продуваемую всеми ветрами школу на пустыре завеяло поземкой. Окна обросли наледью, ослепли. По углам пустых и оттого непомерно больших классов — изморозь. Сумрак, стынь.

— Пока ты, Кари, достигнешь глубин науки, длинный нос свой отморозишь! Клянусь!

Темеш бухает сапожищами, отделанными изнутри войлоком, шуршит заскорузлым овчинным кожушком, подпоясанным сыромятным ремнем, щупает чуть-чуть теплую печь-голландку.

Я дышу в варежку и тру ею нос. Темешу, конечно, опасаться нечего: на плоском, мясистом, с оспинками лице нос его кажется незаметным бугорком на широкой равнине.

Пока я добирался до школы, одолевая сугроб за сугробом и бочком-бочком пробивая упругость низового колючего ветра, я вроде малость согрелся, но, едва войдя в класс, мгновенно продрог до костей.

— Ойпырмай, закоченеем. Околеем,— ворчит Темеш, туже стягивая завязки старого треуха.— Хоть бы интернатовцы скорее пришли. Затеял бы потасовку, согрелся бы...

Но интернатовцы запаздывают. То ли не решаются покинуть до звонка теплые комнаты-спальни, то ли слоняются в столовой в ожидании, когда повариха разогреет кашу из концентратов.

Зимой аул просыпается поздно, даже собаки не брешут. А школа понемногу оживает, наполняется шорохами, хриплым, натужным кашлем, гулким говором; по длинному коридору в предрассветных сумерках снуют-маячат призраки; уродливые тени тычутся по углам; с вязанкой промерзших чурок пробирается в учительскую Симон-шал.

Я, надсаживаясь, двигаю громадную черную доску ближе к партам. Три парты — два класса. Первая слева — второй класс, первая справа — четвертый. Половина третьей парты позади — второй класс; другая половина — четвертый. Просто и строго симметрично. Однако симметрия, к огорчению нашей учительницы, часто нарушается: из шести грамотеев один-другой почти всегда в отлучке.

Сквозь монотонный, докучливый вой ветра доносится топот, в коридор врывается ватага интернатовцев, хриплый фальцет однорукого Абикея проклевывает стылую тишину, и тут же дзинькает, захлебываясь, медный школьный колокольчик в руках Симона-шала.

Неслышно входит в класс Рабига. Даже в длинном толстом пальто, валенках и серой пуховой шали она кажется хрупкой и очень миловидной.

— Что... только двое?!

Рабига старается быть строгой, но это ей редко удается.

Вот и сейчас она удивленно вскинула брови и добродушно, по-детски улыбнулась. Голос учительницы нежный, тихий. Изо рта ее клубится прозрачное облачко пара.

— Да, мугалим, двое нас, не испугавшихся свирепого бурана,— ломким басом подтверждает Темеш.

Учительница присаживается на краешек стула, открывает журнал — довоенную конторскую книгу, достает из кармана ручку с пером «муравьиная талия». Темеш, ухмыляясь, услужливо ставит на стол фарфоровую, с красным ободком, чернильницу.

— Оу, что за чернила? Не пишут...

— Из сажи чернила. Может, застыли?..

Темеш начинает трясти непроливайку, а я спешно достаю из своей холщовой сумки пузырек с густо разведенной марганцовкой. Во всей школе только я пишу такими чернилами. Чернила из сажи больно мажут да и портятся: «скисают» быстро. А марганцовкой писать хорошо, только буквы скоро блекнут и выцветают. Но это даже удобно: через неделю на том же клочке опять писать можно. Тетрадей ведь нет, и мы пишем на полях старых книг, разрезанных для удобства пополам.

Увы, и марганцовка в пузырьке успела превратиться в темно-багровое крошево.

— Ту-у...— огорчается Рабига.— Не могли догадаться в печку поставить.

Она берет кусок известки, подходит к доске, проводит посередине черту и пишет слева — «Казак тілі», справа — «Арифметика».

— Тяжелый случай,— вздыхает Темеш.

С арифметикой старейшина начальной школы упорно не в ладах. За семь лет учебы он кое-как дотянул до четвертого класса, но при этом ничуть не унывает. Учится Темеш урывками, обычно с поздней осени до ранней весны, а в остальное время пасет аульный скот. Заветная его мечта — одолеть до женитьбы семь классов и стать секретарем аулсовета. И хотя на редких вечеринках долговязый Темеш и норовит подсесть поближе к черноглазым, тонкобровым молодкам, а те сами не прочь заигрывать с ним, до женитьбы, однако, еще не скоро, и потому не торопится будущий секретарь аульного совета вызубрить до конца таблицу умножения. Второй год тщетно пытается Темеш покорить самый тернистый перевал на пути к железной цели — проценты и десятичные дроби. Темеш мыслит крупно: одна скирда сена, одно стадо коров, один воз сухо-

стоя. И я думаю, сам Очкастый Ганс, первый математик во всей окрестности, не в силах втолковать ему, что на свете помимо целых чисел бывают еще и половинки, и четвертинки и даже какие-то сотые доли.

Темеша в ауле любят за покладистость и услужливость. Кто починит плетень? Темеш. Кто нарубит вязанку сухого тала или ловко растуганит самовар? Темеш. Кто на тоях обслужит почтенных старцев? Темеш. Кто поведет мальцов за диким луком? Кто возглавит поход за колосьями на поле? Кто изловит строптивого коня-неука? Темеш, Темеш, Темеш.

Но этим не исчерпываются достоинства Темеша. Там, где нужно петь, голос его звучит громче всех. В степи, на воле, постоянно покрикивая на безответных коров, он так развил свою глотку, что, если гаркнет на одном конце аула, на другом — буренки прижимают уши и переходят на трусцу.

Темеш выразительно толкает меня в бок. Дескать, будь начеку, подскажи ответы. Так всегда: я решаю в уме примеры для Темеша, а он, вытянув длинные ноги, в это время пристально разглядывает учительницу.

Рабига лишь год назад окончила школу, и Темешу забавно называть ее почтительно «мугалим», а не просто по имени. Он смотрит на нее в упор, долго-долго, звучно щелкает языком, тайно радуясь ее смущению. Иногда, забывая, что я занят сложными вычислениями для него, он толкает меня в бок и восторженно шепчет: «Глянь, как у ней ресницы вздрагивают! А щеки, щеки-то горят! Ойпырмай, как блестят волосы! Жиром, что ли, смазала?..» Мне неловко от этих слов, и я стараюсь не смотреть на учительницу, но, бывает, Рабига, заметив мое смущение, сама вдруг вспыхивает, хмурит брови и обрушивает свой робкий гнев на Темеша.

— Тажибаев, выходи из класса!

— Почему, мугалим?

— Выходи из класса, говорю!

— В чем я провинился, мугалим?

— Я сказала: выходи!

— Больше не буду, мугалим...

Мы замираем от страха. У Рабиги блестят глаза, прыгают губы. Того и гляди расплачется. Тогда Темеш, неуклюжий, длинный, великодушно встает из-за парты и, всем своим видом выказывая недоумение, плетется к двери...

У меня с арифметикой все хорошо. Не пугают и десятичные дроби. Что для меня школьные примеры и задачки, если я полтора года изо дня в день занимался с папой по его конспектам, которые он писал на рабфаке и в военно-фельдшерской школе!

А вот на уроке казахского языка случаются разные казусы. Меня возмущает обилие гласных, я их зачастую путаю, и потому многие слова, значение которых я давно усвоил, звучат в моем произношении почти одинаково. Рабига терпеливо учит меня правильному выговору, крутит мой жесткий немецкий язык, приспосабливая его к восточному благозвучию и гортанности. Ей доставляет удовольствие учить бледнолицего, длинноносого мальца, старающегося до слез, и она искренне радуется каждому моему успеху, и благодаря ей и помощи моих друзей-тамыров я чувствую, что вот-вот вполне прилично овладею этим совсем не простым языком и буду говорить легко и свободно, как все мои аульчане.

— Мугалим...— Темеш учтиво тянет руку.— Может, лучше почитаем?.. Или проведем урок пения? А то чернила застыли и ребята еще не все пришли...

Рабига раздумывает. Верно: какое сейчас письмо? А горланить песни чуть свет в эдакую стужу!

— Ладно... Поставьте чернильницы в печку с краешка, на золу.

Хотя мы и называемся параллельными классами, уроки наши часто и поневоле сливаются, и, бывает, не сразу даже сообразишь, кто из нас в каком классе сейчас занимается. Если второй класс хором декламирует стихи, четвертый охотно и громко вторит. Когда Рабига рассказывает про хана Жармака[1], завоевавшего Сибирь, или про чудеса в жарких странах, жадно слушаем все. Вообще я заметил, что заниматься не тем, чем положено, всегда интересней. Когда я поделился своим открытием с папой, он, улыбаясь, сказал, что, пожалуй, это так, но иногда нужно заставить себя делать то, что совсем не хочется в это время, и тогда вырастешь сильным и волевым. Может быть... Только это очень непросто.

— Значит, урок чтения. Слушайте внимательно: «Ак киімді, денелі, ан сакалды...»[2]

---

[1] Имеется в виду Ермак Тимофеевич, начавший освоение Сибири Русским государством — походом около 1581 года.

[2] Строчка из стихотворения Абая «Зима». Буквально: «В белой одежде, крупнотелый, белобородый...»

Тонким, чистым голосом нараспев читает Рабига, четко, врастяжку произносит каждое слово, чтобы я вник в смысл абаевских стихов. Я слушаю напряженно и вижу, как тяжелой поступью, поскрипывая снегом, подкрадывается хмурый, белобородый, с головы до ног инеем покрытый, стужей дышащий старый Сват-Мороз, и невольно съеживаюсь, поплотнее прижимаюсь к задубенелому кожушку моего великовозрастного соседа. Темеш шевелит губами, вслед за учительницей повторяет слова, а мое внимание вдруг спотыкается на непонятном «алты канат ак орда», и я силюсь представить эту загадочную белую «орду» с шестью крыльями и уже не могу сосредоточиться, и до слуха моего доходят только рифмующиеся слоги — «алды-малды-шалды». Рядом с «ордой» стоит «уй» — дом, но это еще больше сбивает меня с толку, потому что я никак не могу себе представить дом с шестью крыльями. Таких домов в нашем ауле нет. Я вспоминаю трехэтажный дом в Энгельсе, в летной школе, где еще до войны работал папа. Может, белый шестикрылый дом — «орда» — не что иное, как шестиэтажное здание?..

— Все понятно?

— Поняли,— неуверенно басит Темеш.

— Как Абай изображает зиму?

— Хорошо изображает.

— Как хорошо?

— Ну, очень хорошо... Правильно, значит. Он же великий акын. Умеет описывать.

Учительницу ответ Темеша почему-то не удовлетворяет, и она подает нам свой учебник, чтобы мы еще раз прочитали стихотворение про себя. Но Темеш «про себя» читать не умеет, он должен непременно проговорить слово, и чем громче, тем лучше, иначе до него не доходит, или, как он сам говорит, «слово не проникает в казанок». Многие слова к тому же Темеш читает по слогам. Когда он начал учиться, в ходу был еще латинский шрифт, и Темеш до сих пор чувствует себя на распутье: от латинского шрифта он еще не ушел, а до русского не дошел. Ученик четвертого класса водит указательным пальцем по третьей строчке, усиленно шевелит губами, а ученик второго класса с недоумением застревает на странной фразе: «алты канат ак орда». Нет, не может быть, чтобы в степи, да еще до революции, во времена Абая, стояло шестиэтажное здание. Это уж я знаю доподлинно...

— Читай, Гарри,— говорит Рабига.— Громко и выразительно.

Глотая слова, скрадывая опасные для меня гласные, невнятной скороговоркой проборматываю стихи, стремясь без запинки, на одном дыхании дойти, добежать скорее до конца.

— Уай! С ходу на галоп сорвался,— восхищается Темеш.

Рабига улыбается.

— Не стрекочи... Говори четко: «Дем алысы ускірік, аяз бен кар...»

— Дем алысы — ускирек...

— Ускірік,— поправляет Рабига.

— Ускерек...

— Нет, нет... Вот, слушай: ус-кірік...— Мугалим вытягивает трубочкой свои пухлые губы, мягко выдыхает, выталкивая клубок пара:— Ускірік...

— Ускирик... ускири... ускірік...

— Во, во... молодец! Еще раз.

Наконец у меня получается как надо, и Темеш вопит:

— Ай, маладес, Кари! Настоящий казах...

Стук в двери. На пороге вырастают запорошенные, в толстой, нелепой одежде Сальтай и Ойрат. Точно ожил рисунок из учебника географии — «Дети эскимосов». Не хватает, пожалуй, только лохматых собачек в упряжке.

— Ия, что скажете, батыры?— насмешливо спрашивает Рабига.

Сальтай, переминаясь с ноги на ногу, развязывает тесемки лисьего малахая.

— Дом наш замело... дверь завалило... еле выбрался через крышу сарая... И пока дошел...

— А ты?

Ойрат хлопает заиндевевшими ресницами, натужно кашляет.

— Проспал, наверно?

Ойрат чешет затылок, опускает голову.

— Ладно... Отряхнитесь у печки. Гарри, читай дальше. Жуматаев, слушай! Играть на перемене будешь.

На большой перемене все ученики собираются у простенка, где рядом со стенной газетой «Оку майданы» директор вывесил сегодня свою изрядно потрепанную, всю исчерченную красными, синими, черными линиями и стрелками карту. Старшеклассники подолгу разглядывают ее, спорят, что-то друг другу доказывают.

— Смотри: совсем уже близко до нашей границы. Один-два ели[1] осталось.

— Хэ, сказанул! Один-два ели! А попробуй — отвоюй!

— Небось один твой ели — сотня километров будет.

— Глянь: впритык к Румынии подошли наши.

— А как прогоним фашистов, так и войне конец, да?

— Э, нет! В свое же логово их загоним! Так сказал лектор из района.

— Ойпырмай, тогда до Берлина еще далековато.

— Дойдем! Будь он хоть на краю земли.

— Тут написано: «Асы», «Акырман». Здесь что, казахи живут?

— Ой, дурень! Открой зенки пошире. Читай: «Яссы...» «Аккерман».

— Э, все равно! И в Акырмане будет немцам акырзаман![2]

Столпились ученики у карты, измятой, истерзанной, словно по ней самой прокатилась эта нескончаемая война.

— Что ни говорите, ребята, а до победы уже недалеко. Помяните мое слово.

— Э, мед тебе в уста!

— Так да и будет!

Кто-то шутит:

— А что? Сбываются ведь не слова провидца, а бред глупца.

— Не болтай!

Что там видят взрослые ребята на этой карте, мне неведомо. Я только знаю, что большой красный кружок посередине означает Москву, а черный кружок в левом углу — Берлин. К нему сверху и снизу нацелились, все более удлиняясь, острые красные стрелы. Когда они острием вонзятся в черный кружок — войне конец.

Мне нравится рисунок в нашей школьной газете. Огненная, крутогрудая пятерка, точно вздыбленный скакун, копьем пронзает долговязого, клыкастого фашиста. «Каждая пятерка — пуля в сердце врага»,— написано внизу. Если каждая из них и впрямь пуля, то на моем счету должно быть немало поверженных врагов.

Школа лишь к полудню обретает жилой дух. От печей вьется угарный дымок, пахнет сырыми дровами, овчинны-

---

[1] Ширина одного пальца *(каз.)*.

[2] Конец света *(каз.)*.

ми полушубками, войлоком, подтаявшим снегом. Наледь на окнах становится чуть влажной, но тускл зимний день, и по всей школе ни мрак, ни свет, так себе, мутная белесь.

— Стройся-а! — доносится со стороны учительской сверлящий темя фальцет военрука Абикея, заглушая последний звонок.

Из всех классов с грохотом выбегают ученики, становятся в строй вдоль стенки, и, когда под строгим взором Абикея все затихают в ожидании важных сообщений, из своего кабинета — крохотной угловой комнатки — выходит сам директор, в галифе, френче, сапогах, скошенным взглядом обегает шеренгу своих живописно разодетых воспитанников и, выдержав паузу, тихо говорит:

— Так вот, ребята... затянулись нынче холода. Почти месяц буранит. Но... ничего не должно быть помехой в учебе. У нас, ребята, тоже фронт. Фронт учебы. Быть дезертиром никто не имеет права. Надеюсь, все понимают, о чем я говорю...

Тихо в коридоре. В щелястую дверь воровски струится пар, подкрадывается к ногам, тянется к теплу. Ветер швыряет в окна пригоршни колючего снега. В сторонке стоят учителя — несколько женщин, три девушки, недавние выпускницы, да двое мужчин, Каляу и Абикей,— смотрят на заметно поредевшие за эту зиму — тяжкую буранную зиму тысяча девятьсот сорок четвертого года — ряды учеников, а они, ученики, не спускают глаз с директора, а директор, протирая затуманившиеся очки, продолжает:

— Аулу, ребята, нужна ваша помощь. Очень! Мы, ваши учителя и руководство колхоза, надеемся, что вы не станете возражать. Дело, в общем-то, привычное. Интернатовцы, старшие классы, конечно, в день по два часа будут работать на колхозной ферме. Еще одна группа ребят должна помочь семьям красноармейцев, старикам, больным. Снег разгребать, дрова рубить, скот поить. Другая группа отправится помогать Симону Иезекиилевичу пилить дрова для школы. Сами видите — мерзнем.

Директор ходит взад-вперед вдоль строя, прислушивается к робким голосам:

— Конечно, чего там...

— Какой разговор...

— Мы и так...

— Правильно!

— И еще... чтобы никто, ни один смельчак, не осмелился в такую погоду отправиться в аулы. Никуда! Заблудиться немудрено в двух шагах от дома. Это я говорю всем приезжим. Потерпите. Вечно зима длиться не может.

— Понятно!

— Кому охота сейчас в путь отправляться...

Выходит вперед Каляу:

— Какой праздник впереди, ребята?

— День Красной Армии!— откликается строй.

— Правильно! Участники художественной самодеятельности должны сегодня вечером собраться на репетицию.

Направляясь в учительскую, директор круто останавливается возле меня:

— Папа дома?

— Нет... в Алка-агаше.

— Приедет — напомни: у него сегодня лекция.

Я бегу домой. Не бегу — лечу, катаюсь, кувыркаюсь, подгоняемый свирепым ветром. Вверх-вниз, вниз-вверх, с сугроба на сугроб, со снежного вала на вал. Рядом вьется, змеится, обгоняя меня, поземка, и злой ветер улюлюкает, свищет. Замело, занесло снегом аул, и даже там, где возвышались стройные березовые колки, торчат теперь жалкие, искривленные сучья из-под наста, и кажется, навек покинуло солнце наш край, не в силах пробить, продырявить оно толщу облаков, развеять студеную серую мглу и вот-вот смешается небо и земля, и только позади, на пустыре, в плену причудливых сугробов, одиноко темнеет наша школа — живой очаг притихшего в степной круговерти аула.

XIV

Срок подоспел для радостных свершений...

Рудольф Жакмьен

И настал тот день!

Утром к завтраку вернулся папа с ночного дежурства в конторе, заметно взбудораженный, торжественный, повел подергал плечами, будто груз неимоверный сбрасывал, походил-покружился по комнате, потом взялся тормошить Эльму, шутя щелкнул твердым ногтем меня по темени, нетерпеливо-радостно взглядывал на маму. Откуда бы ни

возвращался папа, он обожает, когда его встречают всей семьей, увиваются вокруг него, подробно расспрашивают обо всем, что он видел, и сами рассказывают, что вообще, пока его не было дома, произошло.

Мерно тикал будильник на камине, менее часа оставалось до урока, и жареная картошка уже дымилась в сковородке на столе, и мама уже разлила по кружкам жидкий ячменный кофе, а папа все ходил из угла в угол, потирая руки, загадочно и с явной укоризной косился на нас, и я, все более обуреваемый смутным волнением, наконец не выдержал, спросил раньше мамы:

— Дежурство прошло хорошо?

Папа сразу просиял, вскинув кустистые белесые брови.

— Х-ха... «хорошо»! Не то слово, мальчик!

И опять искоса на маму устремил ликующий взгляд:

— Всё, Аня!.. Победа!..

— Что-о?— не сразу поняла мама.

— Только что из района сообщили. Конец войне!

Мама присела на табурет, затеребила передник. Большие черные глаза вспыхнули.

— Боже милостивый, наконец-то...

Тикал бездушный будильник, уже отсчитывал, не ведая о том, новое, мирное время, и стыли картошка в сковороде и кофе из поджаренного ячменя в алюминиевых кружках, а папа с мамой, точно онемев от великой радости, молчали, переглядывались, улыбались, и я, тоже еще не осознав вполне, что же такое произошло на свете, тихо, осторожно спросил:

— Что... совсем-совсем конец?.. Совсем победа?

— Совсем, совсем, Гарри! Беги. Сегодня занятий не будет. Сегодня праздник!

Я мигом выскочил, схватив ломоть черного хлеба.

Аул был похож на тщедушного сироту-ягненка, свернувшегося на лужайке, подставив тощий бочок теплым утренним лучам. На выпасе за домами тонконогие телята щипали едва зазеленевшую мураву. Старик Абильмажин седлал гнедуху, собираясь, должно быть, проверить капкан в овраге. Вдоль огорода семенил, накинув на плечи чапан, дедушка Сергали. Под предводительством Абикея интернатовцы строем направлялись в столовую.

А далеко, в низине, таяли остатки утреннего тумана.

Во весь дух понесся я к Ойрату, добежал, рванул дверь.

— Эй, ты что, не знаешь? Война ведь кончилась!

— Как это?

— А вот так! Кончилась! И мы победили!

— Честно?

— Оллахи-беллахи!

Магрипа-апа, сидя на корточках, толкла в ступе пшено.

— Кто тебе сказал, жаным?

— Коке мой сказал. Он в конторе дежурил. Ему из района сообщили.

— Айналайн... Да сбудутся все твои желания...— Апа вдруг выронила пест, начала концом жаулыка вытирать набегавшие без удержу слезы.— Дожили и до этого дня... Только... только твой коке, Ойратжан, не... не...

Она не договорила; всхлипывая, пошарила в закутке за плитой, вытащила мешочек, сунула нам в руки по горсти твердого, бурого курта.

— Вот вам, детки, суюнши![1] И бегите, обрадуйте всех. Да будет благословен этот день!

И побежали мы от дома к дому, размахивая руками, обгоняя друг друга, и, не жалея глоток, кричали:

— Ата! Война кончилась! Мы победили! Суюнши!

— Апа! Конец войне! Суюнши!

— Аже! Победа!!! Суюнши!!!

И аульчане плакали, ликовали, обнимали и ласкали нас, благословляли и одаривали, кто чем мог, и мы — счастливые гонцы, гордые вестники мира — ощущали себя причастными к чему-то непостижимо прекрасному и доброму.

К обеду весь аул — от дряхлых старцев до несмышленой малышни — собрался на зеленом лугу возле школы. Радужное слово «ПОБЕДА» уже успело обрасти подробностями, и каждый стремился придать ему еще какой-нибудь красочный оттенок.

— Ойпырмай, говорят, в пыль разнесли фашистов.

— На большую контору, в которой трусливый Китлер спрятался, красный флаг водрузили.

— Наш Шаймурат небось по улицам Берлина теперь гуляет.

— Под ручку с какой-нибудь голубоглазой...

— Еще говорят, один из главарей на Коране клятву давал: никогда, дескать, с орысами воевать не буду.

— Куда им?!..

— Стро-о-ой-ся-а!— надрывался Абикей.

---

[1] Подарок за сообщение радостной вести *(каз.)*.

Неугомонный военрук, воспитатель интернатовцев, младший лейтенант Красной Армии, уже осенью сорок первого вернувшийся в аул без правой руки, в День Победы повел праздничную колонну по аулу.

— Дружней! Собранней! Четче!— командовал Абикей, бегая вдоль колонны.— Шаго-ом... арш!

Всех Абикей выстроил в ряд, всех от мала до велика, не обращая внимания на шутки и смущения аульчан, отродясь не ходивших вот так, вместе, гурьбой, в какой-то колонне, средь бела дня вокруг аула.

Интернатовцы с флагом, с портретами вождей, дружно, в лад затопали, не щадя недавно выданных парусиновых ботинок-колодок, за ними потянулись остальные школьники, и замыкали строй взрослые, кроме нескольких стариков и старух, оставшихся сидеть полукругом на зеленой лужайке.

Шла праздничная колонна по аулу. Шла в честь Великой Победы. И радость светилась на изможденных лицах. И, озираясь на строгого Абикея, молодка Зайра затеяла неуместный разговор:

— Оу, все говорят: «Симон-шал», «Симон-шал», а он никакой не старик, а джигит...

— Ишь ты!.. Джигитов высматриваешь, а?!

— Да нет, ойбай!— зарделась Зайра.— Я просто говорю, что молодой...

Симона-шала и впрямь было не узнать. Он сбрил свою кудлатую иссиня-черную бороду, вырядился в серый пиджак и широченные брюки; высокий, сутуловатый, горбоносый, как-то вмиг помолодевший. Поблескивая круглыми печальными глазами из-под очков, он что-то говорил на мудреном Hochdeutsch маме, все норовил приласкать, прижать к себе строгую Эльму. Папа шагал, вскинув голову, глядя вдаль, видно, вспоминал торжественные парады в летной военной школе во время праздников еще до войны.

— Духовой оркестр бы сейчас!— сказал он вдруг.

— И Эрнст Буш с Песней единого фронта,— подхватил Симон-шал.— Марш, левой! Раз-два!

— О да! Сейчас эта песня была бы кстати.

Эрнст Буш приезжал перед войной в Энгельс, и мама видела и слышала его и вспоминала его красную рубашку, энергичные жесты, зычный голос и его раскатистое, будоражащее «р-р». Призывную песню об едином фронте я слышал потом не раз, и на всю жизнь врезались мне в

сердце гордые, непреклонные слова: «И потому что человек — Человек!»

— Песню, товарищи! Песню-у!— взвился пронзительный голос Абикея.

Колонна затихла. Неровные шаги тонули в тугом ворсе весенней травы.

— Ойпырмай, как же это петь-то будем на ходу?!— удивился кто-то.— Где это видано?!

— С Абикеем еще не то увидишь!

Впереди один из интернатовцев начал:

Если завтра война, если завтра в поход...

— Тайт, негодник!— прицыкнули на него тут же.— Чтоб язык твой отсох! Глянь-ка, храбрец какой! На заду прореха, а он в поход собрался. Другую давай!

Никто не мог вспомнить маршевой песни, и тогда Темеш завел недавно дошедшую до аула скорбную, трагическую «Жас казак». Кто-то неуверенно подтянул, но и эту песню оборвали с первых же строк.

— Эй, заткнись! Не рви душу! Сегодня радоваться надо — не скорбеть.

Над колонной взмыл озорной голос мугалима Каляу:

— Дегенде Балкадиша, Балкадиша.

И все встрепенулись, радостно, ликующе, в такт шага подхватили:

А-ха-ха-ха, Балкадиша-ай!
А-ха-ха-ха, Балкадиша-ай!

Кто бы мог подумать, что лукавая, шальная песня о Балкадише, мужу которой восемьдесят пять лет, прозвучит когда-нибудь маршевой песней в честь Победы?!

Тот день настал!

Шла колонна по аулу, и впервые видели здесь такое многолюдное шествие, и торжественно-взволнован был однорукий военрук Абикей, он остановил своих земляков и учеников-воспитанников из окрестных аулов у околицы, на полянке вблизи Ишима, там, где издревле шумел березовый колок.

— Люди!— сказал он вдруг.— Обнажите головы. Минутой молчания помянем родных и близких, жизни отдавших ради этого дня.

И прокатился вздох по толпе, живая боль пронзила души.

Теперь здесь уже не шумели березы, на месте леса торчали неровные пни — горькое напоминание о тех

деревьях, срубленных и спиленных неумелыми вдовами и детскими руками буранной зимою военного лихолетья.

Молчали долго. Потом подъехал баскарма и объявил:

— Всех прошу собраться у крутояра возле Есиля. Там продолжим той по нашему обычаю.

И стар и млад, радостно гомоня, вразброд потянулись к берегу Ишима, где уже дымился казан на продолговатой земляной печке и пестрели на нетронутой траве разостланные домотканые паласы.

И настал тот день. Пришел желанный, долгожданный. Добрым вестником проскакал, промчался по верховью и низовью. Не миновала весть великая и наш аул, затерявшийся в березовых перелесках на берегу бурливого Ишима.

...Ночью я долго не мог уснуть. В окошко, в мой тесный закуток, отгороженный от кухни, глядел месяц, похожий на краюху лепешки. Небо вызвездилось и казалось теперь огромным шатром из жеребячьей шкуры, проткнутой во многих местах, и сквозь эти щели, точно из какого-то другого загадочного мира, просачивался таинственный свет.

Молочная полоса тянулась от окошка через огород по лугу, в лесок, в овраг, где кончалась и бесконечно продолжалась земля. Причудливые блики играли, зыбились на этой дорожке, и мне смутно мерещилось, что устремилась она к новому дню, к неизвестной дали, к новой неведомой жизни, беспечальной, счастливой, д р у г о й, и, засыпая, я и не подозревал, не догадывался, что с этим днем, самым памятным, моего детства, собственно, и кончилось то, что мы называем этим словом и по чему, став взрослыми, начинаем потом тосковать... Да, да... кончилось детство,— и завтра, конечно, наступит новый день, откроются новые дали, но то, что будет завтра,— уже другая страница повести, именуемой жизнью.

1974—1976

ЗАВТРА БУДЕТ СОЛНЦЕ

Вере Леонтьевне Никифоровой

1

Все вокруг зыбилось-дрожало, как в тумане. О чем-то будничном переговаривались женщины в белом, перекладывая тебя с кровати на каталку. Потом повезли ногами вперед, и уже в коридоре одна, спохватившись, резко развернула каталку, заметив: «Нехороший признак». Мелькали по сторонам странно застывшие лица. Запомнился жалостливый, долгий взгляд лифтерши. Потом снова переложили с каталки на жесткий и узкий стол, такой узкий, что левая рука твоя соскользнула, и лишь последним усилием воли удалось прижать ее к туловищу.

«Он уже спит?» — донеслось будто из другого помещения.

«Не совсем»,— отозвался кто-то.

У потолка нестерпимо сияло множество ламп, и в сознании мелькнуло: «Зачем так много?»

И мрак сомкнулся над головой.

«Пульс... сто двадцать... двадцать... дцать...»

«Дышите... Дышите... Дышите...»

«Очнитесь... Очнитесь... Очни...»

Зачем? Зачем дышать? Ведь и так хорошо. Блаженно и покойно. Плыть-скользить бы вот так из мрака к свету, из ночи в день долго-долго-долго...

«Дышите... Дышите...»

Вот оно, вот оно... воскресение. Возвращение к жизни.

Дрожит, подныривая под мелкие круги волн, камышиный поплавок, норовит уйти, ускользнуть вбок, ближе к берегу, к густым зарослям кувшинок, под тень склонившейся над сонной заводью ивы, и вот на мгновение юркий поплавок встал торчком, вздрогнул и круто ушел под тем-

ную воду, и вмиг натянулась леска, изогнулось удилище, дрожит от напряжения, от нетерпеливого предчувствия желанной удачи. Неземная тяжесть вырывает уду из слабеющих рук, леска натягивается до звона, резко уходит в сторону, все дальше, дальше, и необоримая дрожь колотит все яростней, все безнадежней, и хочется закричать от страха, но нет ни сил, ни голоса...

И узкая полузаглохшая тропа извивается посреди тихого хлебного поля, ныряет в сумрачные балки, карабкается на бурые склоны холмов, и по этой тропе бежит вприпрыжку тщедушный до невесомости мальчишка, размахивает ручонками, кричит безголосо, радуясь встрече с самым родным человеком, кратковременной и последней встрече с человеком, ожидающим его почему-то на бугре возле прозрачной чаши котлована, и бежит мальчонка долго-долго, и уже покидают его силы, но он упрямо сучит-перебирает ножками, и нет конца и края хлебному полю, и бесконечно тянется, змеясь, тропинка, и, когда измученный бегун готов уже рухнуть бездыханно на упругую, теплую землю, перед взором его открываются застывший на бугре скорбный камень-стояк и развороченный котлован у его подножия, вычерпанный до дна, до последней капельки...

И в старой, заброшенной кузне, пропахшей землей, ржавым железом и гарью, стоят за наковальней друг против друга две изможденные тени и завис над одной из них огромный молот, а перед другой замерли в воздухе щипцы и молоточек, и стоят эти тени неподвижно, словно мумии, и не колышется огонь горна, не ухают, вздыхая, мехи, и все вокруг укутано мертвенным чадом...

«Очнитесь... Очнитесь же...»

«Дышите... дышите...»

Снова холодное, грубое прикосновение чьих-то пальцев к щекам.

И вдруг сознание пронзает отчетливое, яркое, радостное:

— Операция кончилась!..

2

Потянулось-потекло время между сном и явью, в полубреду, в угаре, причудливо отражаясь в зеркале памяти. День, ночь, вечер, утро, вчера, сегодня — все перемеша-

лось, в осколках памяти вспыхивали осколки жизни, как в калейдоскопе, и эти обрывочные видения вновь и вновь возвращались, точно наваждение, к началу своему, к истокам, хотя какое может быть начало, если жизнь бесконечна: и у времени нет примет, это просто ты плывешь во времени, проплываешь мимо, между сном и явью, отдаляясь от безначального и приближаясь к бесконечному...

Мазанка из двух закутков, покрытая дерном, прилепилась к заброшенной колхозной кузне на краю аула. Над леском кружились, надрываясь, вороны. На крыше деревянного зернохранилища жутко мяукали коты. В сером тумане плавал-зыбился тугай. Была весна.

За наспех сколоченным столом сгрудилась семья в полном сборе.

Не в полном: не было старшего — твоего отца.

Дядя положил на стол натруженные, черные от угля и металла руки и по обыкновению втянул тоненькую, как у подростка, шею в узкие плечи.

— Говори, швегерин...[1]

— Говори ты,— тотчас отозвалась мама.— Ты старший из мужчин, Иоханнес.

Он медлителен, обстоятелен, твой дядя, говорит врастяжку, басовито, подражая старшему брату — твоему отцу.

— Надо жить, киндер...— Иоханнес смутился своего покровительственного тона. Так, бывало, в торжественные минуты, открывая семейный совет, говорил Эрнст, твой отец,— киндер.— Будем жить. Нас много — устоим. С баскармой обо всем покалякали. Мне с Антоном работы хватит в кузнице. Швегерин пойдет на ферму. Эмма — уборщицей в аулсовет, Мария — поваром в интернат. Милуше доверим домашние дела. А Арвиг...— Дядя посмотрел на семилетнего племянника.— Арвиг будет помогать всем и во всем.

И начали жить, смиряясь с нехватками, борясь с нуждой,— многолюдная семья с Волги, обретшая в лихолетье приют в захолустном казахском ауле. И, как повсюду и у всех, жила в душе желанная, неистребимая надежда: вот кончится война, и тогда...

Рано утром, когда солнце только показывалось из-за

---

[1] Жена брата; почтительное обращение младших к жене старшего родственника *(нем.)*.

косогора, над колхозной кузницей взмывал четкий перезвон двух молотков: бум-дзинь-дзинь, бум-дзинь-дзинь. За Ишимом бодро откликалось-раскатывалось эхо. «Утренний намаз братьев Карлсонов»,— шутили в ауле. У Ивана золотые руки, и нет такого ремесла, в котором бы он не разбирался. Руки его делали все, что видели глаза. Антон — совсем другой: порывистый, увлекающийся. Он все делает весело, с выдумкой. Идей у него — еще старший, Эрнст, говорил — больше, чем денег. И не мудрено, если их, денег, вообще нет. Кузнечное дело Антон знает не хуже Ивана, но ему часто мешает буйная фантазия, его заносит, ему всегда хочется делать как-то не так, по-другому, по-особому. Антон и внешне не похож на брата: рослей, шире в костях, темноволос, шумлив. Минуты спокойно не усидит на месте. Молотобоец, помощник он незаменимый: без слов угадывает каждое движение, каждое желание брата, точно и вовремя подает нужный инструмент, ловко орудует пудовым молотом, раздувает горн и постоянно веселит всех, поет, насвистывает, небылицы-байки рассказывает.

У старших сестер своя жизнь: они то ссорятся между собой, то обнимаются, плача и смеясь одновременно, то шепчутся за перегородкой, и мама говорит, что им пора замуж. «Замуж... замуж...» — обиженно поджимают губы Эмма и Мария.— За кого? За кривоногого Ишанкабула? За одноглазого Казия? За коротышку Абу? Ха-ха!..»

У тоненькой, русокосой Милуши свои обязанности: на ее попечении находится коза Манька и домашнее хозяйство, которое она ведет незаметно и деловито.

Особняком держится сероглазый, не по годам серьезный мальчонка. Антон смастерил ему ларец, и в нем племянник хранит свое сокровище: пять-шесть потрепанных книжек, коробку цветных карандашей, тетрадь с цифровыми нотами, клочки бумаги для рисования. Читать мальчик научился рано, и зимой, когда не в чем выходить на улицу, часами стоит на коленях у сундука и рисует, читает, переписывает печатными буквами целые страницы из книжек на обрывках старых газет. Летом подолгу наблюдает за возней муравьев в муравейнике, собирает разных жучков, бабочек, букашек; взбираясь на крышу, любуется вечерней зарей. А то задумчиво сидит в углу кузницы и смотрит, как работают дядья.

— Нет, брат,— говорит Антон.— Кузнецом тебе не стать. Это мне ясно.

— Учиться ему надо,— отвечает каждый раз Иоханнес.

— Где?.. В казахской школе?!

...Бум-дзинь-дзинь! Бум-дзинь-дзинь! — ширится-плывет над аулом извечная песня, и отзывается она эхом в закоулках твоего сознания, напоминая о том, что ты еще пребываешь во времени, у которого нет начала и конца.

«Все спит?— спрашивает кто-то, будто с другой планеты.— Пульс? Температура?»

«В пределах нормы...»

Бу-бу-бу-бу... дзинь... дзинь...

В летние вечера к новым жильцам заглядывал иногда аульный фельдшер. Приходил он со своей скрипкой, и, пока братья — Иоханнес и Антон — отмывали в горячей воде руки, Давид Павлович настраивал инструменты — гитару, мандолину, балалайку и тщательно канифолил смычок.

Играли азартно. Иоханнес аккомпанировал на балалайке, старательно отстукивал такт ногой. Антон выдавал сочные аккорды на гитаре, лихо перебирал струны, сыпал перебором и при этом, потряхивая смоляным чубом, поблескивая глазами, время от времени задорно выкрикивал: «Ю-хей, тра-ра, хоп-са-са, доннерветтер!» Фельдшер, подергивая белесыми бровями, выделывал на скрипке такие пассажи, что, казалось, из-под его пальцев сыпались искры, будоражившие кровь. Арвиг, уставясь в нотную запись, усердно солировал на мандолине. Изредка тихо подпевала мама. На лужайке перед кузницей кружились в танце сестры. Милуша пыталась обучить председателева сынка двигаться в фокстроте.

Аульчане, усевшись на траве вокруг музыкантов, слушали, удивлялись, языками цокали.

— Э, барекельде!

— Пале! Маладес кузнес!

— Эй, першил, оставь свои вальсы-мальсы! Давай «Камажай»!

— «Паровоз» давай! «Турксиб»!

— Арбек, играй по-казахски!

— Ым-ба-па! Ым-ба-па! Тюри-тюри!..

Удивительно красивы и долги летние вечера после захода солнца в том краю, где течет степная река Ишим...

...Ишим... Есиль...

«Что-о? Все спит?! Температура? Пульс? Дыхание?.. Отключите кислород...»

Ты улыбаешься. Время обретает реальные очертания. У него есть запахи, вкус, звуки и смысл.

Ишим... Есиль... Скромная, тихая река в густых зарослях тальника, окруженная многочисленными глубокими старицами и бочагами, зарастающими к лету ряской и лилиями. Сколько часов и дней ты просидел в то благословенное время на ее берегу, под черным талом, с удочкой в руках... Сколько дум передумано на берегу Ишима тихими летними днями! Сколько истин открылось тебе здесь, на берегу Ишима, истин, давным-давно известных, открытых, но открываемых каждый раз заново.

И такая тебе тогда открылась истина, что у каждого человека помимо большой Родины непременно должна быть родина «малая», свой родной край, свой заветный уголочек на земле, свое поле, свой лесок, свое укромное местечко на берегу тихой речки, свой — на худой конец — любимый кустик возле дома. Каждый, кто вольно или невольно скитается или вынужден скитаться по земле, оставляет незаметно то здесь, то там частицу своей души, понемногу растрачивает себя и превращается в перекати-поле, гонимое ветром. Несчастен тот, кто не помнит своего родного места, своей земли, но трижды несчастен тот, кого не помнит уже сама земля, ибо она, земля, как твоя родная мать,— последняя твоя вера, последняя твоя надежда в жизни, и если уж она предаст тебя забвению, то ты уже и не человек вовсе, а тлен, прах...

Да, тлен, прах...

Увы, нет на свете ничего постоянного. Как-то неожиданно распалась большая семья Карлсонов. Мария нашла жениха в русском селе за Ишимом, за ней потянулась и Эмма, надеясь устроить свою девичью судьбу. А вскоре забрали в трудовую армию и неунывающего Антона, и пригорюнился, приутих плоскокрыший домик на краю аула, прилепившийся к старой кузне...

«Который день в реанимации?»

«Пять дней».

«Хорошо... Завтра переведите в палату».

Вон как!.. Время между сном и явью, в полубреду, в угаре имеет, оказывается, название: ре-а-ни-ма-ци-я.

3

Тихий час взрывается внезапно. Горемыки, населяющие огромное здание на окраине города, в эти минуты напоминают возбужденных болельщиков любимой команды, с трудом удерживающей минимальный победный счет за несколько мгновений до финального свистка. Вот уже и трибуны всколыхнулись в едином порыве, и все судорожно машут руками, в глазах лихорадочный блеск, и рты распахнуты, чтобы извергнуть громогласный торжествующий вопль, разом поглощающий все недавние тревоги, сомнения и страхи.

Куцый отрезок времени после тихого часа имеет свою особую окраску. И даже свой запах — запах надежды и воли.

Напуганная неуемной жаждой жизни и движения, боль трусливо уползает, забивается в неведомые щели и закоулки, чтобы потом, в свой час, вместе с вечерней тенью выползти снова. Но все это будет потом — и изнуряюще долгая, как вечность, ночь, и подтачивающие волю думы, и тихая мольба, и зубовный скрежет, и одиночество, пронзенное умиротворяющим уколом сердобольной дежурной сестры. А сейчас стрелка часов неумолимо подкрадывается к цифре «пять», и палаты вдоль длинного коридора уже не в силах вынести тягостную тишину.

Конец тихого часа — вершина дня. Вспышка хмельного, болезненно бесшабашного возбуждения. Большеголовый, гривастый туркестанец из самой большой и шумной палаты, в которой нет ни единого «ходячего», начинает настраивать томную гитару и петь непостижимо звучным для его хилого, изнуренного тела голосом задушевные романсы собственного сочинения. Нет более неспокойного больного во всем отделении, чем Шукур. Он давно стал живой достопримечательностью этого учреждения, и любят его и больные, и врачи за неукротимый дух и оптимизм, за терпение и темперамент. С самого раннего детства Шукур не в ладах с судьбой, чем-то он ей не угодил, и она, должно быть, за непокорность и строптивость, преследует его по пятам, испытывая на прочность и насылая ему на голову беду за бедой. Какими только болезнями не переболел упрямый туркестанец, в каких только больницах не перебывал, каких только операций не перенес! Парализованный, полуослепший, весь изъеденный туберкулезом, он наперекор всем напастям умудрился окончить музыкаль-

ное училище, овладеть премудростями композиции и сочинить десятки песен, исполняемых на эстраде и по радио.

Шукур бросил вызов судьбе, но не клянет ее. И совершенно не жалует тех, кто часами мусолит свои несчастья и изо дня в день оплакивает свою неудавшуюся жизнь. Его кредо: несчастный человек — жалкий человек, или просто глупец. Не выносит Шукур также, когда назойливо расспрашивают про здоровье. Он убежден: здоровье либо есть, либо нет. Если оно есть — о нем не говорят, если же нет — то и говорить о нем нет смысла.

Вечернее пение Шукура — нечто вроде ритуала. Или как сигнал к штурму, который все ждут с нетерпением после недолгой передышки.

Внизу, к подъезду, с шумом подкатила директорская машина. Дробно простучали по коридору каблучки вечно озабоченной Елены Васильевны, заведующей отделением. В приоткрытой двери палаты промелькнули развевающиеся полы халата стремительного Павла Петровича, обожаемого всеми хирурга. Побежал с разводным ключом: видно, в ординаторской опять капает труба, а сантехника, как всегда, нет на месте. Весь медицинский персонал души не чает в Павле Петровиче. Ведущий хирург, он при необходимости становится санитаром, электриком, сантехником и бог знает кем еще. Сейчас он, оставшись после работы, непременно починит злосчастную трубу в ординаторской, а потом спустится в мастерскую, где уже несколько лет конструирует какой-то механостол для разработки нижних конечностей несчастных спондилитиков, который они же окрестили эшафотом.

В стойкий дух йодоформа, камфоры, спирта и мокрого гипса просачиваются запахи уличного воздуха, прелой приморожеиной листвы, влажного ветра, тонких духов. Значит, заступила ночная смена — отдохнувшие от больничной суеты, оживленные, общительные медсестры и няни. Спешно собираются домой врачи, обещая тем самым некую вольность в строгом, четко регламентированном больничном распорядке.

Это пора межвременья. Смутное ощущение каких-то перемен витает в палатах. Кого-то повезут на каталке в коридор, в холл на свидание. Сколько разговоров, завистливых взглядов, новых впечатлений обрушится на счастливчика! Кого-то навестят родные и друзья, будут висеть на перилах балконов, заглядывать в окна, выкладывать ворох новостей. Начнет шнырять по этажам разносчица

передач, выкрикивая давно уже запомнившиеся всем фамилии. Здесь лежат подолгу, иногда по году, а то и больше, и потому каждый о каждом знает почти все. В больницах, так уже повелось, люди раскрываются быстрее, чем в поездах.

По всем каналам надрываются телевизоры. До ужина еще больше часа. Вечерние необременительные процедуры еще впереди. Сестры благодушны, на вольность больных смотрят сквозь пальцы. Няни добры. Из палат, сталкиваясь, перехлестываясь, несутся клочья музыки, обрывки фраз, из коридора — шаркающие шаги, скрип каталки, бульканье воды в стерилизаторах, позвякивание инструментов на столе дежурной сестры. В глазах каждого светится радость: еще один день на исходе. Каждый из обитателей этого учреждения приближается еще на один день, еще на один шаг к желанной свободе.

Тесно голосу Шукура даже в просторной — на шесть-семь человек — палате. Он отложил гитару и теперь яростно хлещет всей пятерней по струнам домбры, и глухой рокот все стремительней льется из-под легких сухих пальцев, наполняя все уголки коридора, и сам певец точно взмывает на тугих крыльях искрометного толгау[1].

— В-во дает! В-во орет! — кривится толстый Шайко.— Дал же ему аллах глотку!

Шайко приводит в бешенство шальной темперамент певца. Он не может и не хочет понять, что кому-то здесь хорошо, или, тем более, весело, если ему, Шайко, плохо. А ему плохо. Все вокруг плохо, всегда плохо, прямо-таки скверно и паскудно. А этот лохматый пес из Туркестана черт бы его побрал, орет себе каждый божий день. Из могилы небось также будет горланить свое бесконечное «а-ляу-ляй», и нет ему дела до того, что Шайко плохо.

— «Э-э-э-а-а-ай»...— бабьим голосом передразнивает он певца.

Шукур не удостаивает его вниманием. Он во власти своего бурного речитатива, и сейчас ни Шайко, ни дежурный врач, ни телевизор не в состоянии ему помешать.

Шайко, оторвав голову от подушки, презрительно смотрит на тщедушного, едва видного из-под гипсовой повязки певца. «Господи, чего ты орешь, дурень?— думает он.— Приберег бы свои силенки. Ты же скоро сгниешь на этой вонючей кровати. Весь искалеченный-

[1] Песня-сказ *(каз.)*.

перекалеченный, живого места на тебе нет. А ты глотку дерешь. Все чего-то гоношишься. Дружки-приятели к тебе косяками прут. И когда только успел ими обзавестись, если всю жизнь из больницы в больницу кочуешь? И чему радуешься? Толком на свете не жил. Бабы небось не нюхал. В рот тебе дышло!..»

Шукур только ухмыляется, щурится и еще ожесточенней терзает послушную, захлебывающуюся от звуков домбру.

— Нытик ты, Шайко,— говорит Шукур, как бы подслушав мысли Шайко,— ипохондрик. Не кровь в твоих жилах течет — сыворотка. И мы с тобой никогда друг друга не поймем. Твоя болячка тебе свет затмила. Ты из-за нее на жизнь обозлился. А заодно и на всех на свете. Пока человек жив — он нужен. Он непобедим.

— Слова все это!— ворчит в ответ Шайко.— Лживые книжные слова! Умники придумали. Если уж судьба-планида повернулась к тебе задом, нечего хорохориться. Жизнь — что ядреная баба. Она любит здоровых, сильных, бесшабашных. Ее нужно схватить и тискать так, чтобы кости трещали. Тогда — житуха!

Шайко уронил тяжелую голову на подушку, уставился в потолок и завопил:

— Няня-а!.. С-судно-о!.. Сколько можно ждать?!

— Слышу, слышу, голубок! Потерпи,— прокатилось басом из служебки. И тотчас раздались тяжелые шаги. Няня Нелля, огромная, толстая, в непомерно большом клеенчатом переднике, с утками и суднами в обеих руках и под мышками, степенно поплыла по коридору.

— О, господи! Сумасшедший дом! Кошмар!

Няня Нелля, как ее зовут и стар, и млад,— первый человек в этом учреждении. Пожалуй, больные еще могут как-то обойтись без директора, без заведующей, без хирургов, лечащих врачей, медсестер, но без няни Нелли — решительно нет. Она незаменима. Когда няня Нелля приходит на дежурство, больные ликуют: «Живем!» Она внешне мрачная, суровая, тяжела не подъем, но лучше всех понимает лежачих бедолаг и во всем безотказна. Когда-то, лет двадцать назад, попала она в институт, перенесла две операции и, встав на ноги, так и осталась здесь работать. Муж недавно умер, дети взрослые, сама уже шагнула за пенсионный возраст, но вкалывает, как ломовик,— тянет полторы-две ставки. При этом живет в достатке, дом свой имеет, сад — осенью корзинами тащит

яблоки и раздает больным и сослуживцам. «И чего тебе неймется, старая?— упрекнул ее как-то Шайко.— Охота тебе горшки таскать». Няня Нелля насмешливо глянула из-под кустистых бровей: «Так ты же, милок, первым без меня пропадешь.— И указала на палаты:— А за ними кто ухаживать будет? Где ты сейчас няню найдешь? Такие дуры, как я, ведь теперь перевелись».

С нянями действительно беда. Профессия эта катастрофически вымирает. Молодая няня Зиночка, вечно морщащая свой красивый носик, случается, снизойдет до того, что слегка шваброй помашет, но зато, прежде чем выпросишь у нее судно, трижды холодным пóтом обольешься. При этом непременно сострит: «Ну, что, палочка Коха, опять приспичило?!»

Няня Нелля сознает свою незаменимость, но не злоупотребляет этим. Единственная поблажка, которую она себе позволяет,— ходить в резиновых сапогах, чтобы не замочить ноги в ванной и душевой, и носить поверх тесного халата клеенчатый фартук. И потому иногда кажется, что няня Нелля ходит не по палатам хирургического отделения научно-исследовательского института, а продвигается вдоль мясных лавок Зеленого базара. Врачи вынужденно закрывают глаза на ее неприглядный вид.

— Ня-ня-а!— визжит Шайко.

— Уа-а-ай!— раскатисто перекрывает его Шукур.

В шестой палате, окном на юг, обитают двое: Василий Подтыкайло, ражий детина лет под тридцать, решивший перед свадьбой в срочном порядке удлинить ногу с помощью аппарата Илизарова, и Арвиг Карлсон, закованный в гипс и распятый, как Иисус, после резекции тазобедренного сустава. Василий — добродушный малый, жуир, рубаха-парень, приехал в институт, словно на курорт. Прихватил с собой магнитофон, гантели, несколько книг по бухгалтерскому учету и недописанный акт ревизии. Шумный, общительный, он в первые дни шастал по палатам, перезнакомился со всеми нянями и сестрами, балагурил напропалую, с ходу приударил за разбитной сестрой-хозяйкой, и загипсованные мытари смотрели на больничного ухаря-молодца с недоумением и завистью. Узнав из газет и журналов, что чудо-аппарат Илизарова освоили и его казахские коллеги, Василий уговорил невесту чуть повременить с женитьбой, ну, немного, месяца три, пока

ему там, в институте, удлинят больную ногу, чтобы уж на свадьбе щеголять в новых югославских ботинках на высоких каблуках, которые давно уже приглянулись ему: как-никак в ортопедической обуви не больно разгуляешься. Василий грезил чудодеем из Кургана, научился с шиком произносить «компрессионно-дистракционный остеосинтез» и горячо убеждал хирургов не оттягизать операцию. Никакие анализы, дескать, ему не нужны, здоров он как буйвол, разве не видно по его будке, так что скорее ломайте бедро, накладывайте сказочный аппарат и начинайте удлинять не по миллиметру в сутки, как это делают другим, а по два-три миллиметра сразу, так как закваска у него ядреная, все выдюжит. Однако неуемная уверенность Василия вскоре погасла. То ли операция получилась неудачная, то ли диво-аппарат был способен на чудеса лишь в руках его создателя — кто знает. Целый месяц Василий корчился от боли, стонал, ревмя ревел, рвал на себе волосы, всех извел, медицину клял на чем свет стоит. Гантели ржавели у изножья кровати. Магнитофон гулял по палатам. Книги по бухгалтерскому учету стопкой возвышались под пяткой изуродованной ноги. За это время здоровяк Василий неузнаваемо осунулся, поблек. На третий месяц, измученный вконец, он смирился со своей участью и написал невесте письмо, прося еще чуть-чуть потерпеть со свадьбой. Но бедного Василия ждали новые испытания. Когда по подсчету ногу вытянули на два сантиметра, верхняя спица аппарата угрожающе уперлась в самое затаенное место, и Василий всполошился.

Врачи тоже задумались. Сначала приостановили удлинение, а потом решили злополучную верхнюю спицу извлечь. Вскоре еще одна спица прорвала мышцу, и аппарат пошел вкось и вкривь. Заподозрив неладное, Василий изловчился и сам измерил ногу. Она не удлинилась, а, наоборот, укоротилась на два сантиметра. Василий взвыл от отчаяния. Несколько дней просверленную и истыканную спицами от колена до паха ногу измеряли врачи, сестры, няни, ходячие больные. Результат каждый раз получался другой. Тогда решили, что Василий неправильно лежит, что искривилась его нога, что бугрится матрац, что мешают спицы, скобы, опухоль, что у него от лежания вытянулась здоровая нога. Некоторые по этому поводу даже перессорились. После этого Василий потерял всякий интерес и к своей ноге, и к аппарату Илизарова, и к заботам врачей. «Придется проваляться в чертовой богадельне

с годик,— мрачно решил он.— Ну и бог с ним! Хорошо, что не женился. Сколько было бы хлопот! А так живу, и ладно».

Сосед Василия по палате — Арвиг Эрнстович Карлсон — литератор, ему, должно быть, под сорок, человек сдержанный, покладистый. «Шибко деликатный»,— сказала о нем няня Нелля. Привезли его сюда в скверном состоянии: с обострением процесса, с запущенным абсцессом и совершенно фантастическим РОЭ.

Литератор лежал головой к балкону, поворачиваться на живот или на бок он без посторонней помощи не мог, да ему это и полагалось лишь раз в сутки, когда, предупреждая пролежни, натирали ему спиртом или скипидаром плечи и лопатки, поэтому он вел беседу со своими гостями, держа перед собой зеркальце. Друзьям это было не совсем удобно, им все чудилось, будто они обращаются к пустому пространству за приоткрытым окном. А сам Карлсон шутил: «Воспринимаю жизнь отраженным светом. Довольствуюсь вторичностью».

С крышкой от стерилизатора на вытянутых руках, накрытой стерильной салфеткой, неслышно впорхнула в палату, как всегда подтянутая, легкая, ясноглазая, с лукавой усмешкой на сочных молодых губах сестра Светлана Николаевна.

— Ну, как, орлы, кейфуете?

Подтыкайло радостно встрепенулся, поправил простыню на вздернутой ноге. Карлсон прервал очередную беседу с тройкой молодых людей за балконной дверью и приветливо улыбнулся:

— Добрый вечер, прелестная Светлана Николаевна!

— О-о-о!— изобразила восторг и смущение хорошенькая сестрица, доставая из-под стерильной пеленки шприц.

Смотреть, как работает Светлана Николаевна,— одно удовольствие. Движения ее поразительно легкие и точные. Уколы делает ловко и незаметно, будто и не укол вовсе, а комариный укус. Голос ее ровный и мягкий, в улыбке — обещание и надежда, легкий намек на что-то радостное, приятное.

— Что, кот Василий? Девочки еще не снятся? Во сне еще не танцуешь... в югославских-то чоботах?

— Ох, Светлана Николаевна,— застонал Василий.— Снятся туготелые, ох, снятся искусительницы. Мóчи нет — пóтом обливаешься, дрожью исходишь.

— Так уж и дрожью?! — хмыкнула Светлана Ни-

колаевна, растирая тампончиком место укола.— Это серьезный симптом. Пора, значит, выписываться. Не то, Василий, наделаешь тут делов в нашей святой обители.

— И рад бы, Светлана Николаевна, да куда я с этими железяками?— Василий кивнул на аппарат Илизарова, на торчащие во все стороны спицы. Сейчас он напоминал тициановского святого Себастьяна, истыканного стрелами.

— Но, но... не очень-то,— оборвала Светлана Николаевна не в меру разыгравшуюся фантазию Василия и метнула насмешливый взгляд на литератора:— Может, Арвиг Эрнстович, пресечете на минутку пресс-конференцию? Что там за смуглянка в кожаном пальто глазки пялит?

— Коллега... из издательства.

— Хм-м... знаю я вас. И коллежек этих тоже.

— Эх!— воскликнул театрально Василий.— На волю бы сейчас. Посидеть бы с какой-нибудь девицей в кафе.

— Чего захотел! И так, как в раю, живете. Все, что надо, прямо в постель подают.

— Рай!— скривился Василий.— Черт бы его побрал!

— Что ты, Василий батькович! Бога-то не гневи. Вон у Арвига Эрнстовича спроси: рай ведь?

— Рай, Светлана Николаевна, рай,— поспешно согласился литератор.— Иначе где же еще такие, как вы, девы порхают?

— О-о-о!..

Светлана Николаевна, позвякивая шприцами, ампулами на крышке стерилизатора, выпорхнула за дверь.

4

С каждым днем становилось тебе хуже, по утрам нога уже совсем не хотела разгибаться, и ты, стиснув рукой бедро, бочком-бочком, как подбитый, опираясь на палку, морщась от боли, еле-еле ковылял в школу и там, долго усаживаясь, устраиваясь за партой, осторожно вытягивал ногу, с замиранием сердца ждал, когда уляжется боль, и так, стараясь не шелохнуться, умоляя ребят не задевать тебя, просиживал неподвижно все четыре или пять уроков, пока однажды, с последним звонком, вдруг с ужасом почувствовал, что подняться из-за парты ты уже не в силах.Не можешь, и все! Все в тебе воспалилось, даже крупицу боли вобрать в себя было немыслимо. Раздавленный безысходностью, ты сидел, скрючившись, за партой в

пустом нетопленном классе и от отчаяния и обреченности не мог ни плакать, ни кричать.

В тот хмурый ноябрьский день школьный сторож и Иван вынесли тебя на руках и привезли на салазках домой. И померк для тебя белый свет. Боль захлестнула тебя. Страх и растерянность воцарились в скудном жилище аульного кузнеца.

Фельдшер Давид Павлович недоумевал: «Не пойму... Не ушиб, не перелом... Боюсь: полиомиелит».

Надо было как-то добраться до районного хирурга — двадцать пять километров санного пути.

Зима подбиралась, подкрадывалась к аулу на берегу Ишима исподтишка. Студеный ветер давно оголил деревья, до последнего листика сорвал и согнал, прибил в овраг Теренсай. Степь почернела после первых заморозков. Солнце ходило все ниже и ниже и иногда по нескольку дней скрывалось за грязными, как свалявшаяся шерсть, тучами, словно стыдясь своего бессилия. Потом задуло с верховья все яростней, все злее, по небу беспокойно заметались пестрые облака, потом угрожающе надвинулись хмурые тучи, и вдруг запуржило, завьюжило, завыло, все погрузилось в белую круговерть, и пять суток, днем и ночью, безумствовал буран. Он намел сугробы по самые крыши невзрачных аульных домов и мазанок. Аульчане выбирались на свет божий через крыши сараев, откапывали окна, двери, пробивали проходы.

Смилостивился баскарма: дал на один день каурого жеребца с кошевкой. Выехали затемно, ибо убежден был Иван: любое доброе дело следует начать спозаранок, с благословения нового дня. Кошевку застелили сенцом, тебя укутали во все теплое, что только нашлось дома, мама даже клетчатую шаль с себя сорвала и укутала твои ноги, от страха и жалости глаза ее застыли... «Ах ты, ах ты, господи! Только бы не окоченел мальчонка в дороге, бедный, бедный...»

Жеребец застоялся на морозе, продрог и теперь просил поводья, понесся резво, без понукания. Сразу же за аулом начиналась белая безмолвная равнина. Змеилась легкая поземка, оглаживала едва заметную темнеющую полоску — пустынную зимнюю дорогу.

Долго ехали, долго, долго, и бесшумно скользила легкая председательская кошевка, и летели из-под подков жеребца мерзлые комки, и боль в твоем теле, должно быть, укачалась и подремывала, как и ты, и все воспринима-

лось, как во сне, и чудилось: не будет конца этой дороги, длинной-длинной зимней дороги, и рядом по стылому небу, не отставая от резвого жеребца, будет скользить-плыть насквозь промерзшее одинокое солнце.

— Не закоченел? — доносился время от времени простуженный голос Ивана.— Терпимо?.. Ничего... скоро Каратал. Там отогреемся.

Надоела, видно, бесконечная дорога, такие же нудные думы, тягостное молчание, мурлычет Иван что-то под нос, что-то очень простенькое, бесхитростное и близкое, родное. «Ду, ду лигст мир им Херцен, ду, ду лигст мир им Зинн...» — старательно, непривычно мягко и нежно выговаривает-нашептывает дядя, и тебе становится тепло от этого ласково-доверительного признания. Конечно, совсем не к тебе обращается дядя, когда поет: «Ты, ты одна в моем сердце, ты, ты одна на уме», это он тоскует по Олькье, хрупкой, шустрой, как мышка, Олькье, зазнобушке, оставшейся в Сухорабовке, и ее-то, Олькье,— ты это знаешь — Иван намерен нынешней весной привести в наш дом. И будет лопоухий, тонкошеий, с большими, раздавленными работой руками твой дядя — мужем, а Олькье, худоба, вертлявая девчонка, нос да глаза,— женой. И случится это совсем скоро, весной, так почему-то решил Иван, а пока он в десятый раз признается в своей полутайной любви: «Ду, ду лигст мир им Херцен...»

— Спой еще что-нибудь, дядя Иоханнес.

— А-а! Понравилось?!.. То-то же! Немецкие песни, брат, за душу хватают. Жаль: петь разучились. Швегерин какая певунья была, а теперь... молчит. И я многие слова забывать начал. А сколько разных частушек-шнеркель знал Антон!.. Плохо: песни забудешь — родную речь забудешь. А без родной речи — ты сам себе чужак. Вот и меня редко кто Иоханнесом зовет, все Иван да Иван. А ты и вовсе Арбеком стал, ха-ха...

«Да-а... это так»,— думаешь ты про себя. Как слаженно и с каким упоением, бывало, пели народные песни, и сколько их знали, в каждом доме имелся толстенный лидер-бух-песенник, и колхозники ездили по утрам на работу на телегах-рыдванах непременно с песнями, одна звонче другой, пели в четыре голоса, это ведь уметь надо — в четыре-то голоса, тут и глухой заслушается.

— Не замерз?.. Вон Каратал. Видишь: дымок за леском. Остановимся у крайнего дома. Ты сразу болбочи по-казахски.

— Зачем?

— Ну... чтобы приятнее было... домой пригласили чтобы.

— Стыдно. Вроде как просишь что-то...

— Чудак! Почему бы не говорить, если умеешь? Людям всегда приятно, когда говорят на их родном языке. А просить ничего не надо. Отогреемся — и дальше поедем.

У крайнего, снегом заваленного дома стояла заседланная лошадь. От нее шел пар, а бока прямо на глазах покрывались куржаком. Старик в лисьем малахае снял седло и укрыл лошадь попоной. Чуть поодаль сидела, высоко задрав длинную сухую голову, гончая. Старик сделал вид, будто не заметил подъехавших путников. И лишь когда Иван вылез из кошевки, подошел к нему и почтительно поздоровался, старик удостоил их внимания. Иван сбивчиво, мешая русские и казахские слова, объяснил, кто он, куда и зачем едет. Он говорил и говорил, боясь, что старик его не понимает, и все выразительней взглядывал на тебя, как бы взывая к твоему спасительному казахскому языку, а ты точно онемел, не смог выдавить из себя ни словечка, и старик, косолапо топчась вокруг лошади, все молчал, что-то тянул равнодушно, выбирая из бороды сосульки, и вдруг буркнул:

— Эй, хуатит!.. Болтун ты, Иван. Знаю: твой кузнец. Айда в дом.

Теплый, но спертый, кисловатый воздух ударил в ноздри. Жилье оказалось низким, но просторным. В углу у стенки громоздился обитый железом, с облупившейся местами синей краской сундук. На нем возвышался тюк разноцветных одеял и подушек. В другом углу, возле двери, темнела давно не беленная печь с черной пастью, округло высился ушастый казан. Рядом, на ящике, стояли бак с водой и ведра. На узкой скамейке, покрытой клеенкой, аккуратно расположились вставленные одна в другую миски и разной величины деревянные чашки. Сбоку притолоки на гвозде висели плеть и уздечка. В середке, на полу, на расстеленном бараньем тулупе, укрывшись большим, как полог, пестрым лоскутным одеялом, спала ребятня. Из-под одеяла во все стороны высовывались головы и ноги. Было непонятно, где изголовье, а где — изножье.

Гости и хозяин, разоблачившись, прошли в глубь комнаты и расположились на домотканом паласе вдоль стены. Старик что-то сказал, и в доме тотчас все завертелось,

закружилось. Из-под одеяла вылезла, точно щенки из-под брюха матери, ватага малышей. Старшие отволокли к стене тулуп и одеяло, расставили посередке складной низенький столик, выбегали поочередно на улицу и тотчас возвращались, зябко прижимаясь друг к другу. Молчаливая старуха в белом кимешеке[1] внесла самовар, расставила на столе тарелочки с топленым маслом и сушеным творогом, разломила две лепешки.

Малыши тоже подсели к столику, вытянув шеи и тараща глазенки, точно птенцы в гнезде. Старший налил им из кадки квашеного молока, сунул в руки по куску лепешки. Малышей оказалось семеро. И все будто на одно лицо: сплошь узкоглазые, скуластые. Самый маленький мгновенно измазался до ушей, ел жадно, торопливо, словно боясь отстать от братьев. Старик, глядя на него, умиленно тянул: «Айналайн-ай!..»

Хозяин угощал гостей и все расспрашивал Ивана о том о сем, а расспросив, непременно подытоживал: «Э-э-э... с Волги приехал, значит... понятно, понятно... советский немис, говоришь, а-а-а... дурыс, дурыс... о аллах, значит, и немис советским бывает, а братишка больной, значит... ай, плохо, плохо... атес нет, да... э-э-э... жена-марджа нет, значит... молодой-холостой... ия-а-а... больница едешь, значит... бедни-бедни... кушай-кушай... примчик-курт, хлеб-масло, чай-пай... дорога далекай... зима холоднай... шай не пьешь, откуда силу возьмешь... хе-хе...»

— Дедушка, а эти все — ваши? — Иван указал на малышей.

— Конечно, мои. Чужих нету.

— Хм-м... Дети или внуки?

— Конечно, внуки! Сыновей нету. Сыновей сволышшпашис убил.— Старик отпил глоток, отставил чашку, невидяще посмотрел вдаль.— Если б не Китлер-собака — все хорошо бы было. Ты на Волге жил... братишка твой не болел... сыновья мои были бы дома... горя нет. А так... э-э-э...

Провожая торопившихся гостей, старик сочувственно смотрел на тебя, на то, как ты, превозмогая боль, укладывался в кошевку, и вдруг поспешно ушел в дом и вынес бараний тулуп.

— На. Укройся. А то сегодня шибко холодно будет. Я знаю.

---

[1] Головной убор женщины *(каз.)*.

Иван растерянно посмотрел на старика, быстро-быстро заморгал.

— Э, ладно... Обратно поедешь — завезешь. Айда!

И опять плавной рысью понесся по снежной пустынной равнине резвый жеребец баскармы; с легким скрипом, покачиваясь, заскользила по санной дороге кошевка, летели из-под копыт снежные комья, и Иван, вспомнив свою Олькье, снова завел: «Ду, ду лигет мир им Херцен...» — и вокруг мелькали однообразные сугробы, и боль будто притаилась, и тебе было тепло от доброты незнакомого дедушки, от тяжелого, густо, неистребимо пахнущего овчиной тулупа, от горячего чая, и ты еще не знал, не представлял даже, как еще сегодня долго и внимательно, разбередив затаившуюся боль, будет ощупывать, осматривать тебя суровый пожилой хирург Яковчук, глухо проронивший потом, после осмотра, врезавшиеся в твою память слова: «Коксит... острое воспаление туберкулезного процесса в тазобедренном суставе» — и обещавший через неделю-две прислать врача, который уложит тебя надолго в гипс... ты этого еще не знаешь, не знаешь, потому что еще не весь прожил тот памятный длинный-длинный зимний день...

5

Боль, она — всюду. Она разлилась по всему твоему телу, проникла во все клеточки нервов и затаилась, ей уже тесно в твоем измученном, иссохшем тельце, она точно разбухла, воспалилась и теперь рвется наружу и вот-вот захлестнет все, все на свете. Нет уже, не осталось ни одного крохотного местечка в твоей истерзанной плоти, которое не корчилось бы от боли. Сейчас тебе надо лишь чуть-чуть, совсем чуть-чуть, ну, может быть, на сантиметр-два повернуться на бок, слегка изменить позу, потом, опять-таки чуть-чуть, самую-самую малость, приподнять ногу — средоточие всех болей в мире, поудобней, поаккуратней подсунуть под пятку конец одеяла, и боль уймется, утишится, непременно утишится, ты это чувствуешь, ты в этом убежден, и тогда ты спасен, ты обретешь покой, блаженство, счастье. Господи, только бы повернуться, чуть-чуть повернуться на левый бок...

Конечно, если бы ты мог сейчас, не стесняясь, кричать, кричать бесконечно до-о-о-о-олго-о-о-о, по-звериному, до исступления, до самозабвения, до умопомрачения,

тебе стало бы легче, боль испугалась бы, онемела, оглохла, ты бы ее задушил в крике, но это невозможно, это простонапросто исключено. Нельзя тебе кричать, нельзя, ты не должен пугать маму, и дядю, и Милушу, и без того перепуганных твоей бедой, и потому ты плотнее сжимаешь губы, так плотно, что они у тебя наверняка склеились, срослись. Ты знаешь, что следует делать. Нужно здоровой ногой очень-очень осторожно подцепить снизу, чуть выше лодыжки, больную, приподнять ее медленно-медленно, а правую руку в это же время нежно прижать к воспалившемуся и оттого теплому под огрубевшей, как бы глянцевой кожей тазобедренному суставу и, вцепившись левой рукой в край топчана, осторожненько повернуть на бок твое непослушное тело. Это ведь так возможно, если только на мгновение затаить дыхание, если только превозмочь невыносимую боль и очень сильно постараться. Боль ожгла сознание, пронзила тебя насквозь, и ты, обливаясь пóтом, замер. Всё!.. Кажется, всё. Ты повернулся... Вот оно, спасение. Вот вожделенный миг, о котором ты мечтал, кажется, вечность. Теперь, пожалуй, можно и уснуть. Вконец измученный, ты блаженно закрываешь веки и тотчас чувствуешь, что проваливаешься в черную бездонную пропасть, летишь все стремительней, все быстрее, точно брошенный в гулкий колодец камень, и ты в ужасе, в смятении открываешь глаза и напрягаешь сознание. Ты уже не решаешься закрыть глаза. Можно ведь полежать и с открытыми глазами. Можно даже попытаться уснуть, не смежив веки. А боль — отупевшая, ослабевшая — все же не оставляет тебя совсем, она тоже будто отдыхает, бродит в твоем теле, со всей сатанинской яростью.

Не-е-ет... и так плохо. Так еще хуже. Значит, надо лечь прямо на спину, вытянуть ноги, под колено сунуть маленькую подушку и терпеть, терпеть, перетерпеть адскую боль. «Вечно болеть ничего не может,— сказала как-то мама.— Когда-нибудь и боли надоест». Только когда? И сколько надо терпеть? Сколько можно терпеть?

Неслышной невесомой тенью вырастает у твоего топчана мама. Молча поправляет одеяло, подушку, твердой ладошкой гладит твою, словно задубевшую, звенящую от боли ногу, гладит, гладит, будто хочет умилостивить, улестить разъяренного зверя, засевшего в тазобедренном суставе, и тебе легче, тебе даже хорошо, но и одновременно горько, обидно, жалко оттого, что столько мук причиняешь

маме — ведь ты это очень хорошо чувствуешь и понимаешь,— и от жалости и обиды ты на мгновение забываешь про свою боль, и горячие, неутешные слезы текут по твоим щекам.

Боль смыкается над тобой, и ты проваливаешься в бездну...

Выплываешь ты потом из мрака совершенно оглушенный болью, опустошенный, отупевший и ничего не соображаешь, кто ты, что ты, где ты, откуда, из какой бездны вынырнул. Неведомо тебе, сколько ты пробыл в беспамятстве ли, во сне ли... За маленьким, льдом затянутым окном занимается тусклый зимний рассвет. В серой мути ты не сразу различаешь очертания предметов в убогой комнате. Боль, нестерпимая боль вроде затихла или тоже умаялась, забылась на рассвете. Ты с трудом размыкаешь веки и видишь: у изножья, склонившись в неловкой позе, положив голову на спинку топчана, сидит мама. Одна ее рука, сжатая в кулачок, лежит под коленом твоей больной ноги, а другая крепко стиснула носок, как бы оттягивает ногу, и эта была та самая спасительная поза, которую ты так долго и тщетно искал, и мама непостижимым образом угадала ее.

От нежности и любви к маме ты на миг ощущаешь комок в груди и тихо-тихо шепчешь, как бы боясь разбудить, всколыхнуть унявшуюся боль.

— Ма-ма-а...

Странно: ты шепчешь, а голоса своего не слышишь. Может, и голос у тебя пропал. Может, и язык онемел от боли.

— Ма-ма-а...

У мамы бледное, усталое лицо. Черная прядь прилипла ко лбу. В глазах — глубоких, темных — тоже усталость и нежное сострадание.

— Спи, мой бедненький... спи... — тоже тихо отзывается мама.

— Мне хорошо, мама... хорошо мне... Ты иди... поспи...

— Что ты, сынок?!.. Я уж выспалась, сторожа твою боль. Пойду, Зорьку подою. Парным молочком тебя напою.

— Я ничего не хочу, мама... Мне бы просто так полежать... без боли.

Мама отворачивается, закусив губу, осторожно высвобождает из-под твоей ноги руку, с такой же заботливостью укрывает тебя одеялом и уходит в закуток за печкой одеваться.

Ты, затаив дыхание, вслушиваешься в сонную сутe-

мень, в себя, в свою боль, и горячие слезы текут по твоему лицу, катятся за подбородок, за шею, тяжело капают на подушку, и жалко тебе всех на свете, всех, всех, и себя, и особенно маму, и отныне это чувство — чувство вины перед мамой, которой ты принес собой, своей болезнью столько горя, не покидает тебя... не покидает...

6

Снег шел долго, три дня и три ночи, а казалось — вечность. Он валил то густо, едва ли не сплошняком, словно намеревался как можно плотнее укрыть землю, то лениво кружил невесомыми хлопьями, то сыпал, заходя с разных сторон, льдистыми иголками. Наконец он выдохся, или просто надоело однообразие, но небо не очистилось, сумрачное, затянутое тучами, оно будто застыло на вечные времена, давило на душу, и нищенский зимний день тосковал-печалился за больничными окнами.

Заглянула к Карлсону Вера Леонтьевна, устало присела на краешек кровати.

— Как самочувствие?

— Неважное: солнца нет.

— Ничего... Завтра будет солнце.

У Веры Леонтьевны широкое крестьянское лицо. Открытое и простое. И сама она вся крепко, ладно скроена. От крупной ее фигуры исходят уверенность и надежность. А глаза усталые. Смотрят мягко, внимательно.

Вера Леонтьевна — хирург божьей милостью. Тридцать три года не расстается со скальпелем. Операций проделала видимо-невидимо. Она не помнит своих бесчисленных пациентов по именам и внешности, зато помнит их недуг, помнит по рентгеновским снимкам. Однажды она полистала в тубдиспансере историю болезни Карлсона и, зайдя потом к нему в палату, категорически заявила: «Вас спасет только операция». Однако под влиянием другого врача, поборника антибактериальной терапии, Карлсон промаялся еще семь лет. И когда он все же очутился в тубинституте, Вера Леонтьевна сразу узнала его — вернее, покалеченную его ногу по снимку. Литератор терзался сомнениями, все решая, стоит ли ему в его возрасте идти на риск, но Вера Леонтьевна очень просто, по-женски убедительно развеяла все его сомнения: «Никакое другое лечение вам не поможет. Операция будет нелегкая. Но все кончится хорошо. Восстановительный период займет около

года, а может, больше. Зато станете человеком. И уже совершенно не будете знать болей». Разговор получился откровенный, без уговоров и утайки.

У Веры Леонтьевны нет ни званий, ни степеней. Она просто классный хирург. И рука у нее легкая, счастливая. Оказывается, и хирургом надо родиться. Как, скажем, музыкантом. Вот разные люди, к примеру, берут один и тот же аккорд... могут ударить по струнам с совершенно одинаковой силой, все может совпадать с абсолютной точностью, и тем не менее инструмент звучит по-разному, звук получается разный; у большинства он тусклый, глухой, бездушный, просто сотрясение воздуха, и только у редких он живой, одушевленный, прекрасный, душевный, ибо разные руки касаются этих струн — рука заурядная, обыкновенная, пусть даже по-своему чуткая, способная, и рука талантливая, в которой заключено что-то такое, что невозможно уловить, оценить, определить — дар.

Жалоб нет?

Нет, Вера Леонтьевна. Только почка шалит, да с желудком иногда нелады.

Это побочные явления. Скоро высвободим вам здоровую ногу, заменим гипс на более легкий. А через месяц будем подниматься.

Должить бы...

Должны. Наберитесь побольше терпения... А я ведь зашла проститься. Уезжаю в область на две недели.

Много еще, Вера Леонтьевна, кокситов-спондилитов?

На мой век хватит. До свидания!

Всего доброго, Вера Леонтьевна!

У двери она обернулась и улыбнулась краешком губ.

— А солнце завтра будет. Непременно!

В палате номер шесть установился свой режим. Утром, после завтрака и процедур, Карлсон работал: переводил с казахского длинный роман. Писать ему было неудобно. Нужно было без конца вчитываться в оригинал, откладывать книгу и, обдумав предложение или фразу, занести в толстую, большую тетрадь, лежавшую на груди. Строчки лезли одна на другую, тетрадь соскальзывала, книга захлопывалась, крошился карандаш, но Карлсон был упорен и даже назначил себе обязательную норму — две страницы в день. С нормой он обычно справлялся.

Василий старался не мешать. В последнее время он запойно читал. Ему только здесь открылось, что существует

литература, совсем непохожая на фантастическую и приключенческую, которой он упивался многие годы. Из больничной библиотеки ему приносили увесистые тома полумедицинского, полуфилософского содержания, судя по обложкам, никем никогда еще не читанные, и Василий глотал их, испытывая при этом неведомое ему доселе наслаждение. Особенно восторгал его Салернский кодекс здоровья, написанный в четырнадцатом столетии философом и врачом Арнольдом из Виллановы, и Подтыкайло ошарашивал цитатами врачей и сестер. Заглянула как-то в палату чем-то озабоченная Елена Васильевна, бросила на ходу:

— Ваша Вера Леонтьевна заболела и до понедельника не будет.

Василий тотчас разразился гекзаметром:

Если врачей не хватает, пусть будут врачами твоими
Трое: веселый характер, покой и умеренность в пище.

Должно быть, такой мудрой сентенции Елена Васильевна от Подтыкайло не ожидала, застыла растерянно на пороге, похлопала глазами, заметила на всякий случай:

— В общем, вполне правильно.

В другой раз дородная раздатчица вкатила тележку с обедом, выставила на тумбочку традиционные больничные борщ, кашу, пюре и компот, и Василий, только что навернувший полкруга вареного шужука[1], которым снабжали литератора его казахские друзья, изрек:

Ты за еду никогда не садись, не узнав, что желудок
Пуст и свободен от пищи, какую ты съел перед этим.

Раздатчица была не в духе, ожгла Василия злым взглядом:

— Чего-о?! Не привередничай, понял? Много тут вас!

Видно, опять что-то любопытное вычитал Василий из Салернского кодекса здоровья. Интригующе захмыкал, головой повертел.

Карлсон дописал фразу, спросил:

— Что, Василий?

— Норму сделали?

— Почти... Несложный был отрывок.

— Послушайте вот. — Василий облизнул губы. В глазах мелькнул влажный блеск. — «В меру услада Венеры весной человеку полезна». Каково?

---

[1] Конская колбаса *(каз.)*.

— Неплохо. Только, Василий, сказано ведь — весной. И еще «в меру». Важная деталь. До весны же нескоро. А тебе об усладах Венеры и вовсе думать преждевременно.

— Пожалуй, так, — запечалился Подтыкайло и иголкой проткнул восемьдесят первый день на календарике. Восемьдесят первый день после операции. Василий мысленно прикинул, сколько ему еще лежать, и совсем приуныл.

— Знаете, Арвиг Эристович... верьте — нет, я до сих пор никогда ни о чем всерьез не задумывался. Ей-богу! Жил просто. И все вокруг жили просто. Так, во всяком случае, мне казалось. Ну, ел, пил, с друзьями болтался, за девками чикилял, на работу ходил, всякие акты-макты писал. Вот и все. Книжки, конечно, всегда читал, но так, для забавы. Вы слушаете?

— Рассказывай, рассказывай... — Карлсон убрал в тумбочку рукопись, повел перед глазами зеркальцем, обозревая привычную окрестность за окном. И деревья, застывшие под снежной нависью, и длинные увалы, и дачные домишки у подножия зыбились в тумане, то выплывая, то исчезая.

— Так вот... разные там слова-понятия, вроде печаль, тоска, счастье, раздумья, смысл жизни, цель, предназначение и прочие, были для меня пустым звуком. Теперь валяюсь здесь столько месяцев, ну и задумываться начал. Даже ночью, как проснешься, так думаешь. Аж глазам горячо.

— Знакомо, Василий, знакомо...

— И знаете, что иногда в голову приходит? С ума сойти! Мне иногда удается взглянуть на все со стороны, отстраненно, что ли. И вдруг ярко вижу всю тщету человеческих потуг. Жизнь настолько хрупка и так подвержена случайностям, что вся мышиная возня, именуемая жизнью, гроша ломаного не стоит. Вам такое приблазнялось?

— Случалось... И наверное, не только мне и тебе.

— Ну и как?

— Что «как»?

— Как выбирались из этой трясины? Ведь если согласиться с такой мыслью, выходит, жить незачем, значит, вроде и ни к чему.

— Очевидно, каждый всегда, во все времена по-своему преодолевал сомнения. И в преодолении этом черпал нравственные силы, а они дают силы физические.

— Допустим. А вы каким образом преодолевали сомнения?

— Просто убедился: жизнь прекрасна. И значит, стоит жить. И жить достойно. Вот и все. Банально, да?

— Не знаю... Живут по-разному. Для одних вся жизнь — что смертный бой. Для других — история болезни. Третьи живут, как трава. Так, может, не у каждого есть свое предназначение на земле? Может, это лишь удел избранных? А для большинства весь смысл в том, чтобы жить, как трава растет?

— Трава ты или не трава — от тебя самого зависит. Очень удобно сваливать все на свою заурядность и на внешние обстоятельства. Но человек не должен быть заурядным. Стоит только убедить себя в обратном, смалодушничать — и все, ты проиграл. А родился человек не для этого. Живой пример рядом — Шукур.

— Шукур — загадка. В чем он находит силы — не пойму. Может, в отчаянии?.. Человек, по-моему, чаще всего сам себя не знает. Многим недосуг даже задуматься об этом. Вот сельский трудяга. Вырос, что-то там окончил, женился. И пошло: вкалывать надо, крышу над головой надо, дрова-сено надо, жену одевай, детей корми, доставай это, доставай то, крутись-вертись, оглянулся — уже пенсия на носу. И вся жизнь.

— У горожанина суеты не меньше.

— Может быть... Я ведь не городской. не деревенский. Так себе, серединка-наполовинку... Но вы, Арвиг Эрнстович, можете объяснить, что придает вам... как бы выразиться... равновесие, что ли, в жизни? Вы-то ощущаете себя нужным?

Литератор задумался, опять повел зеркальцем туда-сюда. Туман за окном понемногу рассеивался, и вдали уже обозначились отроги гор. В коридоре воцарилась настороженная тишина. Потом донесся свистящий шепот: «Комиссия! Комиссия!» Присеменила переполошенная сестра Надежда Ивановна:

— Ребятки, быстренько приберемся. Подзаправим постельку. Все лишнее — долой.

— Опять из санэпидстанции? — полюбопытствовал Василий.

— А бес его знает откуда...

Надежда Ивановна расшуровала куда-то книги, журналы, газеты, поправила подушки, подоткнула одеяла, чтобы нигде ничего не высовывалось, закатила подальше гантели, попросила не двигаться и — не приведи господь — требовать судно или утку. Заведующая отделением любила,

чтобы ее больные, закованные в гипс, были к тому же туго запеленуты в одеяла и лежали, вытянув руки вдоль туловища, смиренно, будто бревна. И чтобы вокруг ни пылинки, ни соринки, ничего, что хотя бы отдаленно намекало на вольную и безмятежную жизнь. Шайко ворчал: «Нельзя же живого человека обряжать, как покойника. Елене Васильевне не хирургическим отделением бы заведовать, а моргом». Но именно такой порядок мерещился Елене Васильевне.

Надежда Ивановна придирчиво оглядела свою палату и вышла. Однако через несколько минут прилепала опять:

— Беда, ребятки! В восьмой палате заглянули в тумбочку Шайко, а там... черт-те что! Даже таракан выскочил. Елена Васильевна едва в обморок не свалилась. А у вас? Порядок?

— Идут! Идут! — прошелестело за дверью.

Комиссия, человек двенадцать в белых халатах, торжественно вплыла в палату. Впереди уверенно шествовала стройная белокурая женщина, улыбавшаяся мило и одновременно с подчеркнутым достоинством. Рядом колобком катился, поблескивая двумя рядами золотых зубов, директор института. Врачи и сестры, знакомые и незнакомые, почтительно толпились чуть позади.

— Здравствуйте! — четко поздоровалась белокурая, будто учитель, входящий в класс.

— Вот товарищ... э-э...— Директор пригасил блеск зубов, повернулся к заведующей отделением.

— Подтыкайло,— подсказала Елена Васильевна.

— Да, да... Подтыкайло,— кивнул директор, вновь обдавая всех золотым сиянием.— Каких только фамилий не бывает на свете... хе-хе...

Белокурая дрогнула губами, и вся комиссия тоже улыбнулась.

— Подтыкайло поступил... э-э... из... из...

— Из Кустанайской области,— шепнула Елена Васильевна, косясь на тумбочку.

— Да, да... оттуда,— проснял директор.— В детстве был коксит, прооперировался, теперь надумал исправить укорочение. Хирург Турсунов, ученик Илизарова, наложил аппарат, усовершенствованный в нашем институте, и вот за короткий срок уже удлинил ногу на... э-э... шесть сантиметров.

— На два,— мрачно поправил Василий.

— Как на два? — Директор вскинул брови.— Со счета сбился, молодой человек.— Круглый, коротконогий, он повернулся к врачам, как бы ища подтверждения своим словам.

— Четыре,— чуть замешкавшись, сказала Елена Васильевна и опять скосилась на тумбочку.

— Почти пять,— подал голос Турсунов.

— Два! — упорствовал Василий.

— Эй, что ты говоришь, а? Вот чудак, понимаешь, Подтыкайло! — Директор развел руками.— Твой директор, твой хирург, твой завотделением знают или ты знаешь, хе-хе-хе?!

Белокурая тоже улыбнулась чуть заметнее.

— А на сколько нужно удлинять?

— На восемь,— буркнул Василий.

— И это возможно? — наивно поинтересовалась белокурая.

Директор замахал руками:

— Как же! В моем... тоис... нашем институте удлиняют на сколько вы пожелаете. Недавно одной пациентке с туберкулезным гонитом удлинили на десять сантиметров.

— Здóрово!

— Да, да, чудеса, Любовь Ивановна! Мой институт... тоис... хе-хе... наш институт в последние годы делает просто чудеса как в консервативном, так и оперативном лечении костно-суставного туберкулеза. В общем комплексе лечебных мероприятий особое место мы уделяем современной физиомеханотерапии,— все более воодушевлялся директор.

Тут белокурая повернулась к Карлсону и быстро-быстро заморгала от удивления:

— Господи! Арвиг?.. Ты?!

Директор запнулся, глянул на литератора, потом на белокурую, на врачей. Комиссия затаила дыхание.

— Здравствуй, Люба!.. Любовь Ивановна,— поспешно поправился Карлсон.

— Давно здесь? Согласился на операцию?

— Как? Вы знакомы? А? А?!

— Еще по институту. Потом в Джамбулской области вместе учительствовали. А не виделись...

— Лет тринадцать.

— О-о! Вот сюрприз! — Директор обрадовался, будто родного брата встретил после долгой разлуки.— Вы знаете, его сам Абди Джамилев привез. Совсем плохой был.

Запущенный процесс. Абсцесс. Свищи. Операции боялся. Времени, говорил, нет. Писать, мол, надо. Теперь все позади. Через три-четыре месяца выпишем. Год в туторе походит, потом на костылях, а потом и без палочки.

— Как я рада! — искренее сказала Любовь Ивановна.— Я ведь знаю, как он мучился.

— Товарищу Карлсону мы уделяем особое внимание. Как же? К нему большие люди ходят. Звонят без конца. Сам Абди Джамилев приходит. Товарищ Карлсон работает даже в больнице. Толстый роман переводит. Чей роман-то?

— Дукенова.

— Да, да, Дукенова. Сильный роман! Исторический! Про кипчаков. А вот о нас, о нашем институте, о прекрасных наших хирургах никто писать не хочет.

— А вы не выпускайте Карлсона, пока он не напишет.

— А?! Ха-ха! Идея! — развеселился директор.— Мы так и сделаем.

Комиссия сразу повеселела, будто с нее невидимый груз сняли.

— Выздоравливай.— Любовь Ивановна дотронулась до плеча литератора.— Зайду как-нибудь. Поговорим.— И решительно направилась к выходу, увлекая за собой всю свиту.

— Идут! Идут! — донеслось из следующей палаты.

— Что за птица ваша знакомая? — спросил Василий.

— Любовь Ивановна? Ты же слышал: учились на одном факультете, на работу попали в один район. Вскоре она, однако, перешла на партийно-советскую работу. Сейчас в горкоме. То ли секретарь, то ли отделом заведует.

— Понятно. Вам легче прожить. Всюду у вас знакомые. В наше время это всё. Можете не отвечать на мой давешний вопрос. С вами все ясно.

— Неужели все ясно?.. А я все же отвечу. Не каждый в состоянии понять, что значит учиться и закончить школу на костылях, с изнуряющими болями, с изматывающими обострениями туберкулеза костей, когда месяцами из свищей сочится гной. А потом учиться в институте, тоже на костылях, подолгу лежать в больницах, в гипсе, испытывать по-сто-яп-но множество неудобств, тягот, нравственных унижений и страданий от физического недуга и в таком положении всюду и всегда помнить о достоинстве, о гордости, нигде, никогда, ни в чем не давать себе поблажки, учиться, работать, радоваться жизни, стремить-

ся к чему-то, борясь одновременно с собой, с болезнью, с житейскими неурядицами и нехватками, особенно свирепыми в горе, для этого требуется пусть не мужество, а упрямство и характер. Я не был паразитом, нахлебником, малодушным нытиком, не оберегал себя, не прятался в кусты, не искал компенсаций за ущербность.

Василий долго молчал, уставившись в потолок. Молчал, побледнев, и литератор. В коридоре гремели тарелками, звякали ложки. Струился-плыл по палатам, вытесняя больничный дух, запах горелого лука. Начинался обед.

— Я скоро сумасшедшим стану,— угрюмо заметил Василий.

— Вот те раз! С чего бы это?

— Не привык обо всем думать...

— Не станешь,— успокоил литератор.— А вот мудрым из больницы выйдешь. Она, мудрость-то, обретается в печали и раздумьях.

7

До чего ты был слаб и худ! Третий месяц в неподвижности томился ты на скрипучем топчане у окна, закованный по грудь в тяжелый, уже пожелтевший и крошившийся по краям гипс.

А уже весна входила в красу и силу. И хотя в комнатке было сыровато и волглый воздух оседал по углам, ты видел, как на улице становилось по-весеннему оживленно и суетливо. В окне, еще не отмытом от зимней сажи, ты видел, как возле колодца дольше обычного задерживались аульные пастухи, доставали не торопясь воду, поили скот. О плетень лениво почесывались разморенные ласковым солнцем коровы, оставляя клок мертвой шерсти, между домами стайкой и немного смущенно кружились собаки, не замечая ни кошек, ни прохожих, а за колодцем, на уже зазеленевшем поле, целыми днями исступленно гоняли мяч ошалевшие от раздолья и свободы мальчишки. Не в меру озабоченные воробьи яростно пикировали на подоконник, таращили на тебя круглые хмельные глаза и тотчас пружинисто взмывали вновь. Вдали бурела взбухшая перед вскрытием речка. Тяжко, надсадно ухал лед. Даже сквозь двойные рамы пробивался кизячный дымок. Видно, мама жгла в огороде мусор.

Вошел Азиз-мугалим. Быстро взглянул на тебя, улыбнулся и, откинув полы плаща, присел на краешек топчана.

— Салем, Арвиг! Весну чуешь?

— Здравствуйте, мугалим!

— Вот потеплеет — мигом на ноги встанешь. Да, да... А завтра, в девять,— экзамен. Изложение по казахскому. С директором так договорились: письменные экзамены сдаешь в школе, устные — дома.

— Боюсь, мугалим...

— Ерунда! Напишешь... Главное: не трусь. Иначе какие же мы с тобой, к шайтану, джигиты? А?

— Джигит... в гипсе лежит...

— Ничего! Сегодня — в гипсе, завтра — поскачешь. С какой стати год терять?

Добрая душа — Азиз-мугалим. Зимой, когда дядя Иван привез тебя на санках из школы и ты всю дорогу криком кричал от боли, стало ясно: учебу придется бросать. Разве до учебы, когда от боли корчишься и к топчану прикован? Понимали это и мама, и Иван. Но Азиз-мугалим и слушать о том не желал. Надо учиться! Обязан учиться! Это только здоровый может и дураком прожить... И приходил по три раза в неделю к тебе домой, приносил книги, заставлял читать, писать, решать задачи и все время подбадривал: «Мы джигиты! И ни джинны-шайтаны, ни хворости-болезни нас с пути не собьют!»

— Что непонятно — спрашивай. Ладно? Ал, сау бол... Будь здоров! Не забудь: завтра в девять! — крикнул учитель уже за дверью.

Когда Азиз-мугалим, бритоголовый, крутогрудый крепыш с густыми, черными усиками, находился рядом, ты чувствовал себя уверенно и легко. Одно дело, однако, бегло читать, пересказывать, решать примеры и задачи в классе или дома, и совсем другое — государственный экзамен, да, да, именно так называются годовые испытания в четвертом классе — писать изложение по казахскому языку. Страшно!

Ночь казалась нескончаемой. Ты без конца просыпался, прислушивался к глухому лаю соседской дворняжки.

Утром мама, тоже взволнованная, натянула поверх гипса брюки, на ноги — вязаные носки. Прибежал из кузни Иван, взглянул на часы, сказал:

— Пора! — и опустился возле топчана на колени: — Давай, ухватись за плечи. Да покрепче!

— Боже мой, осторожней,— заполошилась мама.— У Арвига будет кружиться голова.

— Не мешай, швегерин,— строго сказал Иван.

Ты обхватил тощую, но жилистую шею дяди, стиснул зубы и почувствовал, как сразу потемнело в глазах и лоб покрылся испариной. Иван медленно поднялся, уши его вспыхнули от натуги, и, обеими руками придерживая тебя сзади, горбатясь, вышел.

До школы было неблизко. Ослепительно сверкало солнце. Воздух был густ, запашист. И мир после тесной и затхлой лачуги, в которой ты лежмя лежал всю зиму, казался потрясающе огромным, а небо — бездонным. Сердце твое тяжело колотилось, от прилива крови распухала нога в гипсе. Возле школьной ограды густо пробивалась нежно-зеленая травка, робко проклевывались подснежники.

— Когда читать будут, внимательней слушай. Понял? — трудно дыша и все ниже нагибаясь, говорил Иван.— И не стесняйся, спрашивай Азиза. Понял?

— Ладно.

— Покажи ему черновик... Понял?

— Ладно.

— Я тебе часы оставлю. Когда останется... да ты за плечи, за плечи держись, задушишь совсем... останется один час, начинай переписывать. Понял?

— Ладно.

— И три раза прочти про себя... по складам, чтобы ошибку не проглядеть. Понял?

Уши дяди от напряжения стали пунцовыми, жилы на шее набухли. В коридоре подбежал Азиз-мугалим.

— Сюда его, Иван, сюда. Вот за эту парту. Осторожней, осторожней... Через пятнадцать минут начнем.

Иван с помощью мугалима осторожно опустил тебя на парту, подложил под локоть свой пиджачок, смахнул со лба пот и, протягивая большие карманные часы, шепотом спросил:

— Болит?.. Потерпи. Этот экзамен сдашь — там легче будет. Вот ручка, бумага. Слушай внимательно. Не спеши... Понял? Через три часа приду за тобой.

Постоял еще немного возле тебя твой дядя, худой, нескладный, с большими мозолистыми руками, твоя опора, растерянный, беззащитный какой-то, с грустными, усталыми глазами, взмокший от непосильной тяжести, от тебя, совсем еще хрупкий, почти пацан...

Десятка два чернявых и чумазых мальчишек и девчонок, свезенных на подводах из соседних аульных школ для сдачи первых в их жизни государственных экзаменов,

усердно шмыгая носами, с нескрываемым любопытством разглядывали тебя. Чудно́, должно быть, им казалось, что бледнолицый, сероглазый, тщедушный «немис-бала», закованный в гипс и неловко прилепившийся к обшарпанной парте, тоже вдруг намеревается писать изложение по казахскому языку. И ты таращил глаза, потому что все было внове, и особенно — фантастический наряд твоих сверстников. Война с «Керманом-собакой» закончилась лишь год назад, и это чувствовалось во всем. Может, больше всего в одежде: латаные-перелатаные, нелепые на детских плечах солдатские гимнастерки, замасленные стеганки, штаны из сопревшей овчины, застиранные, неопределенного цвета ситцевые рубашки с медными и деревянными пуговицами, самотканые подшитые валенки, тупорылые казахские сапоги с раструбами, с войлочным чулком, трофейные ботинки на невероятно толстой подошве. Были и такие, что сидели босиком. В угол забилась стайка девчушек в длинных фланелевых платьях, увешанных монетами.

— Ал, балалар, начнем,— сказал, заметно волнуясь, Азиз-мугалим.— Сейчас я вскрою конверт, и мы посмотрим, какой нам прислали текст для изложения.

Стало тихо. Экзаменующиеся даже перестали шмыгать носами. Азиз-мугалим щелкнул самодельным складным ножом, вскрыл конверт, вынул маленькую, с коровий язык, бумажку. Шумный вздох прокатился в классе. Мугалим развернул бумажку, быстро пробежал глазами текст и потемнел лицом. «Плохи дела»,— единодушно решил класс. Азиз-ага протянул бумажку двум мугалимам из других школ. Те читали долго, шевеля губами. Азиз-ага оглядел класс.

— Дети, слушайте внимательно. Жуматаев, ручку на место! Сальтаев, не болтай ногами! Зикрин, куда смотришь?! Читаю...

Читал мугалим что-то очень незнакомое, трудно постижимое. Предложения были ужасно длинные, а слова мудреные, вычурные. Ты был взволнован и никак не мог сосредоточиться. Ты напрягал внимание и память из последних сил, не отрываясь, смотрел на учителя, даже не чувствовал ноги и гипса, но почти ничего не слышал. Слова отскакивали от твоего сознания, а предложения тянулись долго-долго, как тонкая кишка. Учитель читал медленно, растягивал слова, подчеркивал голосом самые важные места. Ты устал. Дрожала рука. Звенело в ушах,

в глазах рябило. Ты оглянулся украдкой по сторонам. Ученики аккуратно сложили руки на партах, тупо глядели на учителя.

Чтение кончилось.

— Ну, как? Поняли?

Класс молчал. Кто-то в заднем ряду неуверенно пробубнил:

— Поняли...

Учитель улыбнулся.

— Слушайте. Читаю второй раз.

После трехкратного чтения и пересказа класс принялся писать. Вокруг шумно засопели, закряхтели, нетерпеливо перебирая ногами под партами, заерзали. Скрипели перья. Шелестела бумага. Кто-то, едва написав строчку, мрачно рвал черновик.

Вошел директор. С грохотом откидывая крышки парт, вскочили дети. У кого-то покатилась ручка, у другого опрокинулся пузырек с чернилами. Полетели, кружась, листки. Директор, не повернув головы, прошествовал мимо парт к столу. Да, он не шел, как простые аульчане, а вышагивал, неестественно выпятив тощую грудь, чуть закинув голову. Азиз-агай кинулся к доске, начал поспешно стирать только что написанные им «трудные» слова. Другие мугалимы застыли, будто с испугу проглотили скалки.

Директор сел. Снова вразнобой хлопая крышками парт, сели и дети. Но никто и не думал писать. Уставились на директора. Он обвел всех цепким, колючим взглядом, чуть-чуть скривил губы. Потом откинулся на спинку стула, положил ногу на ногу и по слогам, бесцветным голосом произнес, скосившись на Азиз-ага:

— По-дай-те текст... Ког-да вскры-ли па-кет?

— Точно в девять.

Директор подозрительно взглянул на мугалима и принялся читать.

Почему-то не любили его в ауле. Но боялись все. Даже сам баскарма. Был директор сух, холоден, строг. Ходил неизменно в галифе и кителе. Правую руку закладывал за китель, левую, точно подбитую, прижимал, полусогнув, к боку. Говорил мало, голосом, лишенным каких бы то ни было интонаций. Будто вещал, цедил слова. Воевал он всего полгода, но вернулся с фронта с несколькими медалями и без большого пальца на правой руке. Иногда он выставлял на обозрение искалеченную кисть и говорил:

«Вы!» За этим «Вы!» следовала долгая, зловещая пауза, потом шла сакраментальная фраза: «Мы там священную кровь проливали, а вы тут...» И все сникали, немели, испытывая жуткий стыд и боль за потерянный в кровавой сече палец директора. Когда он говорил «Вы!», умолкал даже горлопан-бригадир, от которого не раз доставалось и самому создателю.

В ауле издавна каждый с каждым вступал в разговор запросто, когда заблагорассудится. Директор же разговаривал с людьми только в своем кабинете и в строго определенные часы. Аульные остряки злословили, что он даже жене дает указания только в своем кабинете после пяти вечера. Как-то жанаталапский пастушонок-сирота, приехав на попутной подводе в аул, бросился к директору прямо на улице:

— Агай, агай... примите меня в интернат. Вот заявление. Возьмите, а? Мне домой успеть надо.

Директор, выпятив грудь, продолжал шествие.

— Агай, я и справку принес. Вот! Возьмите. А мне обратно надо. Ягнята у меня без присмотра.

Директор остановился. Презрительно уставился на пастушонка.

— Слушайте, вы! По делам я принимаю в своем кабинете. Приходите в понедельник. От девяти до один-на-дцати. Все!

И пошел дальше. Неприступный. Холодный. Пастушонок остолбенел. И еще два года после этого нас единоличных ягнят в Жана-талапе.

Взрослые звали директора за глаза Барса-Кельмесом. Аллах знает почему. Вроде есть такой остров — Барса-Кельмес, что в переводе означает: «Поедешь — не вернешься». Называли директора так шепотом, оглядываясь по сторонам. Была у директора еще одна причуда. Время от времени он вызывал того или иного аульчанина в свой кабинет и напоминал ему все его большие и малые прегрешения. Вызванный переминался с ноги на ногу, виновато потупив глаза, а директор вышагивал от двери до окна и обратно и заканчивал свою речь неизменной формулой: «Смотри, дорогой... Я тебя мигом отправлю на Барса-Кельмес!»

— Пишите, пишите, дети,— сказал Азиз-мугалим.— А то не успеете.

Снова деловито застучали перья о дно непроливаек и пузырьков, зашелестели листки. «Барса-Кельмес» за-

стыл на стуле, скрестив руки, щупал глазами каждого ученика. Неподвижно сидели и мугалимы.

Ты положил ручку. Очень неудобно было лежать на боку, задрав правое плечо над партой. Пиджак под локтем все норовил выскользнуть. Рука дрожала. Ты изложил все, что понял, но получилось обидно мало. Украдкой взглянул на дядины часы: прошел всего час. Переписывать было рано.

Поднялся «Барса-Кельмес», одернул китель, прижал левую руку к боку и деревянной походкой направился к двери. Дети повскакали с мест.

— Садитесь,— облегченно сказал Азиз-мугалим.

Все сразу ожили. Мугалимы поспешили к своим ученикам. Со всех сторон посыпались вопросы.

— Агай, а куда лиса убежала?

— А дальше как, мугалим?

— Охотник домой пошел, да?

Азиз-мугалим подошел к тебе, поудобней подсунул под бок скатившийся пиджак, прочитал твое изложение и дописал два предложения.

— Можешь переписывать. Только не спеши.

И направился к следующей парте.

Вскоре резко распахнулась дверь, и опять вступил в класс «Барса-Кельмес». И опять вскочили ученики, а мугалимы, растерянные, поспешили к столу.

Директор сел. Скривил тонкие губы. Уставился на тебя. Смотрел почему-то долго, в упор, пронизывающе. Ты оцепенел, низко свесил голову, сжался весь, но всем телом чувствовал тяжелый, давящий взгляд «Барса-Кельмеса». Переборов знобкий страх, ты искоса глянул на директора, мгновенно вспыхнул, задрожал, с ужасом ощущая, что вот-вот оборвется что-то у тебя внутри и ты заплачешь. Неловко свисала нога в гипсе. Но шелохнуться ты не мог. Не смел. Тяжело билась кровь в пальцах ноги. Казалось, вся кровь хлынула в ногу и она опухает, чугунеет и невыносимо тесно ей в гипсе. Голова кружилась. Дрожь усиливалась.

— Х-хэ... Лежишь, значит, бедняга. Ни сидеть, ни стоять... Тяжелый гипс, наверное, а?

Ты быстро-быстро заморгал, не зная, как и что ответить.

— Я спра-ши-ваю: тяжелый гипс-то?

Вся кровь из ноги кинулась вдруг в голову. Во рту стало сухо.

— Да-а... пропал ты, бала, пропал... А бегал-то как? В одних штанишках, бывало, в пургу, в мороз по аулу мотался... Собаке не догнать было.

Все в классе повернулись к тебе. Но ты уже ничего не видел. Только чувствовал, как растет, непомерно увеличивается, точно надуваемый шар, голова. Ты будто оглох. Стало тихо. Тихо до тошноты. Ты больно закусил губу, тряхнул головой. И опять слова, ласковые, жалостливые, закапали, точно ржавая вода со школьной крыши.

— Весна вот... теплынь... травка... Ребята играть пойдут... мячи гонять... рыбу удить. А тебе, несчастный ты разнесчастный, лежать да лежать... Такой маленький, а уже калека...

На крышку парты капнула слеза. Задергалось острое мальчишечье плечо. Ты до крови закусил нижнюю губу и судорожно глотал слезы. Жалость и сострадание медленно убивали тебя. И ты замер: сейчас, сейчас... сорвешься в пучину. Большая, крепкая ладонь мягко коснулась твоей головы. И это удержало тебя на краю пропасти. Из класса торопливо вышел Азиз-мугалим. Ученики потянулись к столу, начали сдавать изложения.

Ты даже не заметил, когда ушел «Барса-Кельмес». Зашел вместе с мугалимом дядя Иван, отчего-то бледный, растерянный. Тихо спросил:

— Написал?.. Справился?..

Ты кивнул. Азиз-мугалим приподнял тебя, Иван подставил спину, ты обеими руками ухватился за его щуплые плечи.

Кончился первый государственный экзамен. И невдомек тебе тогда было, сколько их, экзаменов, будет еще впереди. Оказывается, вся жизнь человека — сплошной экзамен.

Сияло солнце. Безумствовали воробьи. Зеленела не тронутая пылью травка. Возле школы сновали озабоченные ученики. Дядя Иван, низко сгибаясь, торопливо шел и хриплым голосом просил: «За плечи... за плечи держись. Не дави на горло-то...»

Кружилась голова. Ныло в груди. Кровь снова вся кинулась в ногу, билась, пульсировала тяжело, будто хотела взорвать гипс. Ты обессиленно закрыл глаза. Скрестив руки на груди и положив ногу на ногу, на тебя пронзительно смотрел директор. Жалостливая ухмылка бродила на его лице. Впрочем, лица не было. Был нос, рот, подбородок, была усмешка, ухмылка, брезгливая,

жалостливая, уничижительная, а вот лица почему-то не было. И говорил «Барса-Кельмес» убийственно ласковые слова.

8

На исходе третьего месяца после операции Карлсону сменили гипс и освободили здоровую ногу. И хотя событие это было, несомненно, радостное, оно ведь приближало к желанной поре возрождения, все же было непросто привыкнуть к новому положению. Нога не сгибалась, мышцы немели, что-то привычное нарушилось: больно легким стало тело, и эта легкость почему-то не доставляла удовольствия. Самое скверное, однако, было то, что два дня кружила настоящая метель, а потом ударили морозы, в палате стало холодно, и новый гипс не высыхал, больная нога, вмурованная в него, мерзла отчаянно, превратилась в ледышку, и не было никаких сил согреться. Первобытный холод, точно замораживающий душу страх, проникал в каждый закоулок существа. Не помогали ни второе одеяло, ни грелки, ни горячий чай. От мокрого гипса пробирало до костей, и Карлсона тряс озноб. Надо было терпеть, пока толстый гипс не высохнет от тепла тела. Зябли даже кончики пальцев, уши; холод проникал в мозг, и невозможно было отделаться от мысли, от сумасбродного искушения вылезти, выкарабкаться каким-то образом из ледяного панциря и окунуться в кипяток хотя бы на мгновение, чтобы выгнать железную стужу, сковавшую тебя до последней клеточки.

Но верно говорят казахи: «За три дня человек и к аду привыкает». Через неделю гипс высох. Тут и морозы сломались. Литератор приободрился, научился без посторонней помощи поворачиваться на бок. И даже подтягивал здоровую ногу к животу и испытывал небывалое наслаждение оттого, что мог щупать, гладить заметно увядшие мышцы под шелушившейся кожей.

Но главная радость была в том, что теперь чаще вывозили на каталке в коридор на свидания, а то и просто так, для разнообразия. После осточертевшей палаты, где была изучена каждая трещинка на потолке, каждое пятнышко на стене, коридор с его многочисленными закоулками, окнами, дверьми по обе стороны, шумом, суетой казался огромным миром, в котором происходили удивительные события.

Расширился круг знакомств. Няньки и медсестры охотно делились с литератором своими семейными и личными неурядицами и горестями. Любопытными собеседниками оказались обычно озабоченные, не в меру строгие врачи. Ходячие больные тоже льнули к нему, с нарочитой небрежностью, с горестной ухмылкой рассказывали про свою нескладную жизнь.

Сухолицый, рано полысевший бухгалтер из Мангышлака, человек суровый и молчаливый, как-то поведал все мытарства, выпавшие на его долю, и грустно заметил:

— Знаете что?.. Говорят, когда один бедолага начал сетовать на всевышнего, тот чистосердечно признался: ну, что же вы, людишки, от меня хотите? Ведь и у меня нет никаких лишних благ, хотя я и всесильный. Я только и делаю, что перераспределяю между вами те блага, которыми располагаю. Сегодня — тебе, завтра — другому... Мудро сказано, не так ли? Я, конечно, понимаю: все счастливыми, удачливыми, везучими быть не могут. И моя доля — это моя доля, какая бы она ни была. Мне только немного грустно оттого, что мир обходится без меня.

— Вздор! — сказал литератор.— Мы все едины, живущие на земле. И счастливые, и несчастные, и больные, и здоровые. Никто друг без друга не обходится. Это просто немыслимо, невозможно.

Особенно подружился литератор с Шукуром. Вечерами, когда врачи уходили, а добрая Светлана Николаевна приступала к дежурству, Арвига Эрнстовича по его просьбе отвозили на каталке в восьмую палату. Так, лежа рядом, один — на каталке, другой — на кровати, они подолгу беседовали.

— Ну, опять завели свое ля-ля-ля,— ухмылялся Шайко.— И о чем только гутарите? Откуда столько слов, в рот вам дышло?!

У Шукура и Карлсона оказалось много общих знакомых среди писателей, журналистов, композиторов, работников радио. К тому же Шукур обнаружил большую начитанность и собственный взгляд на вещи.

Поразительно схожим было их детство, несмотря на некоторую разницу в годах. Один вырос в Северном Казахстане, другой — на юге, но много общего оказалось в судьбе, характерах земляков, аульной жизни, быте, детских забавах и играх. Вспоминая все это, они как бы открывали друг друга. И детство у обоих круто оборвалось в двенадцатилетнем возрасте. Один упал с верблюда, другой с

коня. Но к Шукуру судьба оказалась более жестокой.

В последнее время состояние Шукура неуклонно ухудшалось. Операция на позвоночнике прошла, как говорили, благополучно, и, казалось, теперь осталось только «вылежать» срок. Но тут начало шалить сердце, пошли частые нелады с почкой, с легкими, с желудком, появилась необычная слабость, по утрам он еле нагревал градусник до отметки тридцать пять. Шукур так ослаб, что уже не пел, а только что-то мурлыкал иногда, вяло перебирал струны гитары или чуть-чуть пощелкивал по струнам домбры. В споры с Шайко и вовсе не вступал, как бы тот его ни провоцировал. Должно быть, и врачи почувствовали что-то недоброе. Всё чаще приводили к нему знаменитостей из других отделений и институтов. А Вера Леонтьевна тихо сказала как-то, присев ненадолго возле кровати Карлсона:

— Плохо с Шукуром. Навещайте его по возможности. Дружеское участие, доброе слово так важны.

— «Три оружия есть у врача: слово, растение, нож»,— торжественно изрек Подтыкайло.

Вера Леонтьевна устало посмотрела на него.

— Опять Салернский кодекс здоровья цитируете, Василий?

— Нет. На этот раз «Канон врачебной науки» самого Авиценны.

— О! Хорошо сказано. Ножом сейчас научились орудовать. И травами вновь увлекаемся. А вот со словом нынче врачи не в ладу.

— Не только врачи, Вера Леонтьевна,— заметил литератор.

Вечер. Подкрадывается обычная больничная скука после ужина. Уже позади все вечерние процедуры, день, можно считать, на исходе, но спать еще рано. Каждый по-своему коротает эти особенно тягостные часы.

Няня Нелля с разрешения дежурной сестры повезла литератора в восьмую палату. В сумраке коридора, возле фикуса у окна, стоят, повиснув на костылях, Андрей и Сауле.

— Добрый вечер, Арвиг Эрнстович!

— Вечер добрый, молодые люди! Как настроение?

— У меня бодрое,— смеется Сауле, поблескивая черными глазами.— А у Андрея — кислое...

— Не вешать носа, Андрей, перед дамой!

Андрей грустно улыбнулся. Ему вскоре предстоит повторная операция, после которой его ожидает «лежка» месяцев на шесть, а Сауле через месяц выписывается. В институте она пробыла полтора года, и за это время все успели полюбить эту улыбчивую, общительную девушку. Едва научившись передвигаться на костылях после операции, Сауле как-то сразу вникла во все подробности институтской жизни: в день по два раза обходила палаты, со всеми перезнакомилась и подружилась, помогала сестрам заполнять ежедневный температурный лист, одних больных утешала, других — журила, заглядывала в детское отделение, затевала с малышами всевозможные игры. Андрей, бывший спортсмен, рослый, русоволосый, тонколицый парень, года два назад попал в автомобильную аварию. Правую ногу врачи кое-как собрали по косточкам, и, казалось, все беды уже позади. Андрей всерьез подумывал о тренировках, как вдруг обнаружился туберкулезный очаг в тазобедренном суставе. В институт Андрей попал подавленный, разуверившийся во всем. Тут-то и сказалось целительное свойство общительной натуры Сауле. Она навещала Андрея каждый вечер, бог весть о чем беседовала с приунывшим парнем и понемногу растормошила его, вдохнула в него веру. Дружба очень быстро перешла в любовь, и о ней знали все в институте. Няни и сестры гадали: чем все это кончится? Светлана Николаевна высказалась категорично и парадоксально: «Ничего не выйдет! У них настоящая любовь, а настоящая не бывает счастливой». Няня Нелля сокрушалась: «Жаль... Такие милые». Помехой их счастью считали и то, что Андрей был чуть моложе Сауле, а у нее оказался ребенок от кратковременного неудачного брака. Судили-рядили в институте по-разному, а Андрей и Сауле ничего не замечали, не слышали, вечерами подолгу простаивали у кадки с фикусом возле окна, переживая скорую разлуку.

В восьмой палате шумно встретили появление каталки с Карлсоном.

— О, литература прибыла! — осклабился Шайко.

— Ну, теперь Шукур повеселеет.

— Добрый вечер!

— Ассалаумагалейкум, Ареке!

Трое лежачих с помощью палок и бечевок ухитрились сдвинуть кровати возле Шайко и резались в карты. Еще трое смотрели хоккей по телевизору. Шукур лежал

безучастный ко всему, сильно откинув назад голову и вытянув худые, землистые руки поверх одеяла. Поза его не понравилась литератору.

— Какая ставка? — спросил он у картежников.

— Человеческая глупость,— ответил Шайко.

— А-а... К сожалению, она дешево стоит.

— Зато дорого обходится.

Литератор рассмеялся и внимательно посмотрел на Шукура. Вид у того был никудышный. Щеки запали. Кожа на скулах натянулась. На лице выступили лиловые пятна. Здоровый глаз жутковато поблескивал. Шукур дотронулся до руки литератора, сделал жест, чтобы он придвинулся ближе, и шепотом спросил:

— Слушай... ты когда-нибудь о смерти думал?

Карлсон опешил. Ему стало не по себе от отрешенно-строгого взгляда, которым смотрел на него Шукур.

— Бог с тобой, ты о чем?

— Отвечай... только честно.

— Ну, случалось... И, полагаю, человеку вообще нелишне думать иногда об этом. «Мементо мори!» — напоминали древние. А они, как известно, были мудрецами.

— И как?.. Страшно?

Как ни неприятен был этот неожиданный разговор, литератор понял, что Шукуру, может быть, впервые так плохо, что его тяготит дурное предчувствие, а потому надо ответить прямо и искренне.

— Разумеется, ничего радостного в таких думах нет. Однако это неизбежно. Человеку потому и дано сознание, чтобы он обо всем думал...

Шукур закрыл глаза. Задышал быстро-быстро, со свистом, хлюпаньем. Острая грудь выпирала из-под одеяла. Жилы на истощенных руках взбухли, казалось, лопнут.

— А перед операцией ты что-нибудь написал?

— Завещание, что ли? — деланно рассмеялся литератор.

— Не знаю что... Ты же ведь все время что-то шкрябаешь в карманной книжке.

Карлсон ответил не сразу. Потом достал из-за пазухи плотный, как кирпичик, самодельный блокнот, полистал, нашел нужную страничку.

— Читай, если интересно.

Шукур дрожащими пальцами поднес блокнот к глазу, зашевелил губами:

— «30 января. Вечер. Идет снег. Завтра с утра ничего

записать не смогу. Сделают укол и почти уснувшим повезут меня в операционную. Если, вопреки всему, случится непоправимое, все сделать тихо, скромно, без надрыва. Всего хорошего родителям, сестрам, дочери, жене, близким и знакомым. Завещания писать не стану: в моем «наследстве» разберутся. Бисмилля!»

Шукур вернул записную книжку, задумался. Оба молчали.

— Ур-ра-а-а-а! — завопили трое, смотревшие телевизор. Хоккеист, забивший шайбу, раскинул руки и несся по льду в неуемной радости, будто жена его разродилась только что сыном. Остальные из его команды бросились всей гурьбой к нему, целовали, обнимали, тискали, тормошили счастливца и, наконец свалив его на лед, устроили кучу малу. Комментатор, охрипший от волнения и счастья, выкрикивал восторженные слова об «авторе гола», выведшем команду вперед и тем самым еще раз доказавшем бесспорное преимущество отечественной хоккейной школы.

— А я твоего паршивого короля покрою дамой! — объявил Шайко и от избытка чувств дурашливо запел: — «На курорте я была, на кило поправилась...»

Шукур поморщился.

— Помнишь, случай с Джамбулом? — спросил еле слышно.— К нему, больному и опечаленному, пришли друзья-поэты, стали утешать: дескать, ничего, Жаке, еще поправитесь. А он им ответил: «Нет, детки. Все... Мне приснилось, как от меня ушел мой тигр. Я кричал ему: «Вернись, вернись!» А он даже не оглянулся, исчез за перевалом. И я понял: умру». Старый акын, оказывается, всю жизнь верил, что в нем сидит бесстрашный и могучий тигр.

— То Джамбул. И было ему почти сто лет. А тебе...

— Да-а...— Шукур облизнул сухие, лиловые губы. Веко незрячего глаза мелко-мелко задергалось-задрожало, а здоровый глаз немигающе уставился в потолок.— У меня, конечно, нет тигра, а если и был, то он еще в зародыше издох от туберкулеза... но на днях ночью проснулся и вдруг такое ощутил, будто смотрю на все с другой планеты... не могу словами выразить... и догадался: конец.

— Брось, Шукур. Дурацкий разговор ты сегодня затеял...

— Понимаю: нехорошо... Но что поделать, если думы мои сейчас все время вокруг э т о г о крутятся? — Шукур

чуть-чуть приподнял голову, но тотчас вновь уронил ее на подушку.— Знаешь, очень хочется быть в родном Туркестане... и чтобы лето было... Полежать возле речки, вдохнуть горький запах полыни, увидеть клубящуюся у горизонта пыль... у нас ведь и пыль особая... услышать ржание жеребенка... Но до лета не дотяну. Лежать же зимой в затхлой комнате и видеть убитую горем мать — тяжко. Она вся изболелась за меня... всю жизнь, понимаешь?..

Шукур опять умолк, прикрыл глаза. Сухие, длинные пальцы нервно теребили одеяло.

— Мне бы, Ареке, закончить последний кюй. Он будет называться «Прощание». Прощание с мечтами, с друзьями, с родным краем... с жизнью. Кюй в душе почти сложился. Из трех частей. И будет он — представь себе! — очень мажорный, светлый. Только вторая часть — грустная, трагическая... как реквием. Надеюсь, кюй мой можно будет оркестровать... расписать для струнного оркестра Курмангазы.

— Напишешь, Шукур, все так и будет.

— Да сбудутся твои слова, Ареке! Других желаний у меня нет.— Улыбка мелькнула на застывшем лице Шукура. Запавшие щеки покрылись пятнами.

Впорхнула в палату Светлана Николаевна. За ней — хруп-хруп огромными резиновыми сапогами — ввалилась няня Нелля.

— Аудиенция окончена, господа,— с обычной насмешливостью объявила сестра и быстрым взглядом скользнула по Шукуру.— Вот-вот заглянет дежурный врач. Абуталиб Аскарович беспорядка не любит. Так что отвезем вас, Арвиг Эрнстович, домой.

— Спасибо! — прошептал Шукур.

— Ал, жаксы. Сау бол! Кюй свой сочиняй, а о плохом не думай.

Шукур вяло махнул сухой кистью. Каталка на мягких резиновых колесиках бесшумно покатилась по длинному сумрачному коридору.

9

— Ага! То-то же! Раз... еще раз!..

Сейчас ты чуточку отдохнешь, успокоишь дыхание и поднимешь планку еще на два сантиметра. Надо ставить перед собой большие, даже непосильные задачи. В человеческом организме, утверждают знатоки, всегда скрыты

неведомые резервы. Человек чаще всего даже не подозревает, на что он способен. Надо дерзать, меньше всего считаясь со своими физическими возможностями. Главное — всесильная воля, а организм, презренная плоть твоя, черт бы ее забрал, пусть приспосабливается к перегрузкам и выявляет свои тайные ресурсы. И никакой умеренности! Умеренностью никто, никогда, нигде ничего не добивался. Можно, конечно, уподобиться черепахе и жить умеренно, есть-пить умеренно, любить умеренно, умереть умеренно. Это удел благополучных, довольных и здоровых. Им следует дрожать за свое здоровье. А тебе-то терять нечего, приобретешь же... Что приобретешь — тоже тайна за семью замками.

Хорошо в твоем заповедном уголке! Весной Иван оставил в конце огорода нераспаханным небольшой клин, навез песку, соорудил шалашик, покрыл его толем, посадил вокруг акации и объявил: «Это и будет твоим курортом». Была тайная надежда: в тиши и уединении, на солнышке, на горячем песке, на свежем воздухе, максимально ограничивая движения, при хорошем питании ты за летние каникулы поправишься, окрепнешь и, возможно, даже сможешь наступить на больную ногу. Такую надежду вселил проезжий врач.

И ты уже два месяца жил такой о г р а н и ч е н н о й жизнью. Целыми днями жарился на солнцепеке, до одури читал все, что находилось в ауле, разыгрывал шахматные партии, мусолил истрепанный учебник Ласкера, вклеивал в амбарную книгу портреты бесчисленных лауреатов Сталинских премий, распределяя их по степеням, изнывал от скуки и считал дни, оставшиеся до начала нового учебного года.

День в твоем одиноком райском уголке тянулся вечность, и ты уже чувствовал, что до осени тебе с костылями не расстаться, что п р о ц е с с (слово это уже несколько лет склонялось в семье на все лады), если и затихает, то слишком медленно, несмотря на все благодеяния, заботы, предостережения и ограничения.

И надо же было в эти томительные летние дни заехать в аул замурзанному районному киномеханику. До утра показывал он в школьном коридоре — с бесконечными обрывами, путая части, то и дело перематывая ленты, подолгу заводя движок, который часто захлебывался в кашле, как старый легочник, копаясь в киноаппарате, соединяя какие-то провода, бормоча ругательства — новый

фильм, к твоей радости и беде. Фильм тебя потряс, ошеломил. Человек без обеих ног, на протезах, преодолевая адскую боль и бесконечные неудобства, ходил, бегал, плясал и даже летал на военном самолете. Он все вынес, все выдержал, все переборол и победил, потому что был настоящим человеком.

А у тебя одна нога совершенно здоровая и вторая еще своя, без протеза, только усыхающая, атрофированная, пораженная процессом, и ты уже столько лет маешься, канючишь, прозябаешь в неподвижности, дышишь кислородом, пьешь молоко, греешься на солнышке и ждешь, ждешь, когда он, этот самый треклятый процесс, затухнет. Тюфяк и мямля ты, а не настоящий человек! И если ты не будешь двигаться, дерзать наперекор всему, значит, век тебе валяться в этом раю, устроенном добрым дядей.

Спасение — в движении. И только!

Та-ак... Двадцать раз отжиматься от земли, резко подняться, костыли под мышки, сделать три размашистых шага и, воткнув кончики костылей в песок, пружинисто перекинуть тело через планку. Есть! Надо стараться упасть корпусом вперед, грудью в песок, а то выскочат костыли из-под мышек и грохнешься на спину. У самой кромки песочницы важно не терять инерцию, нужно добиться отлаженности в движениях, довести все до автоматизма: раскачавшись на костылях, выпрямить руки, оттолкнуться, подхватить уже в воздухе здоровой ногой больную, чтобы не болталась, перекинуть тело через планку и удачней, помягче приземлиться. Бух! Аж звон в ушах. И искры из глаз.

Чепуха! Настоящему человеку было труднее и больнее во сто крат.

Силенок совсем мало, но отступать нельзя. Задача на сегодня: прыгнуть на костылях полтора метра в длину и хотя бы метр в высоту. Иначе не стать тебе настоящим человеком.

— «Мы рождены-ы-ы, чтоб сказку сделать бы-ылью!» — горланишь ты, подбадривая, подзадоривая себя, и прыгаешь. Раз! Еще раз! Десять!

Руки дрожат. Коленка давно ободрана до крови. Ерунда! Смелее!

— Дох фюр унс гибт ес кайн кляген[1]...— четко, в

[1] Строка из популярной антифашистской «Песни болотных солдат». Смысл: «Но просить пощады мы не станем...»

такт марша, стиснув зубы, поешь ты и прыгаешь.— Ух! Ч-ч-черт!.. Еще, еще! Двадцать!

Солнце печет. Тихо, безлюдно в ауле. Петух на заборе, недоуменно озираясь, никак не решится закукарекать. Неистовство тщедушного подростка на костылях пугает его и недоступно его петушиным мозгам. Вывалив розовый язык, осуждающе смотрит на тебя и пес Шарик в тени под кустом. И ему, все понимающему псу, не понять, как трудно стать настоящим человеком.

— Лагнат булты шатырлап[1]...— грозно, с вызовом декламируешь ты, из последних сил вскидывая на костылях уже непослушное, обмякшее тело.— Ой, больно как... Тридцать!

В изнеможении падаешь в песок, откинув костыли, как подбитые крылья.

— Арабек-ей!.. Арабек... Ты что, рехнулся? Дурной что ли,— на костылях прыгать?

У изгороди стоит шустроглазая Багира, соклассница, с коромыслом на плече и двумя ведрами: видно, за обратом направилась на ферму, айран заквашивать. Стоит за плетнем, глазами зырк-зырк, губы вздрагивают в усмешке. Завтра же растрезвонит на весь аул о проделках выдумщика Арбека. Разве ей, насмешнице, объяснишь, зачем тебе понадобилось подвергать себя такому испытанию?

— Хочешь быть, как настоящий человек, да? Как вчера в кино, да?

У тебя нет сил ей ответить. Сердце застряло в горле. В животе что-то дрожит, покалывает. Язык словно распух. Руки как плети. Нет мочи даже до костылей дотянуться.

Багира, как аульные молодки, цокает языком и, гремя ведрами, удаляется в сторону фермы.

К утру тело твое будто налилось свинцом. Нога распухла. Поясница одеревенела. Боль вновь ожила.

Через несколько дней, когда ты, синий от боли, пластом лежишь на тюфяке, аульный фельдшер приведет районного хирурга. Тот будет долго щупать твою воспалившуюся ногу холодными пальцами, качать головой, хмуриться. «Строгий постельный режим! Месяца на два-три...» — доносится до тебя очередной приговор.

Неужели мудрость жизни все же в умеренности?

А как стать настоящим человеком? Как?!

---

[1] «Пусть ударит гром проклятья...» Строка из стихотворения Султанмахмута Торайгирова.

10

Шукур умер весной, сырым, сумеречным вечером. Ничто не предвещало беды. Казалось, и на этот раз несокрушимый туркестанец выстоит, выдержит тотальную атаку всех своих многочисленных болезней. Был он спокоен, и Карлсону чудилось, что Шукуру неловко за тот разговор. О нем старались не вспоминать. И даже о том, как идет работа над кюем «Прощание», литератор не осмелился спрашивать. Не говорил об этом и Шукур.

За это время в отделении произошли некоторые перемены. Сауле выписалась и присылала каждую неделю письма с длинным перечнем приветов. Видно было: еще не привыкла к той, вольной жизни, все еще живут в ней больничные заботы и тревоги. Понятно: полтора года физического и душевного напряжения из сознания не вытравишь. Андрея прооперировали вторично и, как говорили, очень удачно. Подтыкайло убедился, что нога его медленно, но верно удлиняется. Литератора подняли, и он теперь — все еще в гипсе — ковылял понемногу на костылях. По утрам город затягивали непроглядные туманы, но все заметнее слышались весенние запахи, и Светлана Николаевна обещала через неделю порадовать литератора веткой сирени.

Был обычный больничный вечер с обычными хлопотами. Врачи ушли. Приступала к работе ночная смена. Внизу уже гремели посудой: приближался ужин.

Карлсон совершал моцион: постукивая костылями, осторожно пробирался вдоль стенки по коридору. Возле кадки с фикусом стояла каталка, и под простыней бугрилась знакомая фигура. Литератор с усилием дотащил себя на костылях.

— Оу, дорогой, ты почему здесь?

Шукур поманил пальцем и совершенно внятно прошептал: — Все, Ареке... умираю.— Лицо его сливалось с сумраком. Веки были опущены. Чуть-чуть шевелились только пальцы.

— Что ты, баурым, мелешь?! — Литератор наклонился к его губам и услышал слабый выдох:

— Конец... как просто...

Карлсон отшатнулся и прислонился спиной к стене. Слабость ударила в ногу, и отчего-то замутило.

— Сестра! — крикнул он срывающимся голосом.— Сестра! Надежда Ивановна-а-а... Дежурного врача скорее!

В том конце коридора послышались шаги, замелькали тревожные тени. Из палат выглянули ходячие. Развевая полы халата, отводя по привычке руки в сторону, спешил на помощь вездесущий Павел Петрович...

Все было так, как всегда. Не стало только Шукура.

Смерть его потрясла отделение. Палаты притихли. Няня Нелля громко сморкалась, вытирала фартуком глаза и всем в который раз рассказывала:

— Зашла я в палату, а он, сердешный, подозвал меня, улыбнулся вроде как виновато и говорит... Я подумала, судно ему надо, а он говорит: «Няня Нелля,— говорит,— вывезите меня в коридор...» Я говорю: «Ты что, голубчик, ужин ведь скоро», а он настаивает: «Вывезите, пожалуйста, так надо...» Видно, чуял, бедный, смертушку-то... А на глазах ребят умирать не хотелось. Ой, горе!

Врачи говорили о настоящем мужестве и достоинстве. Директор института на пятиминутке произнес трогательную речь:

— Он сражался до последнего. Исчерпал все жизненные ресурсы. Он был герой!

Несколько дней Арвиг Эрнстович не показывался из своей палаты. Стоял, опершись на костыли, на балконе. Сияло солнце, и горы открылись во всем своем величии. Под балконом деловито вышагивали скворцы. Со стороны кинотеатра доносилась музыка.

Жизнь продолжалась. Не было только Шукура.

Как-то литератор заглянул в подростковую палату. Там недавно появился любопытный юнец, тоже с кокситом, заядлый шахматист и книгочей. Это была шумная, озорная палата, и литератор жалел, что не познакомился с подростком раньше. Они редко говорили о своих болезнях, горестях, предстоящих или прошедших операциях, казалось, даже не всегда сознавали, что находятся в хирургическом отделении, где многим предстоит лежать без движения месяцами. Говорили они много, шумно, спорили азартно, по всякому поводу.

Литератор поневоле застыл у двери подростковой палаты.

— Ты, шнобель, главное не трясись: если даже все исчезнет на земле — тараканы останутся. Их никакой Пентагон, никакая термоядерная бомба не истребит.

— И мух.

— И ворон.

— И туберкулез.

— Ну, тэбэцэ, положим, когда-нибудь прикокнут.

— А тараканов, мух и глупость — никогда!

— Ха-ха-ха! Твоя глупость, шнобель, бессмертна!

— Значит, и жизнь будет продолжаться.

— Точно! От тараканов, мух и ворон пойдет новое человеческое племя. Непохожее на нас.

— Само собой: мы ведь от обезьяны произошли. Вон посмотри на Фатыха. Ничуть не усомнишься.

— Ахмак![1] Сам обезьяна. Крокодил!

— Не знаю, кто как, а я не хотел бы происходить от таракана.

— А кто тебя спросит? Произойдешь как миленький и будешь шнырять по щелям, усами шевелить.

— Ему, кстати, пойдет. Видишь, рыжие усики уже пробиваются?

— Заткнись, мушиный потомок! Ты будешь над навозной кучей кружиться.

— Балда! Откуда навоз? Я лучше на заборе вороной каркать буду.

Литератор усмехнулся: «Совсем еще дети. Может, выкарабкаются отсюда без душевных потерь и надлома. Дай-то бог!»

В восьмой палате кровать Шукура была тщательно застелена: со дня на день ожидали нового пациента. Шайко, выставив из-под одеяла огромную, в гипсе, ступню, громко рассуждал:

— Не знаю почему, но не жаловал я Шукура. А теперь, когда его не стало,— пусто. Ей-богу... Все же от него какой-то свет исходил, и что-то осталось от него. Песни его поют. Людская память осталась. А что останется от меня? Корова, две свиньи, халупа да баба с двумя дочками. Вроде хорошо. Что еще надо? Не хуже других. А вот откину копыта — корову тут же, на хрен, продадут... Кому охота с ней валандаться? Свиней сожрут, жена найдет себе хахаля, если уже не нашла, в рот ей дышло, дочки подрастут — замуж повыскочат. А Шайко никто, к хвигам, не вспомянет. Слонялся, скажут, паразит, по больницам, государственные харчи переводил, пока туберкулез его не слопал...

— По-твоему, Шукуру было легче оттого, что ничего не имел? — спросил тихий бухгалтер.

— Тому, кто ничего не имеет, всегда легче.

---

[1] Дурак *(каз.)*.

— Хм-м... пожалуй. С такого какой спрос? Еще легче, если и за душой ничего не имеешь.

«Философы»,— ухмыльнулся Карлсон. В ординаторской няня Зина, играя нечистыми глазами, рассказывала Светлане Николаевне очередной свой роман. «А он говорит... такой шельмец, такой чудак... говорит... разреши, Зинулечка, прижаться к вашим... ой, мамочка, со смеху умру... к вашим... этим... холмам радости». Изумленный голос Светланы Николаевны: «Господи! Это еще что такое?!»

У каждого свои заботы. Только у Шукура уже не было никаких забот...

11

— Арвиг, мой сын, выслушай меня хорошенько.— Мама, уронив руки на колени, умоляюще посмотрела на тебя, и ты будто только сейчас увидел, как она осунулась за последнее время, пока ты получал аттестат об окончании средней школы.— Сам подумай, майн либер, ну разве можно тебе сейчас в дальний путь? Посмотри на себя: кожа да кости. Ослабел-то как: молока выпил — и кровь носом... Да еще на костылях. Свищ едва-едва затянулся. Погубишь себя, ой, погубишь...— Глаза мамы заблестели, и у тебя сжалось-замерло сердце: слез ее ты не выносил.— Послушайся меня, Арвиг. Хотя бы годочек потерпи. Тебя возьмут секретарем в аулсовет. Или библиотекарем. Или лаборантом в школу. Окрепнешь... а там видно будет.

Тихо, томительно тихо в доме аульного кузнеца Ивана.

Ну, как... как объяснить маме, какие сладкие мечты взлелеяны в твоей душе звездными майскими ночами на сеновале... звездными тихими ночами, когда безумствовала потерявшая счет времени кукушка в зарослях Ишима и отрешенно-фатально ухал филин. Ах, как славно куковала майская кукушка, волнуя твое сердце, навевая причудливые видения, обволакивая неизъяснимой истомой, суля тебе неведомое счастье и бесчисленное количество лет жизни! Как убедить маму, что нет для тебя большего горя, чем оказаться на пепелище враз разбившихся надежд смириться с тем, что тебе недоступно то, что доступно другим, смириться со своей убогой, бескрылой долей и отстать от сверстников, уже разъехавшихся по далеким, манящим городам? Неужели невдомек маме, что сдаться на милость треклятой болезни — значит проявить малодушие,

признать свое поражение? «Потом видно будет...» Нет, не будет этого «потом», не будет. Кто-то упорный, яростный сидит в твоем тщедушном теле и нашептывает, нашептывает: «Потом будут только досада и раскаяние. Смалодушничаешь сейчас — пропал...»

Тихо летним вечером возле кузни. Тихо в доме. Невыносимо тихо.

— Упрямый ты...— вздохнула мама, и ресницы ее растерянно затрепетали.— Весь в отца... Поступай как знаешь... Может, судьба...

Мама вышла, а Иван, по обыкновению потирая шершавые, сплошь в мозолях руки, подытожил:

— Решение принято. С утра отвезу тебя на грейдер. Посажу на попутную машину.

...Выехали рано. Все пожитки сложили в полевую сумку: чемодан, даже маленький, понятно, на костылях не унесешь. Мама, суетясь, настояла-таки взять на дорогу еще сверток со свежеиспеченными брецелями.

Туман, клубясь, прижимался к траве, прятался в кусты тальника. Из-за косогора величаво выкатывалось солнце, выкупанное обильной росой. За колесами одноосной арбы оставался ровный темный след.

— Видишь, как старик-то наш чешет? — хмыкнул Иван.

Мерин шел бойко, плавно, поблескивая гладким, круглым крупом. Лет восемь назад, вконец разуверившись в зловредной колхозной кляче, баскарма передал ее Ивану. Мосластый, с тощим обвислым задом, весь грязный, в струпьях, изъеденный осами, со свалявшейся гривой, с желтыми злыми и слезящимися глазами, сивый мерин и впрямь производил удручающее впечатление. За долгие годы войны его так заездили на колхозной работе, что мерин еле волочил костлявые ноги и обозлился на весь род людской. Он был не только строптив — с ним не было вообще никакого сладу. Он мог заартачиться вдруг ни с того ни с сего, на полпути, самым неожиданным образом, и тогда невозможно было сдвинуть его с места. Едешь за водой — до колодца трусит послушно, как и подобает рабочему коню, а на обратном пути застынет вдруг, хоть палкой по голове лупи. Едешь с дровами или сеном — километра за два до аула встанет, хоть плачь, как вкопанный, и никогда не знаешь, сколько он будет так стоять. Повез однажды фельдшер Давид Павлович роженицу в район, а за первым леском сивый мерин

раздумал вдруг ее везти. Фельдшер с испугу кормил мерина гематогеном, надеясь улестить вредную животину таким редким лакомством. Гематоген мерин съел, но с места не сдвинулся. Между тем у роженицы начались схватки, и фельдшер принял роды прямо в лесу. В его честь счастливые родители назвали скуластого мальчонку Давидом, а аульчане добавили к его имени определение — Лесной. Так и появился в ауле новый житель — Лесной Давид.

Сивый мерин стал горестной легендой во всей округе. Бабы в слепой ярости били его коромыслами. Мужики, озверевшие от его выходок, нещадно стегали камчой — на тощих боках оставались кровавые рубцы. Дети хлестали прутиками из последних сил. Тщетно! Сивый мерин мог стоять, закрыв глаза и расставив ноги, часами. И когда, обложив всю его лошадиную родню до седьмого колена, иной незадачливый ездок устало вытирал пот, мерин вдруг как ошпаренный рвался с места, вскидывал ногами и опрокидывал арбу с поклажей, пугая прохожих своим неистовством, или сбрасывал, как куль с картошкой, потерявшего бдительность седока. В ауле поговаривали, что в мерина вселился шайтан. Такого и на бесбармак не пустишь: жилы мерина и собаки не угрызут. Как же быть? Не приведи аллах, эта взбесившаяся скотина еще кого-нибудь покалечит. И на съедение волкам не отдашь: в колхозе каждая четвероногая тварь на учете. Баскарма, подумав, решил отдать мерина на время Ивану. «Ты же кузнец. Железо, как тесто, мнешь. Может, и эту стерву переделаешь».

Мерин и на Ивана косился долго. Сердце коня ожесточилось. Он ничему не верил: ни словам, ни ласкам, ни уходу. Вытворял бог знает что. Откровенно издевался, мстил за все свои былые несчастья и унижения. Дважды на полном скаку застывал, пропахивая копытами землю; застывал, как мертвый, далеко сбрасывая с себя, через голову, Арвига. Один раз бедняга ушибся так сильно, что три дня не мог наступить на ногу, а потом еще полгода его тошнило. Может, те падения слякотной осенью на разбитую дорогу и были началом затянувшейся болезни? А может, простуда? Или скудные харчи? Или, скорее всего, все вместе. Иван тогда так огорчился, что в сердцах прогнал мерина со двора, дав ему напоследок пинка, и перестал на него обращать внимание, называя его не иначе как «неблагодарная тварь». И каково же было удивление куз-

неца, когда однажды, копаясь в лобогрейке, он почувствовал, как кто-то осторожно тычется ему в плечо. Иван обернулся. Сивый мерин виновато потерся мордой о его грудь, ластился, пофыркивал, и дядя потом уверял, что в это мгновение заметил в желтых глазах коня настоящие слезы.

С того дня мерина как подменили. А через год он превратился в ладного, статного, с гладкой шерстью коня. Баскарма обрадовался, запряг было его снова в колхозную работу, но мерин вновь взбунтовался, начал выказывать прежний собачий норов. «Сволышш скотина! — махнул рукой баскарма.— Казахского языка уже не понимает. Эй, мейли... Пусть уж немис-Иван пользуется ей».

Когда дорога, извиваясь, свернула к Каменному броду, сивый мерин восторженно заржал, веселее заклацал подковами.

— Ишь, старый хрыч! Радуется...

— Давай немного остановимся здесь. Я поднимусь на кручу.

— Ладно,— согласился Иван.

С крутояра, густо заросшего тальником, окрестность просматривалась как на ладони. Солнце поднялось уже высоко, и внизу, у брода, камни, должно быть, вбирали тепло, и древняя река Есиль, разомлев от ласки лучей, томно и медленно струилась, зажатая в этом месте обрывистыми, в глубоких расщелинах, берегами, а здесь, на круче, в тени, было еще по-утреннему свежо, пахло прелыми листьями, перегноем, диким хмелем, цепко обхватившим ивы и кустарники, сладким душком поспевающей черемухи и смородины.

Ширь простиралась вокруг — дух захватывало. На том берегу реки белели два маленьких аула, отделенные друг от друга березовой уремой, за которой еще недавно начиналась бескрайняя, невесть сколько веков не тронутая ковыльная степь, а теперь раскинулось до горизонта пшеничное море.

Отсюда далеко виднелась и степная река с ее причудливыми излучинами, водоворотами, мелями, перекатами, с ее берегами, то крутыми, то пологими, то в непроходимых тугаях, то неприглядно голыми. Радостно было смотреть отсюда на леса, островками, все уменьшаясь, убегавшими — по эту сторону реки — вдаль, к югу, в край Синегорья.

В погожий день сюда доходили многоликие звуки

большого аула, расположившегося неподалеку вдоль оврага, и эти звуки, приглушенные и облагороженные таинственной тишиной кручи, напоминали о тепле родного очага, внушали уверенность в устойчивости мира.

Здесь всегда легко дышалось и спокойно, умиротворенно думалось. До щемящей боли чувствовалась причастность к чему-то незыблемому, несуетному, возвышенному и прекрасному.

— Арвиг! Пора...— напомнил, крикнув снизу, Иван.

Ах, да-а... Ты же покидаешь сегодня это диво, уезжаешь в неведомую даль, влекомый мечтой и надеждой. Как-то сложится у тебя все?..

Много тайн хранят в себе крутогрудые, шершавые от ветров и дождей валуны Каменного брода. Берега эти были свидетелями и радости, и горя. Они слышали и гортанный клич барымтачей[1], и беспечный гвалт аульных сорванцов, и безутешный плач горемыки вдовы, и тихий, счастливый смех влюбленных. Они видели, как джигиты на разгоряченных конях бросались с крутизны в бурлящую кипень, шалея от собственной удали, как робкая стайка девушек под присмотром строгой тетушки-дженге, прикрывая рукой смуглые груди, осторожно входила в теплую в час заката воду...

— Ты что там... замечтался? Или раздумал ехать?

В самом деле, пора... Пока доберутся до грейдера, пока дождутся попутной машины, а там до Кзыл-джара километров двести. А оттуда только и начинается, собственно, твой путь...

Иван, раздевшись, повел мерина под уздцы. До противоположного берега, казалось, рукой подать, но Иван повел мерина посередке, а потом, описав полудугу, осторожно свернул направо. Колеса едва погрузились в воду, однако чувствовалось упругое, сильное течение: арбу и мерина заносило в сторону. В нескольких шагах от берега стало глубже, и мерин, увязая в податливый суглинок, с трудом вытащил арбу. Пока Иван подтягивал чересседельник и палкой отскребывал налипшую на колеса глину, ты невольно и с восхищением все оглядывался вокруг. Камни на том берегу казались отсюда еще более диковатыми, внушительными. Ива росла густо, склоняясь над водой. Поодаль одиноко стоял корявый боярышник. На ветках трепыхались разноцветные лоскутки. В середине река

[1] Вооруженные угонщики скота *(каз.)*.

серебрилась под солнцем, выгибала песчаное дно, а по краям вода казалась черной, свинцовой. Левый берег был истыкан копытами коров и напоминал широкое, изъеденное оспинками лицо баскармы.

И опять ровно потрухивал мерин. Пофыркивал. Хвостом помахивал. Старался. Видно, хотел, чтобы ты вспоминал его в далеком краю добром. Теперь ехали вдоль берега, постепенно отдаляясь от реки, и впереди уже — насколько хватал глаз — начиналась ширь. С вышины, то затихая, то вновь усиливаясь, лился безмятежный трезвон жаворонка.

— Такая красота, а ты уезжаешь...

Дядя пристально взглянул на тебя сбоку, но ты не ответил. Ты вдруг, как никогда, ясно ощутил все безнадежное одиночество матери. Бедная, бедная... ведь ты, беспомощный, больной, все эти годы после смерти отца был ее единственной опорой. Пока деверья и золовки были малы и нуждались в ее повседневной заботе, она чувствовала себя нужной и не щадила себя, борясь с нуждой и бедами. А теперь... теперь все почти встали на ноги, каждый сам уже устраивает свое гнездышко. Иван, старший деверь, уже отцом стал, и маленькая, шустрая Олькье, жена его, даром что сама на девчонку похожа, а выказывает норов и все решительней, все круче прибирает к рукам бразды семейного правления. Понятно: она хозяйка в молодой семье. А кто вы с матерью? Даже не семья, а полторы калеки. Получается, что мама... одинокая вдова... на зыбких правах швегерин прилепилась к гнезду деверя? И это мать особенно почувствовала с твоим отъездом. И теперь, когда тебя не будет рядом, она и вовсе осиротеет. Ах, глупец, глупец... Как ты до сих пор не подумал об этом?.. Ты живо представил, как мама весь день хлопочет на ферме, а вернувшись домой, робко жмется в своем закутке, не зная, куда себя девать, и несмело взглядывает на уверенную, расторопную Олькье, боясь чем-нибудь не угодить ей, и от настигшей тебя острой жалости к маме у тебя на глаза навернулись слезы...

— О матери не беспокойся,— сказал вдруг молчавший всю дорогу Иван.— Швегерин в обиду не дам. Я это обещал Эрнсту. Вот, может, поступишь, выучишься, тогда и решите, как жить дальше...

От этих простых слов дяди у тебя отлегло на сердце.

На обочине грейдера сидели долго, умяная румяные

брецели. День был тихий, солнечный. Без умолку сипели кузнечики. Бурая пустынная дорога ременной тесьмой прорезала степь и уходила в неизвестность.

Раздрызганная трехтонка вынырнула из лощины неожиданно. Шофер поскреб щетинистую щеку, буркнул:

— В город?.. Только одного!

— А нам больше и не надо,— старался пошутить Иван.

Шофер хмуро скосился на тебя, на твою раздувшуюся полевую сумку на плече, на костыли, подпиравшие твое худосочное бренное тело, и неопределенно выдохнул:

— О господи...

В безлюдной степи на обочине грейдера, держа сивого мерина под уздцы, долго глядел вслед стремительно удалявшейся трехтонке одинокий путник — твой онкель Иоганнес, дядя Иван.

12

Проснулся Арвиг Эрнстович от радостного толчка, от приятного предчувствия.

«Здравствуй, брат! Ты на пути к возрождению»,— сказал он себе, повторяя эти ободряющие слова-заклинания. Да, да, на пути к возрождению, как сказал когда-то какой-то король. Сегодня предстоит осуществить давно намеченное — совершить сто рейсов. Сто рейсов к новой меже. К жизни. К победе. Отныне каждый его день связан с новой победой, пусть маленькой, наивной, другим смертным непонятной и недоступной, но непременно с победой. Сто рейсов по балкону длиною в пять метров, на двух костылях, закованный по самую грудь в кокситовую гипсовую повязку. Сто рейсов — протяженность, равная расстоянию от дома до автобусной стоянки. Он их сделает, эти длинные-длинные сто рейсов,— от одного конца балкона до другого, во что бы то ни стало. Сделает еще до того, как заглянет в палату свежевыбритый, подтянутый, бодрый, несмотря на ночное дежурство, Павел Петрович, а вслед за ним присеменит дежурная сестра с укрытой салфеткой крышкой стерилизатора, заставленной склянками, флакончиками, ампулами, прокипяченными шприцами.

В гулком, особенно по утрам, коридоре — ни шороха. Из соседних палат ни стона, ни скрипа. Всех сморил предутренний сон.

Теперь важно изловчиться и натянуть — с помощью бечевки и прутика — просторную пижаму поверх гипсовой повязки, подтянуться к краю койки и медленно опустить ноги, потом, опираясь на тумбочку и спинку кровати, встать, закрепиться в вертикальном положении, унять дрожь в теле, перебороть головокружение, а потом уж сунуть костыли под мышки и осторожно выбраться на балкон.

«Та-ак... Хар-ра-шо-о-о...»

Свежий воздух упругими толчками врывается в грудь, бодрит тело. По склонам зеленых холмов струится, ползет легкий утренний туман. Неподалеку ошалело взгорланил петух.

Всё. Начали. Пошли.

Шесть коротеньких шажков — шесть коротких взмахов костылями — до одного угла балкона — поворот налево — шесть коротких шажков — шесть взмахов костылями — до другого угла — поворот направо.

Раз!

Дальше. В ритме. Ровно. Без суеты. Не наваливаясь на костыли, а держа тело на вытянутых руках между ними, не заваливаясь вбок, а прямо, прямо, вскинув голову, глядя вперед. Шесть коротеньких шажков — шесть коротких взмахов костылями — до угла балкона — поворот налево — шесть коротких шажков — шесть взмахов костылями — до другого угла — поворот направо.

Два!

Пошли. Вперед! Ты на пути к возрождению...

Десять... Двадцать... Тридцать...

Лоб покрылся испариной. Ладони взмокли. Нога в гипсе отекает. Кровь упруго пульсирует в жилах.

Вперед к возрождению. Аз есмь воскресение и жизнь.

Сорок!

Стремительно светает. Горластому петуху наскучило играть на своем кернае. Туман уполз, растаял. Из-за сахарной макушки хребта вот-вот выкатится огромный огненный шар.

Рядом, внизу, скрипнула дверь, мелькнула знакомая тщедушная фигурка с двумя косичками за спиной, в тюбетейке. Пошла, пошатываясь, к беседке, постояла. Молоденькая, черноглазая, скуластенькая. Видно, из легочного

отделения. И видно, тоже на пути к возрождению. Глянула на балкон, улыбнулась и пошла, заплетаясь ногами, по тропинке вдоль здания. У каждого свой путь. Каждый по-своему возрождается.

Пятьдесят!

Теперь можно отдохнуть, прислонившись к перилам. Отдышаться. Успокоить сердце. Пошевелить пальцами немеющей под гипсом ноги.

Повязка потемнела от пота, гипс начал крошиться по краям. Вторая повязка донашивается за полгода. Кожа горит под жестким панцирем, чешется, иногда невмоготу. А снимут гипс лишь через месяц. Потом надо будет облачиться в тутор. И еще год — целый год! — ходить на костылях и в туторе. И лишь потом понемногу наступать на больную ногу и тренироваться... тренироваться... тренироваться. Учиться ходить заново. Но это будет потом... потом, а пока...

Дальше! Вперед! Надо менять ритм, удлинить шаг. Пять шагов — пять взмахов костылями — до угла балкона — поворот направо — пять шагов — пять взмахов костылями — до другого угла — поворот налево.

Пятьдесят один!

Должно быть, худо той черноглазой в тюбетейке. Еле добрела-дотащилась от угла здания до беседки, опустилась на скамейку, согнулась вся, точно подломилась, руки беспомощно сложила на коленки. Острые плечики выпирают под халатиком, судорожно поднимаются и опускаются. А глаза блестят, и в них любопытство и радость. Смотрит на балкон, по которому битый час маячит, мечется взад-вперед на костылях закованный в гипс такой же тщедушный упрямец, и улыбается.

Ничего, скуластенькая! Не унывай. Победит тот, кто терпелив. А у нас с тобой терпения хватит. И упрямства тоже.

Вперед! Восемьдесят пять...

Надо сделать еще одну передышку. Последнюю. Теперь уже цель близка. А потом можно шмякнуться на постель, зажмурить глаза и лежать долго-долго, неподвижно, прислушиваясь к тому, как в иссохшем теле радостно бьется, ликует жизнь, живыми толчками пульсирует кровь.

Растет-ширится красная полоска над вершинами гор. Все отчетливее доносится гул просыпающегося города. В соседней палате резко распахнулась дверь. Неуже-

ли подъем?.. Надо спешить. Дальше, дальше... От угла до угла. Восемьдесят шесть... Девяносто... Девяносто три...

В одной из палат началась лечебная физкультура. Слышится привычный четкий голос:

— Проснулись. Приготовились. Так, так!.. Делаем вдох... вы-ы-ы-ыдох... Вдо-о-о-о-ох — вы-ы-ы-дох... А ну дружней, дружней. Делаем, кто может, «ножницы»... Р-аз... Два-а-а-а...

Начинается новый день. Сегодня, наверное, будет солнце.

1984

Рассказы

СОСНОВЫЙ ДОМ НА КРАЮ АУЛА

1

В густом сумраке зимней ночи, тяжело нависшей над миром, в окошке большого соснового дома на краю аула робко светилась лампа под пожелтевшим бумажным абажуром. Писатель Акбасов, больной, измученный бессонницей, сидел сгорбившись за письменным столом, заваленным журналами, книгами, старыми ободранными папками, и прислушивался к монотонному завыванию ветра, заблудившегося в ветвях осин за домом. Перед ним лежал белый лист бумаги и тщательно отточенный, изгрызенный карандаш, а вокруг, как тени, как призраки, витали герои его все еще не законченной, многотрудной книги, которую он вынашивал уже много-много лет.

Он был уже стар и дряхл, и вокруг была глухая ночь, и сын батыра Кулеке, прозванный потомками Шал-акыном, его земляк, живший почти двести лет тому назад в этих же краях в маленькой убогой юрте на берегу Ишима, назойливо нашептывал ему свои стихи о невозвратно ушедшей жизни и проклятой старости, иссушающей тело и душу.

Когда-то (о, сколько воды с тех пор утекло в Ишиме!) он начал свой писательский путь ярко: подхваченный неудержимым вихрем того стремительного времени — юной поры новой жизни,— он вошел, не вошел — влетел, ворвался в литературу на легконогом стригунке поэзии весело и победно. Был он тогда молод и удачлив, и легко, радостно писалось, почти каждый год выходило по книжке — и стихи, и рассказы, и очерки, привычно стало ему читать свою фамилию на страницах литературных газет и журналов. Но и не это было главное. Главным было то уверенное, непроходившее ощущение, что впереди еще не то будет, что впереди ждет его жизнь, радостная и долгая, и немало он еще напишет прекрасных вещей, в том числе и заветный роман — дилогию или трилогию — о родном

крае, о своем ауле, о судьбе знакомых и близких ему с детства людей Прикишмья.

Он был знаменит и даже слегка утомлен приятным бременем славы. Редакции охотно принимали и печатали любую едва вышедшую из-под его пера вещь, критики наперебой восхваляли его. Знатные друзья и знакомые, объявлявшиеся повсюду, считали честью заполучить его к себе в гости, усаживали на самое почетное место, угощали изысканными блюдами, произносили витиеватые тосты, восхваляли его дар и достоинства. Черноглазые смуглянки-келиншеки, опьяненные свободой городской жизни, откровенно восторгались им, заучивали наизусть целые главы из его поэмы о страстной степнячке — так ярко, возвышенно и рискованно-смело о любви никто из тогдашних молодых национальных поэтов не писал. Его биографию и творчество изучали в школах, и он жил, не ведая ни мук, ни терзаний, ни сомнений, уверовал в свой талант и непогрешимость. Все получалось как-то само собой. Слова, казалось, сами лились на бумагу, и все, что он писал, выходило хорошо. И когда кто-нибудь из приятелей жаловался, бывало, ему, что у него что-то не ладится, застопорилось, что уже в который раз переделывает, а все плохо, все не то, он глубокомысленно изрекал: «Что ж, таково оно, писательское дело»,— а, про себя ухмыляясь, между тем думал: «Э, милок, чего мучиться, чего переделывать-то, если обделил тебя аллах талантом?»

Беда, как всегда, пришла неожиданно. И он не мог потом даже вспомнить, с чего вдруг все началось. Просто однажды он почувствовал, что не может писать, как прежде, что ему противны все эти дряблые, задерганные словеса, что ему уже не к лицу гарцевать, как мальчишке, на бойком поэтическом стригунке, которого к тому же изрядно заездили за все эти долгие годы.

Он сам себе казался усталым путником: дорога предстояла еще долгая, а коржун[1] был пуст. Молодые поэты по-прежнему отзывались о нем с почтением, однако сдержанно. Дерзкий критик, из молодых да ранний, с высокой трибуны заявил о том, что иные маститые поэты безнадежно погрязли в болоте фольклорного краснобайства, и всем было ясно, к кому был обращен этот выпад. А тут еще и новаторы лихо ополчились на косных традиционистов. Тон задавали вчерашние желторотые юнцы, окончившие

[1] Переметная сума *(каз.)*.

вузы в больших городах, напористые, начитанные, по самую завязку напичканные мудростями всех времен и народов. Акбасов поначалу восторгался башковитыми соплеменниками, удивлялся тому, как они работают, именно р а б о т а ю т в литературе, сосредоточенно, упорно, словно не пером, а кетменем орудуют, как они совсем по-другому относятся к слову, к писательскому ремеслу. Потом в нем, в Акбасове, проснулась зависть, даже раздражение: он всегда считал, что литература — праздник, неукротимый, свободный поток красных слов, вырывающихся вдохновенно из груди божьего избранника, а эти, молодые, изнуряли себя, обрекали на добровольную каторгу, мучились, преодолевали самими же придуманные тяжкие перевалы. Однако смутно он догадывался, что правда на их стороне, и раздражение вскоре перешло в недовольство. За многие годы он привык быть во главе байги[1], а теперь явственно ощутил, что скакун удачи задыхается, отстает, окутанный клубами пыли. Былая уверенность покинула его. И все, что создавалось им до сих пор, показалось ему несерьезным. Это его ошеломило. Он выбился вдруг разом из привычной колеи, и искривились отныне пути его жизни.

А годы шли... Республиканская литературная газета посвятила ему однажды целую страницу: «Поэту Акбасову сорок лет». В те годы было принято шумно отмечать и более молодые юбилеи. С только что отпечатанной газетой друзья из многих редакций пришли к нему домой, и он повел их всех в ресторан, где до глубокой ночи выслушивал, как водится, бурный поток заздравных речей и высокопарных, пенистых, как шампанское, тостов.

Он был худощав, строен и легок, но пышные еще недавно волосы курчавились уже меньше, виски посеребрились. Он все острее переживал уходящее время и все чаще думал о том, что нужно что-то предпринять, что-то делать, делать решительно, чтобы выйти из тупика, пока окончательно не засосала его мелочная житейская суета.

Уже много лет он обдумывал свою главную книгу. Он не знал еще, как назовет ее: «В степях Приишимья», «Степи Приишимские» или просто «Ишим». Это будет большая книга о прошлом и настоящем его родного края, и он собирал материал для нее всюду — в республиканских и областных краеведческих музеях, записал уйму легенд и рассказов стариков певцов, акынов, жырау-ска-

[1] Конные состязания *(каз.)*.

зителей, коими издавна славилась северо-казахстанская земля. Он рисовал в памяти своих героев, записывал на отдельных листиках их манеры, выражения, действия, их судьбы, все, что считал нужным, пригодным для этой книги, ревниво складывал листки в две папки. С годами папки разбухали, и он уже зримо представлял общие контуры, каркас своего будущего произведения, и оторопь — и страшная и радостная — брала его, когда он думал, какой тяжкий многолетний труд требовался для его завершения. Для осуществления своей мечты предстояло пожертвовать многим, обуздать все свои желания, потребности и с головой уйти в работу. Он понимал, что здесь, в городе, в суете повседневных забот, среди редакционной толкотни ему никогда не осилить задуманного дела.

«Да, да, уйду, уеду,— все чаще думал он.— Я ведь писатель, поэт. Я должен писать настоящие вещи, а не заниматься мышиной возней. Писать очерки-однодневки, обкатанные, гладкие, как галька, рассказики или корпеть в прокуренных редакциях над чужими рукописями разве мой удел? Разве для этого я родился?»

Он чувствовал, что за последний год он сильно изменился, все стал видеть, воспринимать по-другому, какая-то иная мерка ко всему и особенно к писательскому призванию у него появилась. Он вдруг остро понял, что все написанное им до сих пор, может быть, и неплохие вещи (считать их откровенно плохими было выше его сил), однако еще не то и даже совсем не то, что он может, на что способен, что он должен делать. Во всем том, что было написано до сих пор, есть какая-то ребячливая легковесность, поспешность, все это вылилось на бумагу как-то само по себе, в один присест. Все это были в той или иной мере удачно запечатленные непосредственные, зачастую поверхностные ощущения, сиюминутные импульсы, как сказал бы его друг критик. А сейчас он словно бы прозрел и отчетливо видел во всех своих писаниях не лишенное изящества и даже мастерства ремесленничество. И еще он вдруг почувствовал, что совсем, почти совсем избавился от тщеславия, состояния скверного, тягостного. Да, да, он был тщеславен, он только в этом не признавался. Оно было у него тщательно замаскировано, глубоко запрятано. Поначалу он играл в скромность, бывало, смущался, краснел, когда его не в меру славословили, со временем он привык к этой игре, она стала как бы неотъемлемой частью его натуры, однако в душе он больше всего опасал-

ся, что — не приведи аллах — не воздадут ему должное, ущемят невзначай его достоинство, не пригласят в президиум, не изберут куда надо, не посадят рядом с именитым деятелем, не упомянут его фамилию в первой обойме. Он не упускал возможности непременно быть на виду, добивался всех положенных и неположенных ему привилегий, пробивался всеми правдами и неправдами в дома отдыха и пансионаты для избранных, заставлял квартиру дорогими вещами, и при этом сам одевался нарочито небрежно, затрапезно, добродушно похохатывал, изображая из себя простецкого — без всяких предубеждений и комплексов — скромнягу литератора. Он осознавал, что становится порой жалким рабом своего тщеславия, и был достаточно умен, чтобы понять, как все эти потуги не красят его, что он только маскирует, прячет это гаденькое состояние, которое не в силах одолеть, задавить в себе. В минуты откровения он признавался себе, что всегда жаждал славы, жаждал неуемно, словно честолюбивый юнец. А теперь, после всех разочарований и сомнений, вдруг понял, что громкая, большая слава совсем ни к чему настоящему писателю. К ней рвется лишь писатель мелкий, посредственный. Более того, слишком большая слава даже мешает писателю, как путы на ногах. Она сковывает талант, отвлекает от серьезной работы. Конечно, без славы тоже нельзя. Слава нужна только в той мере, чтобы люди знали, что ты умеешь писать, и писать неплохо, то есть такая слава, которая поддерживала бы устойчивое благожелательное внимание, добрый интерес к твоим писаниям, к твоим книгам. И все. И достаточно. Без панегириков и восторженного словоблудия. Появилось недовольство своим языком, стилем. Раньше он почти не отрывал пера от бумаги, исписывал по нескольку страниц и, написав раз, почти не переделывал, не исправлял. А теперь подолгу обдумывал каждую фразу, каждое предложение, переставлял и изменял слова, зачеркивал, писал и снова зачеркивал. И все равно почти физически чувствовал: не то, не то. Дошло до того, что он уже не мог читать прежние свои книги. Едва открыв их, судорожно хватался за перо и начинал с каким-то злорадством вычеркивать, переделывать, заново писать целые страницы. Потом в изнеможении бросался на диван, курил папиросу за папиросой и мрачно думал: «Что это творится со мной? Старею, что ли? Или это зрелость, суровая писательская зрелость пришла ко мне? Или просто иссяк, исписался? Кончился как писатель?

Или... никогда и не был им?» Он стыдился своего бессилия. Боялся говорить о кризисе друзьям. Однажды знакомый писатель, заметив, как он десятки раз переписывает одну и ту же страничку, ухмыляясь, сказал: «Ну, ты, я вижу, решил податься в классики?» Слова эти больно кольнули его. Хотелось другу ответить в том смысле, что уж коли Толстой создавал по четырнадцать редакций одного романа, то им, простым смертным, сам бог велел без устали и безжалостно марать рукописи. Но промолчал. Только грустно улыбнулся. Поймет ли?.. Еще подумает, что он и в самом деле гения из себя корчит.

Он уже ничего не мог поделать с собой. Он не мог не писать и писать не мог. Он вспомнил один совет: в черные дни творческого бессилия нужно запоем читать хилые творения графоманов, и тогда, убедившись в их ничтожности, почувствуешь вдруг уверенность и бодрость, и опять все пойдет как по маслу. Напрасно. Уверенность не приходила. Росли только раздражение и злоба. Вспомнил он другой совет: когда вдруг застопорится и работа не идет, нужно читать старых маститых классиков, признанных художников. Это, дескать, самое верное средство от собственной творческой импотенции. Стал он перечитывать классиков. Душевное спокойствие не возвращалось. Росли только стыд и отчаяние.

Беда, как известно, одна не приходит. Дома тоже не ладилось. Семьи, собственно, не было. Жена давно уже была чужой. Черноглазые келиншеки все реже волновали его. А почти взрослая дочь однажды как бы мимоходом бросила фразу явно с чужих слов. «В литературе,— сказала она, пренебрежительно поджимая губки,— впрочем, как и в любом виде искусства, посредственностям делать нечего».

Очень могло быть, что слова дочери были совсем не ему адресованы, что они были сказаны ради красного словца, ради озорного щегольства, бравады — смотри, мол, какие мысли роятся в моей умной голове, но он их принял на свой счет, они больно ранили его обнаженную сейчас душу. И он потом несколько дней был сам не свой, повторяя про себя эти жестокие и, по сути, очень верные слова: «В литературе посредственностям делать нечего... посредственностям делать нечего...» Он подолгу ходил по безлюдным ночным улицам, погруженный в невеселые думы, и каждый шаг отдавался в сознании: «По-сред-ствен-ность».

Нет, все, хватит, он уедет, все настойчивее думал он.

Уедет в родные края, в родной аул, там, среди родных и близких, на берегу Ишима, где он родился и рос, он приобретет наконец былую уверенность, только там к нему вернется капризное писательское вдохновение, и он напишет, непременно напишет свою самую главную книгу, ради которой он, наверное, и пришел в этот мир. Он настойчив, он терпелив, он дождется, когда к нему снова вернется талант. Просто нет вспышки, утешал он себя, исчезла искра, пропал заряд. Нужно терпеливо дожидаться того часа, когда вдруг озарятся пламенем вдохновения его герои, которыми он населил в помыслах свою книгу. О, он еще покажет этим удачливым, самодовольным писакам, с легкостью необыкновенной катающим по роману в год!

Аул мерещился ему спасением. В воображении рисовались дивные картины: чистый степной воздух, ширь, Ишим, березовые колки, верная любовь земляков, нежное мясцо ярки, жирный бульон, терпкий кумыс. Никакой спешки, никаких козней, интриг, возни, униженного самолюбия, ложных долгов и обязательств. Пиши, твори легко и свободно. Ах, хорошо!..

Врачи также советовали переменить обстановку, климат: что-то было не в порядке с легкими. И тогда он решился наконец на этот шаг, о котором подумывал уже много лет. Он бросил все: мирно, «по-хорошему» развелся с женой, оставил ей квартиру и уехал в аул. Он не думал о возвращении, был уверен, что если это и случится, то лишь тогда, когда осуществится его мечта.

2

Земляки встретили его радушно. Им гордились. Его ласкали. Наперебой приглашали в гости. «Поэт, писатель»,— говорили о нем почтительно, благоговейно. Районное начальство устроило пышную встречу. Областная газета посвятила ему целую страницу.

Воздух родного края и искренняя доброжелательность, щедрость души близких людей ободрили его. Он вдруг избавился от хандры, от изнурительных сомнений и все принимал как должное. Пригласили его на школьный вечер, где старшеклассники, большей частью девушки, читали его стихи, восторженно ловили каждое его слово, каждый жест и при одном его взгляде краснели от удовольствия и гордости.

Он почувствовал себя заново родившимся. Беседовал

со стариками, записывал с их слов стихи и назидания знаменитого предка, поэта восемнадцатого века Шалакакына. Ездил в аулы, по которым еще подростком когда-то скакал на стригунке с ватагой таких же, как он, беспечных сорванцов, иногда целыми днями просиживал на берегу Ишима с удочкой или ходил в лес, наслаждался тишиной, одиночеством и свободой. Дядя по матери, кладовщик колхоза, души не чаял в знаменитом своем племяннике. Председатель колхоза, человек нравом крутой, охотно предоставлял ему для поездок своего солового жеребца-иноходца. Акбасов помолодел, посвежел и в своем добротном городском костюме, макинтоше и шляпе среди аульчан выглядел красавцем.

Однажды на школьном вечере, куда пригласил его директор, друг детства, ему приглянулась молоденькая учительница — бойкая на язык, остроглазая, светлолицая хохотунья. Сначала он принял ее за десятиклассницу, такая она была юная и хрупкая. Потом узнал: всего лишь год назад окончила она педучилище и теперь учительствовала, вела параллельные начальные классы. В то время девушек вообще не принято было отпускать далеко. Они, едва окончив школу, становились библиотекарями, секретарями в сельсоветах или тотчас выходили замуж. Молодой учительнице, видно, больше нравилось общество старшеклассниц. В тот вечер она была необычайно оживлена, румянец пылал на ее пухлых щечках. Она пела высоким, чистым голосом песни и арии из опер, подражала очень популярной певице, читала стихи, играла в какой-то пьесе. Акбасов был поражен грациозностью, светлой лукавой одухотворенностью аульной девушки. И еще больше он удивился, когда узнал, что это была Марияш, единственная дочь старика Сергали, который сам — Акбасов это помнил — в молодости слыл весельчаком, певцом-затейником, душой всех тоев и вечеринок. Потом, когда вечер приблизился к концу, она, дочь Сергали, вся сиявшая от радости и успеха, сказала от имени всех несколько слов благодарности знаменитому поэту-земляку, и тогда неожиданно для самого себя он легко, по-юношески порывисто вскочил, подошел к ней, слегка коснулся ее щек, приблизил к себе вспыхнувшее от восторга лицо и, на восточный манер поцеловав ее в лоб, сказал: «Долгих тебе лет, моя прелестная сестричка!»

Он стал частым гостем школы. По просьбе директора Акбасов взялся руководить литературным кружком.

Старостой кружка была, по предложению Акбасова, избрана очаровательная и неутомимая учительница, дочь старого Сергали.

Поздними весенними вечерами, когда в школе становилось непривычно тихо, несколько старшеклассников, забравшись в учительскую, с увлечением корпели над литературным альманахом, а он сидел в темном углу на диване, задумчиво покуривал и подолгу глядел на бледное при свете лампы лицо Марияш, на ее длинные, черные ресницы, на нежный изгиб шеи, и на душе становилось удивительно тепло и смутно-тревожно. Он курил, улыбался самому себе, радуясь, что ему так хорошо, что рядом с ним эта светлолицая озорная девушка с толстыми длинными косами. За окном томилась ночь. Пахло весной. На стенах учительской двигались уродливые тени. За длинным столом, позвякивая время от времени кисточкой о край стакана с водой, сосредоточенно рисовал заставки Еслям, школьный художник. Низкорослый шустрый Бейсен, страшно гордившийся тем, что его назначили техредактором альманаха, диктовал стихи и рассказы кружковцев. А Марияш, склонив голову и чему-то улыбаясь, выводила ровные, кругленькие буковки.

Потом он провожал Марияш домой. Они медленно и молча шли по тихому аулу, у своего двора она каждый раз говорила: «До свидания, агай!» — и убегала домой. А он стоял, ждал, пока со скрипом закрывались за ней ворота, и тоже уходил домой, задумчивый и грустный...

Осенью он послал к Сергали сватов.

Ей было лестно выходить за него. Ведь совсем недавно она изучала в классе его биографию и творчество и, помнится, даже писала сочинение «Женские образы в поэме Акбасова «Южные ночи». И на выпускных экзаменах в билетах было четыре вопроса о его творчестве. И теперь она становилась женой человека незаурядного, известного поэта, и подружки завидовали ей. Конечно, он был уже не совсем молодым, и лицо было в оспинках, и виски уже серебрились, но зато поэт, всеми уважаемый акын и совсем-совсем не похож на аульных джигитов-шалопаев.

Пышная была свадьба. Многим на зависть. Из соседних аулов людей понаехало — уйма. Были почетные гости из района и области. На второй день собрали одну молодежь, и Марияш уже не сидела за пологом с грустным лицом, как того требовал старинный обычай, а была оживлена и радостна, и ходила по кругу песня, а когда дошел

черед до невесты, она взяла домбру, ударила по струнам и запела никем доселе не слышанную песню о любви. Акбасов был сдержан, молчалив, снисходительно улыбался. Когда домбру передали ему и глава веселья, той-басы, называя его почтительно и чуть-чуть игриво «дорогим зятем», попросил порадовать аульную молодежь новой песней, он, все так же улыбаясь, негромким, мягким голосом спел песню о своей возлюбленной — Марияш. «Ты прекрасна, как полная луна на летнем небе. Твои глаза сияют, как звезды, ты стройна и гибка, как тал на берегу Ишима, несравненная моя Марияш,— говорилось в той песне.— Околдовали меня черные косы твои, пленили меня твои белые руки, и, если ты позволишь поцеловать себя в нежный изгиб твоей шеи, я готов умереть от счастья, моя единственная, долгожданная любовь — Марияш». Слова эти пелись на мотив древней казахской песни — мотив нежный, томительный, чуть-чуть грустный, и песня эта сразу запала всем в душу. Его попросили спеть еще, и молодежь — джигиты и девушки — слаженно повторяли рефрен песни: «Несравненная ты, Марияш», и всем было приятно, грустно и радостно. Марияш немела от счастья и сидела за дастарханом гордая, счастливая, в песне акына воспетая, и яркий румянец пламенел на ее пухлых щечках. И все смотрели на нее, будто видели впервые, вот только сегодня ее увидели, и только сейчас заметили, что она и в самом деле прекрасна, не им чета, и каждый невольно думал: вот что значит акын, он лучше видит, лучше скажет, и слово его яркое, возвышенное.

Песню эту так и назвали «Марияш», и разнеслась она по всем аулам низовья и верховья, и пели ее теперь всюду — на вечеринках, шильдеханах[1] и даже в школах, и все гордились, что песню эту сочинил их земляк, их зять, известный акын Акбасов. Правда, вскоре джигиты, имевшие виды на дочь Сергали и ревновавшие ее к «старику» Акбасову, придумали на этот же мотив другие слова — обидные, оскорбительные. «Чем пленил тебя этот рыжий старик, о несравненная Марияш? Чем околдовал тебя этот рябой, несчастная ты Марияш?»

Но злословие не могло омрачить их радость. Они были счастливы и беспечны. Вечерами он читал ей свои стихи, старые и новые. Она слушала восторженно и робела перед своим мужем, как ученица перед строгим наставником.

[1] Праздник по случаю рождения ребенка *(каз.)*.

А потом, по его просьбе, она пела самую любимую его песню — ласковую, печальную колыбельную «Спи, мой ягненок». Ах, какие это были светлые дни. Но нет ничего вечного, постоянного на свете. А счастье всегда недолгое и непрочное. Иначе, наверное, оно бы и не было счастьем. Верно заметил один русский писатель, сказав: «Даже в счастье, господа, есть что-то грустное»...

Уже зимой, когда за окном неделями куролесил вконец взбесившийся буран, он почувствовал, что не может быть по-настоящему счастлив, пока ему не пишется, пока перед ним будет лежать нетронутый чистый лист бумаги. Он имел несчастье родиться писателем, и он должен писать, обязан писать, только тогда он сможет найти покой.

Надо было наладить быт. Тесниться в доме многодетного дяди становилось невыносимым.

Весной он решил на все оставшиеся свои сбережения построить дом. И отныне этот дом захватил его всецело. Годы были трудные, и о строительстве тогда в аулах никто и не помышлял. Он никогда не думал, что это так трудно, так хлопотно — поставить дом. Отныне все разговоры, все мысли, все думы были только о доме. Любой разговор неизменно начинался со слов: «Вот когда построим дом...» Ни о чем другом они уже не могли думать. Казалось, что до сих пор их жизнь еще не жизнь вовсе, а только так, подготовка, что ли, к той, главной жизни. Казалось, все начнется только после того, как будет поставлен дом, в котором они будут жить, любить друг друга, работать, растить детей.

Три долгих, полных хлопот и забот года ушло на осуществление их желанной цели. Наконец-то дом был поставлен. И Акбасов был горд, потому что только у него в ауле был такой высокий, просторный дом, да и не какой-нибудь, а сосновый, весь до последней доски сосновый. Красавец получился дом. Одну из комнат — самую большую — он отвел жене и детям, другую — чуть поменьше — оставил себе. Недалеко от окна, прямо посредине, он поставил большой, громоздкий письменный стол, в углу — шкаф с книгами, возле двери — диван. Пол застелил белой чистой алашой[1] — приданым жены. На стенах развесил фотографии — сплошь именитые, преуспевающие писатели, среди которых был запечатлен и он, Акбасов. Вот теперь-то он будет работать. Тишина и покой. Отдельный

[1] Домотканый палас.

кабинет. Немногие из столичных приятелей могут похвалиться такими условиями. А видик-то какой! На краю аула, на отшибе, особняком горделиво красуется его дом, свежей краской поблескивает под солнцем. Из окна открывается простор, упирающийся в березовые колки, слева — лес, а ниже от крыльца видны туган и грейдер на том берегу Ишима. Ночью по грейдеру мелькают, бегут, догоняя друг друга, огоньки. Это несется нескончаемый поток машин из города и в город.

Недолго, однако, наслаждался он тишиной и одиночеством своего кабинета. Дети рождались каждый год. В большой комнате становилось все теснее, все шумнее и крикливей, и дети постарше один за другим начали перебираться к нему. Потом стали ходить в школу, готовить уроки, и на его столе появились заляпанные чернилами книги и тетради сначала с одного края, потом с другого, и все меньше и меньше становилось ему площади на некогда просторном письменном столе. Его сжали со всех сторон, и среди гор учебников на середине стола рядом с двумя папками его старых рукописей укоризненно белел чистый лист, поперек которого лежал черный изгрызенный карандаш.

И Марияш вскоре завяла, красота ее поблекла. Она уже не пела по вечерам, как прежде, не читала стихов, не заводила старый патефон, не мечтала о сказочной, в мечтах взлелеянной жизни в загадочном для нее городе, а вставала еще до зари, доила корову, выгоняла скотину на выпас, кормила цыплят, пекла в золе под очагом лепешки, жарила баурсаки, ставила трижды в день самовар, вечерами варила мясо, катала тесто, стирала, нянчила, кормила детей — пребывала в бесконечных, однообразных, отупляющих хлопотах женщины-хозяйки.

Живя неразлучно под одной крышей, супруги, казалось, даже не замечали друг друга. Иногда они молчали целыми днями или обменивались двумя-тремя незначительными словами. И все это было как бы в порядке вещей. Лишь редко-редко, бывало, за чаем он вдруг ни с того ни с сего пытливо взглядывал на нее, чему-то удивляясь, словно давно ее не видел, улыбался, брал домбру и негромко напевал «Марияш». Первое время, слушая его слабый, с хрипотцой голос, она волновалась, как бы оттаивала сердцем, и поблекшие, запавшие теперь ее щеки пылали недолгим румянцем, и она была благодарна ему за эти, такие короткие, минуты воспоминаний. От песни веяло чем-то

далеким, необратимым, она навевала девичьи грезы, зыбкие, неопределенные, о которых она уже почти совсем не вспоминала... «Ты прекрасна, как полная луна на летнем небе, Марияш. Околдовали меня черные косы твои, пленили меня белые руки твои, Марияш. Долгожданная моя, несравненная...» Все реже и реже пел, однако, он эту песню. Марияш чудилось, что он даже стыдится той песни, что ему теперь неловко петь эту песню ей, такой постаревшей, уставшей от домашних забот, и Марияш иногда казалось, что слова эти никогда ей и не предназначались...

Нудными зимними ночами сидя у колыбели, привязанной к кольцу на потолке, баюкая очередного младенца, она, бывало, тихо-тихо, чтобы не услышал муж, сидевший за стеной в другой комнате за своим громадным письменным столом, напевала дрожащим голосом ту далекую, как сон, песню про самую счастливую, самую красивую девушку Марияш и, положив голову на колени, неслышно плакала. Нет, она не роптала на свою судьбу, она ведь жила не хуже других аульных сверстниц, ничуть не хуже, ей и в голову не приходило обвинять в чем-то своего мужа, сетовать на него. Нет, ей просто становилось жаль — она и сама не знала почему — озорную, веселую, восторженную девушку Марияш, воспетую когда-то поэтом.

На него тоже нелегким бременем обрушились обычные аульные заботы, хозяйство. Ранней весной надо было пахать огород, сажать картошку, подправлять плетень, ставить подпорки в хлеву, очищать сарай от зимнего хлама, мазать и белить дом, косить сено, заготавливать дрова, позаботиться о согуме[1], подлатать, подшить обувку для себя, жены и детей. «Господи, какая несправедливость!» — почти с отчаянием думал он иногда. Если отбросить все это мелочное, суетное, все то, что человек неутомимо добывает, приобретает за свою долгую и до обидного короткую жизнь — хлеб, дрова, сено, квартиру, мебель, тряпки, должности, звания,— отделить от человека хлопоты, которых у него тьма-тьмущая, то что, собственно, останется от человека? Ведь не в этом его назначение на земле. Ради чего он пришел и с чем уходит из жизни? Сколько сил, энергии, способностей и ума он, человек, этот венец приро-

[1] Скот, предназначенный на зимний убой.

ды, тратит только на одно существование! Только на то, чтобы прожить жизнь!

Акбасов осунулся, ссутулился. Костюм, пиджак, макинтош, ботинки Мариям давно уже спрятала в сундук. Они были непригодны для повседневной носки в ауле. Он стал ходить в заляпанных глиной и навозом кирзовых сапогах, шапке-ушанке, тронутой молью, фуфайке, плотном, нестирающемся дождевике. Худой, небритый, постоянно озабоченный, он был сейчас совсем не похож на того прославленного, блистательного поэта, только что приехавшего из столицы. Глядя на его далеко не блестящий вид, Мариям порою чувствовала к нему острую женскую жалость. «Бедный, ему ведь тоже нелегко. Он ведь поэт, писатель, а ему приходится убирать навоз из хлева». Иногда ей даже казалось, что это она виновата в его неудачливой судьбе, что она, народив ему кучу детей, связала его по рукам и ногам.

С ранней весны до белых мух он почти не имел возможности сесть за письменный стол. Лишь изредка писал он короткие очерки и заметки о колхозных делах, о подготовке к весеннему севу, к расплоду овец, о бригадире-передовике, к праздникам, порой уже по заказу, еще пописывал стишки для районной и областной газет. Читая их, он морщился, злился на себя, все это казалось ему досадной мелочью, которой ему, писателю, не следовало бы заниматься. Однако он был, видно, слишком строг к себе, ибо в аулах его заметки и стихи читались с интересом. Однажды он написал большой стихотворный фельетон о колхозном председателе — хапуге и рвача. Острый, едкий фельетон мгновенно разошелся по всей области, его выучили наизусть от мала до велика. Его исполняли на вечеринках под аккомпанемент домбры, точно эпическое сказание. Зарвавшийся председатель был посрамлен. Колхозники восхищались смелостью Акбасова. «Вот, читайте, читайте,— говорили в аулах, передавая друг другу до дыр зачитанную газету.— Вот как пропесочил наш Акбасов председателя. Вот что значит поэт! Никого не боится. Слово его честное, правдивое!»

Баскарму вскоре сняли, и тут в ауле произошло неожиданное, что вначале ошеломило Акбасова. Те, кто еще недавно восхищались фельетоном, странно заговорили вдруг о том, что, дескать, зря Акбасов все это затеял, своего же сородича, соплеменника на всю область высмеял, сор из избы вынес. Другие, у кого рыльце тоже было в

пушку, настороженно, недобро косились на дерзкого автора.

Акбасов чувствовал себя глубоко одиноким. Хотя он и выписывал множество газет и журналов, старался быть в курсе современных литературных новостей, однако с каждым годом все острее сознавал, что отстает, и большинство проблем, по поводу которых ломались в печати литературно-критические копья, совершенно его не задевают, не волнуют. Некоторое время он переписывался с друзьями из столицы. Писал им длинные письма, а они отвечали коротенькими, пустыми отписками, и переписка вскоре совсем заглохла.

«Писатель»,— говорили о нем теперь в ауле как бы между прочим, равнодушно. Он понимал, что единственное его спасение в труде, в писании, в работе над своим главным произведением.

Незаметно проходили годы, а писалось неимоверно трудно, и то, что было написано, его по-прежнему не удовлетворяло. Редко выпадали радостные дни, когда он мог сам себе сказать: «Вот эта страничка получилась на славу». Большей частью шли одни сомнения, терзания, муки. Он становился угрюмым и раздражительным. С тоской думалось: ведь столько уже прожито, столько годов миновало, а он все еще живет надеждой, все угасающей надеждой, что вот-вот придет оно, писательское счастье, долгожданное, выстраданное, и он сразу встрепенется, преобразится, и легко-легко заскользит перо, и лист к листу вырастет на глазах желанная рукопись заветной книги. А потом измученный, опустошенный, злой на себя и на свою неудачу, с дикой головной болью, словно страдалец-мученик, смотрел в черное, глухое окно.

Видно, упустил он свое время, вспугнул чуткое писательское счастье, все тянул-тянул, какие-то особые условия искал для работы, то дом ставил, то в шошале уединялся, то в юрту перебирался, все откладывал на потом, когда уладит все житейские дела. О аллах, какая наивность! Житейские заботы — топь, в которой безнадежно застревали многие мужи. Тут единственная мудрость — довольствоваться малым, самым-самым необходимым. А излишне хорошие условия для творческого человека оборачиваются нередко каким-то непостижимо дьявольским образом бесплодием. Странная закономерность! Душа, обрастающая жирком, глуха и нема. Должно быть, напрасно уповал он на аул, как на причал, спасающий от всех бед и творче-

ского бессилия, как на приют отдохновения. Там, в столице, захваченный азартом соперничества, духом деятельности, подстегиваемый тщеславием и поддержкой друзей и даже неприязнью тайных и явных недоброжелателей, он, вероятно, мог бы все же выжать что-то из себя. Кто знает...

Вокруг, на кроватях и на полу, спали дети, спали безмятежным детским сном — посапывали, чему-то улыбались, ворочались — им не было дела до отцовских мук и терзаний, они были бессильны помочь ему в его беде, а он все глядел в окно, беседовал с героями недописанной книги, переживал их жизнь, печалился о них, и перед ним на столе, заваленном книгами, ученическими сумками, журналами, лежали кипы исчерканных, истерзанных, много раз переписанных страниц. На стенах, под стеклом, висели старые, пожелтевшие фотографии. С них на него глядели его сверстники, приятели, собратья по перу, ныне известные, прославленные, именитые. А ночь кончалась, уже белело на востоке, и петухи восторженно горланили на весь аул, и кошка уже скреблась за дверью, домой просилась, как бы намекая, что уже пора хозяину выходить к своим повседневным привычным заботам. И начинался новый день, такой, каких было много, очень много в его жизни.

Вокруг работали люди, его знакомые. Каждый имел свою работу, определенные обязанности, каждый знал, что ему нужно сделать сегодня, завтра, знал, для чего он делает свою работу и, сделав ее, с чувством исполненного долга спокойно приходил домой, и совесть его была чиста перед детьми, перед женой и перед самим собой. А с Акбасовым была его вечная тревога, вечное сомнение, к которым примешивалось еще постоянное чувство горькой неудовлетворенности, какой-то вины перед людьми. Он не знал покоя, ему почти не удавалось отвлечься, уйти от своих мыслей, день-деньской изводивших его, как неизлечимая, медленно убивающая болезнь. И никому не было дела до его треволнений и неудач. Никто не знал, не догадывался о его муках за письменным столом. «Писатель»,— говорили о нем теперь уже с легкой, снисходительной улыбкой, с каким-то (так Акбасову казалось) обидным намеком. «Акбасову что,— поговаривали иные в ауле.— Сидит себе дома под бочком молодой жены, газеты, книжки почитывает, статейки, стишки пописывает, денежки ни за что ни про что зашибает». И никому не приходило в голову, чего стоят ему эти стишки и статейки, и что это за деньги,

если их разделить на двенадцать месяцев в году, да на ораву детишек мал мала меньше.

Порой его охватывало безразличие. «Ну, что ж...— думал он тогда с легкой грустью.— Когда-то писал, а теперь не могу, разучился. Ну и аллах с ним! Видимо, то было просто ошибкой, заблуждением. Зато я честен. И чист перед самим собой. Не умею писать и не пишу. Не мараю бумагу, не стряпаю романов».

Он косил в лесу сено, слушал, как звонко пела литовка: жжи-жжик-жжик, видел, как у его ног стелилась ровным рядком, источая пьянящий аромат, сочная лесная трава, отдыхал, закинув руки за голову, вдыхая в себя все лесные запахи, глядел в небо, любовался облаками, и не надо было ломать голову над эпитетами к ним — перистые, редкие, белесые, пушистые, кучевые, низкие, мрачные, черные, кудлатые, дождем набухшие, лучами солнца пронизанные,— это были просто облака, и только. И солнце было просто солнце. И были дети. Была жена. Была жизнь вокруг. Абсолютно ясная, бесхитростная. Без сложной композиции, без сюжетных хитросплетений, без смещения времени, психологических изысков и бесчисленных писательских премудростей. И все. Легко и просто.

Но недолго длилось такое блаженство. Письменный стол властно звал к себе, и как укор белел на нем чистый лист бумаги.

3

Между тем в аулах происходили крутые перемены. У всех на устах было звонкое, короткое слово — целина. Казалось, встрепенулась лесостепь после долгой дремы. Понаехал откуда-то беспокойный, шумливый люд. На ковыльных просторах, где раньше пасли скот, неожиданно вырастали белодомые поселки. За три-четыре года распахали нетронутые веками земли. Весной и осенью за аулом без устали тарахтели трактора. Раньше за семьдесять верст вокруг каждый каждого знал до седьмого колена. Теперь любопытные старики все чаще останавливали незнакомых вихрастых мальчишек и спрашивали: «Эй, бала, ты чей? Откуда?» Расторопные мальчишки бойко называли свои мудреные фамилии, имена, названия родных мест, которые и не поддавались произношению стариков. Вечерами над аулом всплывали непривычные протяжные песни, играла охрипшая на целинном ветру

гармошка, где-то сыпала разудалой дробью балалайка.

Слово «аул» произносили все реже. Говорили: отделение, потом — совхоз, центральная усадьба. Все вокруг принялись лихорадочно строить. И дома строили добротные, крытые железом или шифером.

По заданию краевой газеты Акбасов теперь часто ездил по району, бывал в новых совхозах, на станах, в полевых бригадах. Он опубликовал серию очерков — живые, с натуры зарисовки, в которых стремился отобразить все происходившие в аулах новшества. Цикл очерков о новом облике целинной земли принес ему успех и радость. Дело было не только в грамоте и премии краевой газеты, а в том приподнятом, вдохновенном состоянии, которое он испытывал, когда писал эти очерки. Его самого поражали и захватывали разительные перемены в родном краю. Он ведь еще хорошо помнил то время, когда на месте аула кочевали его сородичи. Занимались скотоводством. Всего, помнится, две-три семьи жили жатаками, оседло, засевали десятину-другую земли. Кое-кто пробавлялся тем, что летом косил и продавал сено. Жили в прокопченных юртах неподалеку от Ишима, а в жестокие буранные зимы ютились в землянках из дерновых пластов. На их месте теперь остались ямины, заросшие чертополохом и полынью. Верстах в ста отсюда была единственная на всю округу школа. И то, какая там школа — медресе, где с горем пополам долбили арабскую азбуку. А недавно на совхозном собрании крутогрудые джигиты, вчерашние аульные сорванцы, до хрипоты уговаривали, убеждали руководство построить новую, непременно трехэтажную школу и просторный — мест на восемьсот — клуб. Акбасов слушал горячие, убедительные речи джигитов, которых он помнил еще запеленутыми в деревянных колыбельках, вспоминал старый кочевой аул и испытывал при этом необъяснимое, странное состояние, будто он прожил не одну жизнь, а жил долго-долго, в двух-трех веках. Удивительно, сколько может вмещать в себе одна-единственная человеческая жизнь! Ведь, по сути, эта мысль, вернее, это состояние — постоянное удивление тем, что произошло на его глазах, на его веку,— и должно пронизывать каждую страничку, каждую фразу его романа.

Водоворот событий подхватил, увлек Акбасова. Никогда еще не бывал он так занят, как в эти годы. Он руководил районным литературным объединением, читал рукописи начинающих литераторов, удивляясь их начитан-

ности и смелости, проводил областные айтысы — поэтические состязания. Чем больше у него было обязанностей и нагрузок, тем лучше себя чувствовал и больше успевал делать. А хлопот было много, и не всегда приятных. Народ нахлынул в лесостепь разношерстный, были и такие, что покоряли степь излишне разнузданно, разухабисто. Случалось, и драки вспыхивали возле тихих некогда сельских магазинчиков, и пьяная байга на тракторах будоражила аул, и пастбища распахивали впритык к огородам, пришлось пасти скотину в тугайных зарослях вдоль Ишима, не пощадил плуг и степные дороги, и зверье во всей округе извели, и рыбу в старицах глушили, и сонные колки, зеленые островки вокруг аулов, беспричинно вырубили, траву вытоптали, землю разворотили так, что в ветреный день над аулами гудела пыльная буря. Акбасов неустанно и всюду говорил о защите природы, разоблачал браконьеров, нерадивых хозяйственников, взывал к совести, к состраданию, обивал пороги высокого начальства, и над писателем иногда подтрунивали: «Ну, что? Опять осину срубили? Полянку вспахали? Мазар[1] своротили? Рыбку в старице подчистую вычерпали? Машины в речке моют? Экая беда! Мы ведь целину поднимаем, товарищ Акбасов. Революцию в сельском хозяйстве совершаем. Лес рубят — щепки летят. Надо видеть масштаб, перспективу, а не о паршивой осине слезы лить, о вытоптанной полянке горевать». Нашлись и такие, кто назвал его поборником патриархальной старины и феодальных пережитков. Ночами он по-прежнему корпел над пожелтевшими страницами своей дилогии, переписывал, переделывал целые главы, чувствуя, как память услужливо подсказывает ему нужные слова, сюжетные ходы и характеры. По стародавней привычке он писал арабскими буквами, и рука все стремительней скользила справа налево, справа налево, и все заметнее росла стопка исписанных страниц. Он стал бодрей, энергичней, как-то подтянулся весь, и Марияш радовалась этим переменам в муже, старалась, как могла, поддержать его творческий настрой.

Незаметно подрастали дети. Одно время Акбасов дважды в год — осенью и весной — проводил тои: кто-то из младших впервые отправлялся в школу, а кто-то из старших ее кончал. Первенец уже учился в институте и поговаривал о женитьбе, чтобы привести в дом сноху,

[1] Надгробный памятник, могила *(каз.)*.

помощницу, а последыши-близнецы еще без штанов резвились на зеленой травке перед домом. «Совсем меня разорят эти крикуны»,— ворчал Акбасов, приглашая аульчан на очередное торжество. Тесно стало в сосновом доме, пришлось с помощью родственников пристроить еще две комнаты. Марияш чувствовала себя счастливой, дети росли здоровыми и способными. Учились легко, хорошо пели, играли в струнном оркестре. Старшие вполне справлялись с домашним хозяйством.

Акбасов писал с упоением. Первая книга дилогии была в основном закончена, но он не решался кому-нибудь показать ее. «Пусть лежит, дозревает,— уговаривал он себя.— Потом, когда немного остыну, просмотрю разок-другой как бы со стороны. И тогда уж рискну...»

Событием в ауле стал приезд прославленного писателя Турсунова. Почти месяц колесил по областям северного Казахстана этот уже пожилой, грузный, неутомимый и очень знаменитый человек, собирал материал, набирался впечатлений для нового романа о целине. В аул он завернул неожиданно, без предупреждения, оставив сопровождавшую его свиту в районе.

Акбасов сиял. Они не были друзьями, но когда-то часто скрещивались их пути, одно время даже работали бок о бок, хорошо знали друг друга и имели очень много общих знакомых. Турсунов был тоже уроженцем этих мест. И вдруг такая честь: сам Турсунов соблаговолил проведать своего аульного коллегу. Акбасов зарезал самую жирную ярку, пригласил стариков, знавших Турсунова еще со времен гражданской войны.

Деятельный и общительный, Турсунов мигом ознакомился с аулом, за один день побывал в школе, и в клубе, и на ферме, шутил, балагурил, подружился с детьми Акбасова, похвалил Марияш: «Ай да келин! Вон скольких вскормила, вспоила, а! Богатая!» В первый же вечер, когда ушли гости, он попросил Акбасова показать все, что он написал за эти годы. Акбасов отнекивался, робел, говорил, что все, что он написал,— так себе, газетная мелочь, не заслуживающая внимания столь маститого писателя. Но Турсунов был настойчив, и тогда хозяин достал из письменного стола толстенную папку, протянул ее дрожащими руками: «Вот... Правда, еще не законченная». Гость попросил поставить ему на ночь у постели чашу кумыса и углубился в чтение.

Гостил Турсунов в ауле два дня. Прощаясь, благодарил

за прием, за отдых, пожалел, что не хватает времени, как хорошо было бы побродить вдоль Ишима. Рукопись забрал с собой. «Нет, нет, дорогой. Не выдумывай. Покажу нашим аксакалам,— сказал он, с трудом втискивая свое дородное тело в черную обкомовскую «Волгу».— Ты, я вижу, мнительный чересчур стал. А вещь, между прочим, написал добротную. Не тяни. Поверь: ничего лучшего о целинном ауле я пока не читал».

Уехал Турсунов, а Акбасова несколько месяцев не покидало странное, возбужденное состояние — радость, перемешанная с робостью, неуверенностью, смутной тревогой.

А потом почти одновременно пришли письма от старых друзей-литераторов, с которыми он потерял было всякую связь. Они восторженно отзывались о первой книге дилогии, говорили о точности деталей, верности характеров, живости и сочности языка. Акбасов усмехался, откуда им известно о точности и верности. Хвалебные эти письма почти не трогали его сейчас. Может, добрый Турсунов по старой памяти решил как-то ободрить его, утешить и заставил «аксакалов» высказать письменно пару комплиментов. А может, и действительно увидели друзья что-то стоящее в его романе. Все дружно уговаривали не откладывать, скорее завершить дилогию. Из издательства пришло извещение о том, что книга включена в план. Но Акбасов не торопился, затребовал рукопись назад и терпеливо работал над второй книгой, радуясь про себя, что не поддался соблазну, не кончил ее в спешке, не скомкал последние главы, ибо только теперь, после всех тех непостижимых перемен и изменений в родном краю, он ясно осознал, как сложится реальная судьба его героев... хлеборобов и скотоводов целинной земли. Пусть это будет не шедевр (куда ему!), но он напишет правдивую и честную книгу, которой не надо будет стыдиться ни ему, ни детям, ни землякам. Да и куда ему спешить? Слишком много сил и крови стоила ему эта книга, чтобы так просто и вдруг с нею расстаться. Лучше уже потом, когда он закончит всю дилогию, поставит последнюю точку и сам себе скажет: «Все. Что мог — сделал. И ничего больше не могу. Выдохся. Иссяк». Сказал же кто-то из мудрых: «Писатель вообще не заканчивает книгу. В один прекрасный день он просто расстается с ней». Придет срок, и он расстанется. А пока пусть лежит вот здесь, под рукой, чтобы мог при необходимости шлифовать ее еще и еще,

ибо нет для художника большей радости — радости бесконечного совершенствования своего творения.

Шумно, с привычным для степняков размахом и щедростью отметили земляки его семидесятилетие. Было все, что полагается в подобных случаях: речи, встречи, статьи в газетах, торжественное собрание в районе с представительными гостями из области и республики. Он чувствовал себя скованно, растерянно, сидел в президиуме, вобрав голову в плечи, словно защищаясь от неукротимых словоизлияний говорунов. Торжество казалось ему не по чину. Совхоз устроил той на берегу нового водохранилища со скачками, айтысом акынов, состязанием борцов. Акбасов был растроган, сиплым, слабым голосом прочел короткий благодарственный стих, низко-низко поклонился землякам.

Потом, после юбилея, еще месяца два приезжали из далеких районов гости с поздравлениями, пожеланиями здоровья, счастья. Марияш вместе с соседками едва успевала разогревать самовар и ставить мясо, а Акбасов, вежливо выслушав гостей и поручив их сыновьям, удалялся в свой кабинет. Он работал неистово, словно наверстывая упущенное время, мстя за этот долгий и мучительный застой, кризис, когда все валилось из рук.

Ну что ж,— почти спокойно рассуждал он в минуты отдыха,— жизнь — хорошо ли, плохо ли — прожита. Конечно, с высоты восьмого десятка ему теперь ясно, что можно и, наверное, надо было жить несколько иначе, интереснее и богаче. Но хромая овца, как говорится в поговорке, всегда после обеда блеет. Так уж повелось, на старости лет всегда мысленно жизнь свою перекраиваешь. Увы, только в думах, в мечтах.

Позади была долгая жизнь. Были и свои, пусть небольшие, радости. Мимолетные, редкие мгновения за муки, за сладкую каторгу творчества. Он сполна испытал превратную долю человека, имеющего отношение к искусству. Конечно, никому нет дела до его внутренних терзаний, душевных треволнений. Это его сугубо личное. И оно останется только с ним.

Долгий путь — жизнь; галопом на аргамаке ее не проскачешь: и горя вдоволь хлебнешь, и счастье, бывает, найдешь. Грешно ему жаловаться на судьбу. В конечном счете получаешь то, что заслуживаешь.

Немного, видно, ему осталось жизни. Но не это его волнует. Пусть Шал-акын, сын батыра Кулеке, не нашеп-

тывает ему горьких строк о проклятой старости. Единственная забота — закончить книгу. Это все, что он оставит после себя людям. В ней и его надежда, и любовь, и радость, и добрая память о родном крае, и благодарность землякам...

В долгую зимнюю ночь погрузился аул. В домах давно уже погас свет. И неутомимый трудяга-движок в совхозной мастерской за лесочком уже не стрекотал. Ни звука. Ни шороха. Лишь запоздавший где-то гуляка ветер блуждает в ветвях осин за колодцем и никак не может найти дорогу домой.

И только в одном окошке большого соснового дома на краю аула тускло и робко мерцает свет...

1972—1980

У ЗАЛИВА ТУЩИ-БАС

(Диптих)

I. БАБУШКА КУЛЬЗИПА

1

Из-за моря, расцвечивая вершины Бел-арана, медленно выкатывается солнце. Я уже не сплю. Каждое утро перед самым восходом будит меня отчаянная колготня чаек; они орут, суматошно хлопают крыльями, пронзительно кричат, свирепо дерутся неподалеку от нашей мазанки, за песчаными дюнами — никак не поделят утреннюю добычу.

Я выбираюсь из-под полога-масаханы, убираю свою раскладушку, смотрю на море: огромное, черное, оно, кажется, еще спит тяжелым богатырским сном. У самого берега лежит опрокинутая лодка, на нее взгромоздился рыбак и вяло, как бы нехотя, потюкивает по днищу деревянной колотушкой. Но ни этот деревянный стук, ни истошный гвалт чаек не в силах нарушить дремучий сон могучего моря. Приятно спится ему, обласканному утренними лучами.

В ста шагах от моря, на мягком, зыбучем песке, рядом с дюнами, заросшими бурым кустарником, выстроились в ряд девять маленьких летних мазанок. Они построены из камышитовых матов, обмазанных желтой глиной. Знойным летом в них удивительно прохладно, а зимой, должно быть, тепло, и называют их в здешних краях «какра́». Девять какра-времянок — рыбачий аул.

Испокон веков рано поднимаются в рыбачьем ауле. Море не любит ленивых, здесь не принято подолгу валяться, нежиться в постели. Перед крайней какрой у кривоногого тагана женщина скребет казан, кто-то, согнувшись в три погибели, тащит в мешке лед из холодильника — дорога каждая капля пресной воды. Взвалив на плечо

куржун, с серпом в руке, вразвалку, тяжелой походкой идет один из рыбаков к морю. Видно, по утренней прохладе собрался покосить прибрежный молодой камыш и осоку: надо и о корме для скотины побеспокоиться.

Но раньше всех в этом ауле, куда я на днях прибыл, встает, пожалуй, моя хозяйка — бабушка Кульзипа. С утра она уже успела подоить верблюдицу и выгнать овец в степь. Возле очага тонко попискивает самовар. Бесцветной струйкой вьется, тянется из его длинной черной трубы жидкий дымок. Под навесом Кульзипа вбила в землю колышки и растянула на них разноцветную пряжу, установила свой немудреный, древний, как само море, ткацкий станок. До чего он прост! И как проворно, легко, даже артистично работает за ним старуха. Узловатые землистые пальцы ловко продевают челнок под пряжей, руки сноровисто берут отполированную за долгие годы, потемневшую от времени, чуть плоскую увесистую палку, подбивают, подгоняют ею нить к нити и снова хватаются за челнок. Лицо ее при этом спокойно, сосредоточенно, губы плотно сжаты, и лишь высокий белый тюрбан на голове подрагивает при каждом движении. Не работает бабушка Кульзипа за ткацким станком, а священнодействует. Изредка вылезают из-под жаулыка пряди седых волос, и она их досадливо заправляет за ухо.

— Доброе утро, аже![1] — бодро говорю я ей.

— Э, карагым[2], что ж ты так рано встал?.. Полежал бы еще, подремал. Пишешь, пишешь целыми днями бумагу. А ведь она, бумага-то, здоровье съедает, зрение точит...

Это она мне говорит каждое утро.

— Ничего, аже. Кто рано встает, тому ведь, говорят, сам бог подает...

Старуха улыбается.

Уже третий день мы с бабушкой Кульзипой почти все время одни. Хозяин домика — крепко сбитый, крутогрудый, мускулистый старый рыбак с острой, клинышком, бороденкой — в последнее время пропадал в море: ловил рыбу и косил курак на том берегу залива. Жена его уехала в район, чтобы показать тамошнему «локтору» свою бабью хворь. Дети, их пятеро мальчишек и девочек, целый день

---

[1] Бабушка *(каз.)*.

[2] Родной *(каз.)*.

возятся у моря, барахтаются в нагретой прибрежной воде, зеленоватой от ила и водорослей, жарятся на каленом, сухом песке, охотятся за бычками — маленькими тупоголовыми рыбками. В обед они забегают домой, берут по куску лепешки, выпивают по чашке квашеного верблюжьего молока и снова бегут к морю.

— Ну что? Махать пойдешь? — насмешливо спрашивает старуха.— Иди скорей. Сейчас чай закипит.

Я иду «махать». Никак не может привыкнуть бабушка Кульзипа к моей зарядке. Глупо, даже неприлично в ее глазах взрослому мужчине без толку размахивать руками, прыгать на месте, колотить кулаками воздух. Ей становится неловко за меня, и она смущенно отворачивается: еще рыбаки увидят...

Старуха в это время стелет под навесом времянки дастархан — небольшую ситцевую скатерку, низко сгибаясь, несет самовар, нарезает длинными, узкими ломтиками лепешку с коричневыми подпалинами, испеченную в золе, развязывает мешочек, высыпает из него рафинад, а перед собой кладет две-три конфетки. Она сластена и неизменно пьет чай, посасывая свой «салатна́й кулюш» — «золотой ключик».

За чаем она говорит мало. Должно быть, не хочет мешать гостю, который — это она успела заметить — понимает толк в чае. Лишь после того как я допиваю четвертую или пятую пиалу, она спросит о чем-нибудь. Я ставлю перед ней пиалу, она наливает из заварника душистый, крутой чай, потом доливает из самовара кипяток и дрожащей рукой подает мне.

В первые дни моего приезда старухе казалось стра́нным, что я говорю по-казахски, и она обращалась ко мне со словами, которые казаху издавна кажутся русскими, а для русского уха звучат как казахские. Имя мое она никак не могла выговорить, но когда я в шутку сказал, что буду из рода керей, она весело захихикала и с того момента стала звать меня Кереем. Неслышно приоткрыв дверцу лачуги, в которой расположился я, она звала меня на обед:

— Керей! Кушит, кушит...

А за дастарханом несколько дней спрашивала об одном и том же, убежденная, что говорит по-русски.

— Марджа иес?

— Иес, иес,— отвечал я, невольно подлаживаясь под ее речь.

— Э... э,— одобряюще тянула старуха.— А баранчук иес?

— Иес, иес...

Выяснив, что я женат и что у меня есть баранчук — ребенок, она улыбнулась и, довольная, заключила:

— Э... э... айналайн, карош, карош...

Ей уже далеко за семьдесят. Иссушили годы ее тело, исхлестали ветер и зной ее лицо. Маленькое, сморщенное, оно вдоль и поперек изрезано морщинами, глаза выцвели, запрятались, щеки запали, во рту осталось всего два-три желтых, изъеденных зуба.

Но красивой, рассказывали мне, была она в молодости. Шалуньей, баловницей росла. Она была единственным ребенком в семье, а отец страстно мечтал иметь сына. Потому наряжали ее мальчиком, и стали звать не Кульзипой, а Кадыршатом. Ей нравилось играть с мальчишками, с ними было проще, веселей. Любила она скакать на коне по степи из аула в аул, со сверстниками-подростками. И ни в безумных скачках, ни в удали не уступала джигитам. Но коротка пора девичья. Шестнадцати лет выдали ее замуж. Души не чаял в ней молодой черноглазый крепыш пастух. Гордился смелой и своевольной красавицей женой. Красивой была... Неожиданно, как вихрь в степи, обрушилось на молодую семью несчастье. Подкараулила смуглолицего пастуха хворь — старухи называли ее «кирне»,— скрутила, свалила его, а уже через неделю в дом молодых подкралась смерть. И опомниться не успела юная вдова, как ее, по старому обычаю, выдали замуж за младшего брата покойного, за молчаливого плечистого рыбака. Кульзипа безропотно покорилась судьбе и древнему шариату, а вскоре привыкла к новому мужу, привязалась, полюбила спокойной, ровной любовью. Один за другим пошли дети, но почему-то не выживали: рождались хилыми, вялыми и через два-три года умирали. Почти каждый год появлялся в семье ребенок, а на кургане за аулом прибавлялась свежая могила. Жизнь стала бессмысленной, ненужной, когда умер последний, одиннадцатый ребенок, трехлетний большеглазый мальчуган, радость и надежда отца. В пустой дырявой юрте сидела безутешная мать, тупо уставившись в пустоту, а рыбак, как всегда, спозаранку уходил в море, возвращался ночью и, не раздеваясь, молча ложился на подстилку в углу. Говорить было не о чем. Не пел, как прежде, старый медный, весь во вмятинах самовар, не бурлило в черном котле, не звучал больше детский лепет.

Погасла жизнь в маленькой рыбацкой юрте. И не знал рыбак, что целыми днями сидела, отравленная горем, безучастная ко всему старая, поседевшая мать на козлиной шкуре у потухшего очага, и не знала Кульзипа, что не рыбу ловил молчаливый рыбак, уплывая подальше от людей,— один в безбрежном море исходил горькими, тяжелыми слезами. Так продолжалось не год, и не два...

Однажды за дастарханом, когда рыбак, выпив наскоро две чашки чаю, откинулся было на подушку и отвернулся лицом к стене, Кульзипа негромко сказала:

— Послушай, Шокиман...

Он удивленно поднял голову, обернулся. Давно уже он не слышал ее голоса и испугался: непривычно и глухо, старчески звучал он теперь.

— Послушай, Шокиман...— продолжала она, не замечая его удивления.— Видно, чем-то прогневала я нашего создателя... Не дал он мне счастья... Не суждено мне было слышать смех детишек, верблюжат моих... Но не хочу я, чтоб ты был горемыкой. Не хочу, чтоб ты остался сиротой. Одиноким, как засохший карагач в степи. Я тебе верной женой была. Теперь старая стала, не согреть уже мне твоей постели... И я решила: женю тебя. Буду жить твоим счастьем, твоей радостью. Детей твоих нянчить буду. Ведь я была тебе когда-то женге[1]. Ею и останусь.

Он хмыкнул горестно.

— Что ты говоришь, Кульзипа? Что ты задумала?!

— Не возражай! Как решила, так и будет! Ты не стар еще. Я сама подыщу тебе девку, молодую и крепкую.

Он промолчал. А она убеждала его, что не станет ему ни помехой, ни обузой, что может вообще уйти от него, если он того пожелает, если ему стыдно или неловко, но иначе поступить она не может, просто не в силах, не может она допустить, чтобы он, такой сильный и не старый еще мужчина, уважаемый в роду человек, труженик моря, не оставил следа после себя, прожил жизнь без потомков. И действительно, женила вскоре Кульзипа его на высокой молодке из соседнего аула, настояла все-таки на своем. А сама под предлогом того, что давно не навещала дальних родственников, что пора повидаться с живыми и поклониться могилам мертвых, собралась и уехала. Не хотела, должно быть, чтобы злые языки трепали доброе имя ее Шокимана. Смущался поначалу Шокиман, было как-то

[1] Жена брата или старшего родственника.

неловко перед прежней женой, сознание вины тяготило его. Вечерами, ложась спать с крепкотелой, горячей молодкой, он думал о Кульзипе, мучился, ругал себя.

Вернулась Кульзипа через год, когда молодая принесла двойню. Вошла в дом уже не как жена, а как женге Шокимана,— он это понял сразу и проникся к ней еще большим уважением. И в юрту их снова заглянуло солнце. Оживилась Кульзипа. Она с удовольствием нянчила детей, была неугомонной в хозяйстве, и молодая перестала на нее коситься, уж не считала своей соперницей и почтительно называла ее «апа». Росла семья с каждым годом, дети были крепкими и скуластыми, как отец. Они тянулись к Кульзипе и первое слово, которое они научились лепетать, было «аже» — бабушка.

Потеплело в груди Кульзипы, смягчилось сердце, она все реже думала о своих рано умерших детях, и казалось ей, что было это все когда-то давным-давно, в каком-то долгом кошмарном сне. Забот было много, как-то незаметно она стала душой большой семьи. Радовалась Кульзипа за своего Шокимана, радовалась тому, что не только нелегкий труд рыбака, но и плоть и кровь его останутся после него на земле. А в этом ведь суть каждого живущего...

Эту простую и возвышенно-благородную историю рыбачьей семьи в маленьком ауле у залива Тущи-бас поведал мне еще в Алма-Ате один известный писатель, который приходился старому Шокиману внучатым племянником.

— Аже! Когда же артисты выступать будут? — спрашиваю я, прикрыв на мгновение ладонью пиалу в знак того, что напился всласть.

Еще утром далеко от берега, в море, остановился катер, и вскоре рыбачий аул всколыхнула долгожданная весть: «Из города приехали артисты».

— Говорили, в полдень. До вечера им надо еще в Авань успеть.

— А вы пойдете на концерт?

— А как же?! Раз старуха, думаешь, и песен не хочется послушать... Как не пойти? Все пойдут.

— Тогда и я с вами, аже. Ладно?

Старуха звучно схлебывает с блюдца чай, выливает остаток в чашку и, лукаво щурясь, оборачивается ко мне:

— А что со мной-то ходить? Вон сколько девок на песке валяется... Там небось веселей, а?..

Маленькой сухой рукой Кульзипа показывает на берег и смеется дребезжащим, колючим смешком.

2

Недалеко от рыбоприемного пункта у причала возле лодок возятся рыбаки. В утренней тишине далеко слышны их хрипловатые голоса, смех, сухой шелест брезентовых роб, шуршание песка под коваными, морской солью выбеленными кирзовыми сапогами. Кто-то перебирает снасти, другой копается в моторе, третий уже сидит в лодке и покуривает. Чуть поодаль на чурбаках стоит только что обклеенная стеклотканью остроносая, с вытянутым, как у призового рысака, корпусом лодка. Вокруг нее все ходит-ходит, явно любуясь ею, немолодой уже, худощавый мужчина с деревяшкой вместо одной ноги.

— Эй, начальник! Когда же ты наконец свой клесыр закончишь? — с усмешкой спрашивает один из рыбаков.

— Не клесыр, а глиссер! Глис-сер,— спокойно поправляет приемщик.

— Кончай скорее! Оседлаем потом твой клесыр-кеср и погоняем рыбу по всему морю, как собака зайца в степи.

Рыбаки смеются. Второй год приемщик строит глиссер. Что это такое — никто здесь толком не знает. Да и приемщику не приходилось еще видеть настоящего глиссера. Однажды в каком-то журнале наткнулся на чертеж и с того времени загорелся желанием построить легкую плоскодонную лодку, стремительно скользящую по поверхности воды. Он и название уже придумал: «Арман» — «Мечта». Но свободного времени у приемщика мало. В этом маленьком ауле он и приемщик, и продавец, и почтовоз (должно быть, потому рыбаки и называют его в шутку начальником — «начандык»), и неизвестно поэтому, когда осуществится его мечта. Рыбаки постоянно подтрунивают над ним и его затеей.

Шокиман, прислушиваясь к привычным шуткам рыбаков, усмехнулся в усы, мягко оттолкнулся багром от берега, уселся рядом с мотором. Потом энергичным рывком завел мотор, и лодка резво сорвалась с места. Вслед за ним отправились в море еще семь рыбаков. Грохот моторов взорвал утреннюю тишь, казалось, даже старый Беларан, окруженный туманом, проснулся в испуге.

«Вот они, труженики моря,— думал старый рыбак.— Зимой и летом, в жару и стужу промышляют рыбу, народ кормят. Сколько каждый из них за свою жизнь вычерпал рыбы из этого громадного казана?! О, горы, горы, аллах

свидетель! Я тоже не мыслю себя без этого моря». Здесь когда-то начал рыбачить его отец, разорившийся скотовод. Помнится, в степных аулах некоторые тогда с презрением говорили о нем: «Вонючий рыбак». И отец порой действительно стыдился этой своей новой, не по собственной воле выбранной профессии. А потом и он, Шокиман, и его братья стали рыбаками, и уже не стыдились, а гордились этим, потому что труд их был нужен и почетен. И на совещаниях и на слетах бывал не раз простой рыбак Шокиман. И в президиумах сидел, и речи с красной трибуны говорил, и в газетах, бывало, о нем писали. Один раз даже фотография была. С трудом себя узнал... Бог даст, подрастут дети, тоже в рыбаки пойдут. Если и не все, то уж Калакай непременно рыбаком станет. Да-а... маленький, конечно, их аул. Невзрачный. Но зато сколько их по всему побережью Арала, таких неприметных аулов! Сколько их, скромных трудяг-рыбаков! Ой-бой...

Возле ярко-красного, издалека заметного и слегка покачивающегося буя, места установки рыбацких сетей, Шокиман заглушил мотор, и лодка по инерции, почти неслышно, заскользила по поверхности воды, остановилась у крайнего пробкового поплавка. Рыбак, щурясь, глянул вдоль цепи разноцветных поплавков, проверяя, так ли стоит сеть, как он поставил ее вчера вечером. Лодка чуть-чуть накренилась, когда он, навалившись всем телом на борт, приподнял левой рукой верхний край сети. Вытаскивая ее метр за метром и медленно двигаясь вдоль натянувшегося каната, он успевал еще в синей прозрачной воде просматривать ячеи и по тяжести определял, в каком месте и какая попалась рыба. Вначале шли почти сплошь сазаны, все как на подбор, брюхастые, крупные, желто-зеленые. Будто захомутованные, спокойно висели они, растопырив жабры, и лениво шевелили плавниками и круглыми ртами. В воде они были особенно красивы: твердая, крупная чешуя переливалась, поблескивала, радовала глаз; казалось, вся сеть была украшена драгоценными подвесками, будто сбруя прославленного скакуна-аргамака. Шокиман ловко освобождал их из ячеи и бросал на дно лодки. Потом стали все чаще попадаться серебристые длинные, гибкие судаки. Их нелегко вынимать из сети. Они путаются в ячеях, вырываются, топорщат острые плавники, бьют хвостом, хищно щерят зубастую пасть. И в лодке лежат неспокойно. Иногда приходится оглушать их колотушкой или совать в глубокий сак. Сеть крепкая, капроновая и длинная —

пятьсот кулаш[1]. В прошлом году получили ее за перевыполнение плана. И улов хорош. Старый рыбак заметил, что конец сети ушел как бы в сторону и поплавки опустились глубже. Вскоре он почувствовал необычную тяжесть сети, хоть вставай и тяни обеими руками. Уж не сом ли ненароком запутался? Он осторожно подтянул сеть, посмотрел вглубь и обомлел: громадной черной тушей висел, застряв одновременно головой и плавниками в нескольких ячеях, матерый шип, а дальше, там, в глубине, смутно темнел еще один. «Мас-саган! — удивился старик.— Парой, что ли, в гости пожаловали?» Тело рыбака напряглось, глаза зорко следили за каждым движением рыбины. Шип силен, изворотлив. Одним рывком может опрокинуть лодку. Одному человеку часто не под силу вытащить его из воды. Но этот был спокоен. «Э-э, милый, думаешь, отпущу тебя? Нет уж. Три года на воле погуляли. Хватит...» — тихо проговорил рыбак, вплотную к борту подтягивая голову шипа. Намотав сеть на левую руку, он укрепился ногами, правой рукой нашарил колотушку и, коротко взмахнув, опустил ее на скользкий, продолговатый череп. Только теперь шип очнулся, рванулся упругим телом, налился силой, хлестнул хвостом по воде. Шокиман немного отпустил сеть и, когда огромная рыба выдохлась и запуталась еще больше, рывком притянул ее к борту и еще раз стукнул по черепу колотушкой. Потом намотал сеть на ключину, поддел сомлевшего шипа снизу веслом и ловким движением, будто бревно, перекинул его в лодку. «Э, дружок, ты, однако, уже побывал однажды у меня, а? — улыбнулся старик, усевшись верхом на скользкую тугобрюхую тушу.— Не тебя ли я в прошлом году выпустил на волю у подножья Бел-арана?..» Он не торопясь высвободил его из сети, туго, как ребенка, запеленал в мокрую рогожину, укрыл тяжелым брезентом, придавил багром. Так же, не спеша, вытащил и второго шипа. Радовался старик. Несколько лет назад едва не перевелся шип в Аральском море. Тогда на три года запретили лов. Это было разумно и своевременно. Шокиман сам ратовал за это, говорил на совещаниях, что шипа нужно беречь. И теперь после трехлетнего перерыва шип размножился. На этом месте Шокиман и вчера поймал трех.

---

[1] Мера длины: расстояние между концами вытянутых в стороны рук.

Солнце поднялось уже высоко. Шокиман просмотрел еще две сети и поспешил к берегу.

Рыбаки, сдав улов, дожидались Шокимана у рыбоприемного пункта. Все были довольны и радостно колготились в тени навеса.

— Ну как, Шоке?

— Слава аллаху...— по привычке пробормотал старик.

Рыбаки помогли перенести добычу носилками на весы, приемщик, взвесив, записал в своей замусоленной тетрадке, сколько килограммов сазана, щуки, судака, шипа сдал сегодня Шокиман. Одного из шипов, самого крупного, пуда на четыре, отнесли в ледник. Он был весь завален рыбой. Дважды в неделю прибывает сюда катер, забирает добычу, доставляет ее на рыбозавод в Авань. Там рыбу потрошат, чистят, разделывают, сушат, вялят, коптят, солят, набивают ею бочки, кадушки, ящики, корзины и потом отправляют по морю и по суше во все города страны. Другого шипа рыбаки оставили себе, чтобы вечером сварить для всего аула бесбармак.

К вечеру вновь вышли в море, чтобы забрать дневной улов и переставить на ночь сети.

Прислушиваясь к ровному стрекоту мотора, Шокиман предался думам: «Надо же... каких-нибудь десять — пятнадцать лет назад редко кто из здешних рыбаков имел моторную лодку. Все веслами орудовали. Пробудешь день на море, продует тебя ветрами, измотаешься, только и думаешь, скорее бы добраться до дома, к теплому очагу, к постели. А берег во-о-он где... Бывало, гребешь-гребешь, ладони горят, плечи, поясница ноют, согнешься весь, на веслах повиснешь, надрываешься. И так изо дня в день, из года в год. А ночью наспех, кое-как чинили старые, прогнившие сети. Теперь же сети получай готовые, целехонькие, капроновые, а если мотор неисправен, рыбак и в море не выйдет. У некоторых сейчас даже и весел нет...»

Приближаясь к берегу, Шокиман заметил, что над причалом кружатся чайки. Значит, рыбаки уже вернулись с моря. На берегу было необычно оживленно. «А, ребятки приехали,— улыбнулся старый рыбак.— Выходит, сегодня суббота». Далеко от моря в бездонной степи Устюрта студенты и строители тянут от самой Бухары газопровод. В субботний вечер приезжают они на разбитых, помятых грузовиках и самосвалах к заливу, и, дорвавшись до моря, эта шумная ватага бросается в воду. До самого утра у берега полыхают костры, льются песни. Где-то далеко в

море, пронзая черную ночь, визжат от счастья и страха девушки, за дюнами устраиваются парочки, и лишь сутки спустя устанавливается здесь привычная первозданная тишина. По душе старику эти шумливые, шальные парни и девчонки.

У причала, радостно улыбаясь, стоял приемщик.

— Шоке, сдавай скорее рыбу. А то концерт начнется.

— О, артисты, что ли, приехали? Вот хорошо! А кюйши[1] среди них есть?

— Есть, есть, Шоке. Как же?! И домбристы, и певцы. Поторапливайтесь.

— Ну, ну. Я мигом. Топай к весам, начандык.

3

В леднике — длинном и низком сарае — сегодня необычно шумно и многолюдно. Вдоль толстой стены выстроились огромные чаны, наполовину зарытые в землю, остро пахнет рыбой, посолом. Из углов тянет ледяной стужей. Там, за массивной дверью, на сером, ноздреватом, твердом, как камень, льду лежат, досаливаются огромные рыбины — шипы, сомы, судаки.

В конце сарая от стены к стене растянут на проволоке брезент-занавес, за которым суетятся, шепчутся, настраивают инструменты, готовятся к концерту приезжие артисты. Обитые железом ворота сарая-хранилища широко распахнуты, но зрители собираются медленно. Неугомонная малышня бегает по сараю, с любопытством заглядывает за занавес, дерется за передние места. Пять-шесть молодух, устроившись поудобней, пеленают своих младенцев, суют им грудь и громко переговариваются.

Наконец приковыляли и старухи. Они так разнарядились, что многих просто не узнать: чистые белые тюрбаны на голове, свежие, хотя и неглаженые, только что извлеченные из сундуков жаулыки, плюшевые камзолы, мягкие кебисы на ногах. Вошли они все разом, с достоинством поджав губы, уселись в круг за ребятишками, и в своих белых жаулыках выглядят чайками на отмели. Сзади них на длинной доске, положенной на чурбаки, чинно расселись мужчины. Лица их испещрены морщинами, иссушены зноем и ветром. Они держатся спокойно, солидно, перебрасываются редкими словами, но, видно, тоже волнуются

[1] Исполнитель музыкального произведения на домбре.

в предвкушении нечастого для них удовольствия. Какой казах не любит песню или шумный пир?!

Вдоль стен и возле ворот стоят, как обнаженные фигуры на древних фресках, студенты-строители.

Непривычно, странно видеть рядом со старухами в камзолах и тюрбанах голоногих, голопузых девушек и парней.

Совершенно неожиданно оттянули брезентовый занавес, и конферансье — немолодой уже мужчина в сереньком костюме, неестественно растягивая слова, прочел стихотворение, гневно разоблачающее американских милитаристов. Не успел он произнести последнее слово, как малышня яростно ударила в ладоши — казалось, тысяча рыбешек забилась на дне лодки. За ними размеренно и гулко, будто кошму выбивали палкой, захлопали рыбаки.

— Вот орет, а! — удивился кто-то из рыбаков.

— Что ж... Старается, бедняга,— поддержал его другой.

Откуда-то сбоку снова вынырнул конферансье и бросил в публику:

— Казанкап! Кюй!

По сараю прокатился гул. Старики заулыбались, приготовясь слушать кюй своего знаменитого земляка, застыли старухи и дети: имя этого кюйши было всем знакомо с пеленок.

С домброй в руке вышел на середину сцены тщедушный длинный юноша, поклонился, сел на стул, откинул длинные прямые волосы, положил ногу на ногу и, еще больше вдруг побледнев, коротко взмахнул рукой. Публика замерла. Рыбаки вздрогнули, будто ударили не по струнам домбры, а по их сердцам. Рыбаки опустили головы, закрыли глаза, старухи не отрываясь смотрели на колдовские, плясавшие на длинном черном грифе пальцы домбриста, дети разинули рты. Монотонно и глухо пела домбра, выводила жалобную, скорбную песню, щемила суровые сердца рыбаков. В последний раз ударил домбрист по струнам и вытащил из кармана платок: капельки пота блестели на его бледном лбу.

— Э, барекелде![1]

— Жаса, карагым, жаса![2]

— Счастья тебе, сынок! — загалдели рыбаки.

---

[1] Возглас восхищения, одобрения.

[2] Живи и здравствуй, родной!

Бабушка Кульзипа прослезилась, дрогнувшим голосом обратилась к музыканту:

— Вай, айналайн-ай... Ты болен, сынок, или устал на учебе-то? Остался бы у нас на месяц. Сорпы[1] жирной бы попил. Быстро поправился бы у моря...

Домбрист улыбнулся, ответил тихо:

— Рахмет, апа... В следующий раз обязательно останусь.

Домбриста не отпускают, просят сыграть еще несколько кюев Казанкапа. Лица рыбаков смягчились, подобрели, морщины разгладились.

Студенты, пораженные силой этого нехитрого двухструнного инструмента, тоже умолкли.

— Что он играл? Что говорят? — спрашивает меня один из парней, смущенно поглядывая на бабушку Кульзипу.

Тут же несколько голов наклонилось к нам. Первый раз слышат такое парни и девушки с Орловщины.

Сутулясь, ушел домбрист, а рыбаки радостно и шумно обсуждали и оценивали его игру.

После домбриста вышла молоденькая девушка в национальном костюме. Видно, впервые приходилось ей петь перед такой публикой. Она стыдливо опустила глаза и запела старинную песню о любви.

Слушай, как тебя зовут? — крикнул кто-то из зрителей.

Девушка вспыхнула, опустила голову и невнятно прошептала:

— Нагима...

— А-а, Нагима...— Студенты развеселились.— Надя, Надюша, значит...

— Спой что-нибудь по-русски, Надя. Просим, просим...

Кто-то из парней даже подмигнул ей дружески.

Певица, однако, растерялась, умоляюще посмотрела в угол, где сидели артисты. На помощь ей бросился все тот же конферансье и громко начал читать новое стихотворение на русском языке. Неожиданно, словно на всем скаку, он остановился, запнулся, забыв нужное слово, и в полной тишине кто-то из рыбаков не удержался, воскликнул:

— Ай, маладес! И по-казахски, и по-русски шпарит!

Публика развеселилась. Еще после двух-трех номеров рыбаки попросили спеть одного из аульчан. Тот, немного

[1] Суп, бульон *(каз.)*.

поупрямившись, схватил домбру и зычным голосом выкрикнул высокую длинную ноту — зачин песни Сары.

— Эй, джигит!

— Уа де! — поддержали певца со всех сторон.

Теперь слушали артисты. Все смешалось, перепуталось. Артисты, зрители пели песню за песней.

Кто знает, сколько бы еще длился этот концерт, если бы конферансье не вспомнил, что труппе нужно еще до вечера добраться на рыбозавод в Авань. Зрители вышли вместе с артистами из хранилища и, увязая в зыбучем песке, гурьбой пошли в аул, где в казанах уже варилось мясо для дорогих гостей. Артистов угостили осетриной, мясом, шубатом[1], чаем, осыпали благодарностями и на лодках отвезли до катера. Провожали всем аулом.

Вечереет. Бабушка Кульзипа отправилась на ослике за баранами. Соседка ее набила щепками самовар и позвала детей домой. Солнце багрово-красное, раскаленное, устало опускалось за Бел-араном. Со слабым шипением лениво накатывались на берег и разбивались в брызги волны.

Пригнав овец, бабушка Кульзипа быстро собирает чай, подает первую чашку старому рыбаку. Тот задумчиво поглаживает жидкую бороденку, долго-долго смотрит на море, потом начинает крошить на мелкие кусочки сахар.

— Завтра, должно быть, пойдет усач...— говорит он.

Ему никто не отвечает, дети, измученные долгим днем, солнцем, водой, выпив по пиале, уходят спать, а Кульзипа, сузив и без того утонувшие в морщинах глаза, посасывает свои любимые конфеты, схлебывает с блюдца чай и вздыхает:

— Вот Калакаю осенью в школу надо... Маленький еще совсем, а придется к кому-нибудь на квартиру устроить...,

О Калакае она говорит каждый день. Осенью мальчику учиться, а ближайшая школа в двадцати трех километрах, считай, день езды на ишаке.

— В город отправьте его... в интернат,— тоже уже в который раз говорю я ей.

Но старуха об этом и слушать не хочет. Разве мыслимо такого маленького глупыша в город, к чужим людям, в какой-то интернат?! Как он там проживет без нее, без моря.

---

[1] Напиток из верблюжьего молока *(каз.)*.

Нет, нет, лучше она будет проведывать его через день-два, повезет на ослике, а то и на верблюдице, но учиться Калакай будет в Куланды. Только вот к кому его пристроить... Кульзипа перебирает всех знакомых и родных и никак не может выбрать дом, где ее любимчику было бы сытно и тепло.

Уже в сумерках она убирает посуду, дастархан, тушит под таганом огонь, подкидывает верблюжонку в закутке охапку сочного, нежного жантака и уходит спать. Рыбаки ложатся с заходом солнца. Тихо-тихо вокруг. Слышно, как размеренно каплет вода из рукомойника, прикрепленного к коновязи. Ни у кого не мерцает лампа. Только у крайней времянки грустит, печалится о чем-то домбра да филин на том берегу залива вздыхает, ухает, жалуется на свою одинокую судьбу...

Шокиман, белея в одном исподнем, стоит и задумчиво смотрит на море, на звезды. Величава и таинственна ночь у древнего Арала. Бескрайняя ковыльная степь тускло серебрится под лунным светом.

Спят в рыбачьем ауле...

II. ЗА ШЕСТЬЮ ПЕРЕВАЛАМИ

1

Пустынная степь. Дюны и море. И сторожит это пустынное царство всего несколько рыбацких хибарок. Впереди, в двух-трех десятках шагов от лачуг, простирается море, позади, прямо от дороги,— приаральская степь, бескрайняя, бурая, заросшая полынью, верблюжьей колючкой, адыраспаном-гармалой.

Тихо здесь и безлюдно. Иногда только море тужится, поворчит да волны в гневе поревут, с шипом набрасываются на берег и плюются соленой пеной. По утрам и перед закатом суматошно галдят, деля добычу, хлопотливые чайки.

Рыбаки спозаранку уходят в море, проверяют сети, сдают улов в ледник. Днем они чинят снасти, смолят, подкрашивают старые лодки, косят молодой камыш для скотины на зиму, а к вечеру, когда спадает жара, снова отправляются в море, переставляют сети на новые места, где, по их расчету, ночью или на днях должен пройти

косяк рыб. Возвращаются обычно поздно, когда со степей стремительно надвигается густой мрак южной ночи.

И женщины в вечных хлопотах. По нескольку раз в день доят верблюдиц, разделывают, коптят, вялят, сушат рыбу, заготавливают курт, ткут из разноцветной пряжи паласы, варят, стирают, убирают, хлопочут по хозяйству.

Малыши день-деньской пропадают на берегу моря: купаются, жарятся на песке, встречают и провожают отцов, играют в свои незатейливые детские игры возле наполовину вросшего в землю, бог весть в какие времена построенного лабаза и таинственно-молчаливых дюн. Благодать: простор и свобода!

Эркеш, проснувшись, вскочил, как всегда, сразу же, протер кулаками глаза, подтянул выцветшие ситцевые штанишки и опрометью побежал к невысокому холму рядом с аулом. Вот уже год спешил он каждое утро сюда, на этот бурый холм, и долго-долго вглядывался в степь. В последнее время мальчика постоянно томило неясное — тревожное и радостное одновременно — предчувствие. Все чудилось, что вот наступит утро, взойдет солнце — и произойдет в его жизни что-то такое — он и сам не знал что,— но непременно нечто очень интересное, сказочно-волшебное, и придет оно, чудо это, конечно же из степей, куда ведет эта узкая, пыльная дорога за аулом.

А вдруг сегодня случится чудо, вот здесь, за этим бугром, в ровной, как доска, степи, сядет белая железная птица, и выйдет из нее, словно в сказке, батыр в железной кольчуге, в островерхой дулуге-шлеме, улыбнется и скажет: «Эй, малец-балакай, садись в мой актабани-самолет, прокачу я тебя до самого солнца и выше солнца!»

По серой дорожке за их лачугой редко проезжает даже грузовик. Разве кто почту по пути забросит. Разве иной шофер, неожиданно наткнувшись на крохотный рыбацкий аул, остановится вдруг, попросит попить, опрокинет залпом чашу шубата или шалапа[1], глянет раз-другой на море, вздохнет, досадуя про себя на недосуг, и снова направится к машине, спеша к своим неотложным делам. Где-то там, за шестью перевалами, говорят, какая-то совсем непонятная, неведомая мальчику жизнь. Что там, за этой степью? За шестью перевалами? За этим морем? Узнать бы, увидеть бы... Но молчит степь. И дорога не

[1] Напиток (смесь воды с кислым молоком).

полнит. Даже смерч, озоруя, не проскачет. И только в вышине самозабвенной трелью заливается жаворонок...

Мальчик бежит к морю, с разбегу плюхается в воду, смеется весело, видя, как черными искрами рассыпаются во все стороны гревшиеся на отмели шустрые головастики-бычки. Опираясь руками о дно, он изо всех сил колотит ногами, потом, зажав уши и нос, погружается в теплую воду и смотрит широко открытыми глазами, удивляясь каждый раз, отчего вода кажется красноватой. Потом он ловко перевертывается на спину и смотрит вверх, стараясь разглядеть под водой небо, и как-то радостно и жутко ему становится, словно он попал в совсем иной мир, во владения водного царя Сулеймена. Море глухо гудит в ушах, волны чуть-чуть, как в колыбели, покачивают его на своих огромных, ласковых ладонях, и песок внизу словно шуршит, шевелится. Мальчику становится вдруг страшно, ему мерещится, будто волны незаметно затягивают его в глубь моря, что он уже скользит по зыбкому, податливому песку и берег, и родная лачуга остались где-то далеко, и он в ужасе вскакивает на ноги и, встряхнув головой, жмурится, улыбается, видя над собой безоблачное небо, и солнце, и холм у самого обрыва.

Теперь Эркеш бредет по воде к лодке на отшибе. Это лодка Абильхана. Уехал ранней весной Абильхан, всей семьей куда-то подался, покинул маленький, родной аул и лодку оставил, даже на берег не вытащил. Уходят из аула рыбаки. Скучно им здесь, одиноко. Только перед семью лачугами, недалеко от зимнего стойбища, дымит еще очаг.

Томится на цепи лодка-сирота, заброшенная, никому уже не нужная, палит ее нещадно солнце, не гладят иссохшие ее бока морские волны, зеленым илом успела обрасти, застыла в мутной пенистой жиже. Жалко ее. Эркеш взбирается на лодку, ложится на корму, свешиваясь головой. Там, за зеленоватой пеленой, лежит причудливая коряга, и, если долго смотреть на нее, она оживает, начинает шевелить хвостом, приподниматься и опускаться. Словно это не коряга, а страшный и злой айдахар, который только прилег отдохнуть возле лодки. Тяжело дышит чудище айдахар, никак проснуться не может, лапами песок скребет, щупальца во все стороны протягивает. Вон и глаз его на лбу, единственный, огромный, блеснул зловеще, хвост судорожно дернулся. «Ай!» Эркеш бежит к носу лодки, прыгает в воду и, отталкиваясь руками и ногами, спешит к берегу.

Здесь он начинает строить из влажного мелкого песка город — много-много маленьких домишек, таких же приземистых, плоскокрыших, как летняя лачуга. А волна осторожно подкрадывается к городу на песке, грозя его слизать своим длинным, в пене, языком, но никак не может дотянуться, тогда она быстро откатывается, чтобы столкнуться с несущейся откуда-то из морской пучины другой крутобокой волной, набирается силы, разбегается и одним прыжком обрушивается на город, смывает разом все домишки и, довольная, ликующе бежит назад. На месте города остается чистая песчаная гладь. Эркеш задумчиво и немного грустно смотрит под ноги, где только что был его шумный, многолюдный город.

Но тут издалека доносится знакомый стрекот мотора, и мальчик всматривается в безбрежную морскую ширь. Вот-вот за теми белогривыми волнами вынырнет лодка отца. Вот она уже показалась и стремительно несется к берегу, летит, задрав нос, по волнам, и гул мотора нарастает, разносится далеко-далеко.

Отец заглушает мотор, и лодка неслышно мчится к берегу, к сваям, торчащим возле ледника. Когда она, проскорготав дном о песок, останавливается, отец прыгает прямо в воду, кряхтя, подтаскивает лодку еще ближе к берегу и, наваливаясь всем телом, вдавливает в песок длинный железный кол, к которому цепью привязана лодка.

Мальчик, размахивая руками, вприпрыжку спешит к отцу, чтобы полюбоваться утренним уловом. На дне лодки лежат вперемешку брюхастые золотистые сазаны, остромордые щуки и судаки со стеклянными злыми глазами, усачи со скорбно поджатой нижней губой, тупорылые сомы. Они кажутся присмиревшими, вялыми, но попробуй дотронься до какого-нибудь судака, он весь встрепенется, оскалит пасть, нальется тугой силой, взовьется, как стальной прут, ка-ак хлестанет хвостом, грозясь выпрыгнуть, вырваться из неволи, и тогда на мгновение просыпаются все его собратья, начинают топорщить плавники, хватать воздух, изгибаться, трепыхаться, и лодка качается от их неистовой пляски. И только сазаны грузно лежат, забившись в угол, золотой чешуей на брюшине поблескивают, круглыми ртами чуть-чуть пошевеливают, будто причмокивают. То ли лень им двигаться, то ли чувствуют, что напрасны теперь их усилия, и потому смирились со своей участью.

Из ледника, волоча за собой носилки, плетется приемщик Адырбай.

Отец хватает под жабры крупного сазана, кладет его на широкую мозолистую ладонь, покачивает на весу, любуясь раскормленным красавцем, и запихивает его в холщовый мешок.

— На, Эркежан, матери отнеси. Пусть зажарит. Донесешь?

Мальчик только носом шмыгает, обеими руками прижимает к себе тяжелый мокрый мешок и, спотыкаясь, семенит к дому, где возле очага уже попискивает самовар, горит под треногой огонь и булькает вода в маленьком черном казанчике.

Сдав утренний улов Адырбаю, отец медленно идет домой. Тяжело идет, вперевалку, одной рукой за поясницу держится. Эркеш знает: стар уже отец, и ноги больные, еще молодым застудил зимой на море. Всю жизнь отец рыбачит. А сейчас хоть и на пенсии, а все равно работает, не хочет расстаться с морем.

Завтракают они потом под навесом, едят сочного сазана, долго пьют чай. Отец вытирает полотенцем пот, часто поглядывает на дорогу.

— Не сегодня завтра должен нагрянуть сам Алеке...— говорит он.

Недавно вернувшись с областного совещания передовых рыбаков, отец за дастарханом сообщил, что к ним обещал на днях заехать Алеке.

— Сам?! — всполошилась мать.

— Ия... Сам Алеке.

— Ой! — Мать растерялась.— Осрамимся... Такого гостя... шутка ли...

— Нешауа,— сказал по обыкновению отец. Когда он говорил «нешауа» — ничего, все становилось сразу легко и понятно.— Нешауа. Свежей осетриной угощу, шубатом напою...

— Ай, разве такие люди шубат пьют? Им небось арак подавай.

— Нешауа. Я рыбак, а арак-шарап в море не водится.

С того дня мать лишилась покоя. Перевернула в доме все вверх дном. Выбила, высушила все ковры, подстилки, подушки, развязала тюк, расстелила новые алаша, домотканые паласы, настряпала на всякий случай баурсаков, в гостевую комнату отныне вообще никого не пускала,

даже дверь не позволяла открывать, чтобы мошка не залетела.

— Сам Алеке к нам едет,— говорила она соседкам.

И те цокали языками, удивлялись и завидовали.

«Странное имя — Сам Алеке,— думал мальчик.— Должно быть, большой, важный человек!» И тоже говорил всем приятелям: «Знаете, к нам едет Сам Алеке!» Мальчишки хлопали глазами, озадаченно чесали затылки и тоже завидовали Эркешу.

Но проходили дни, такие же, как всегда, и не такие, а Сам Алеке не появлялся. Но отец за чаем все поглядывал на дорогу и будто сам себе говорил:

— Не сегодня завтра пожалует к нам сам Алеке...

2

Гости нагрянули неожиданно. За перевалом вдруг показалось облако пыли, вслед за ним всклубилось еще одно, расширяясь, разрастаясь, словно играя вперегонки, облака стремительно приближались к морю, и Эркеш с тревогой глянул на родителей. Время было обеденное. Отец в углу под навесом колдовал над старыми, прогнившими вентерями, а мать у земляной печки скребла дно казанчика. Вскоре на холм взлетели, вынырнув из серой пыли, два газика, ослепительно блеснули на солнце ветровыми стеклами, спустились к прибрежью и через мгновение резко затормозили у лачуги.

Отряхиваясь, потягиваясь, вылезли из машины человек шесть. Все в городских костюмах, шляпах, ботинках, в темных очках. Мальчик опешил, прижался к косяку. Мать побежала за самоваром. Отец, подергивая бородку, пошел встречать гостей. В это время с трудом выбрался из передней машины тучный, большеголовый мужчина, встал, широко расставив ноги, и все остальные услужливо бросились к нему отряхивать пыль. Отец направился к толстяку, учтиво протянул обе руки. Тот стоял не сгибаясь, выставив мощное брюхо, и что-то проурчал. «Вот он, Сам Алеке!» — явно волнуясь, решил про себя мальчик.

Гости направились к лачуге. Впереди, грузно раскачиваясь и шевеля короткими руками-плавниками, плыл Алеке, за ним чинно потянулась свита, а за свитой озабоченно семенили расторопные шоферы. У входа Алеке на миг остановился, кивнул хозяйке, и Балым, не поднимая глаз, с готовностью откликнулась:

Ш...шукир... Рады вам...

В гостевой комнате было тесно, но чисто и прохладно. Гости уселись на разноцветные корпе-одеяльца, постеленные поверх белой, из верблюжьей шерсти, кошмы. Хозяин кинул каждому по подушке. Отдуваясь, расположились гости, подушки под бока подмяли, сорочки расстегнули, платками потные лица вытерли.

У стенки напротив двери, заняв половину комнатушки, расселся Алеке. Видный был человек! Все бугрилось на нем, выпячивалось, выпирало, и было непостижимо, как может столько вмещаться в одном человеке. По обе стороны его, как лодчонки вокруг катера, устроилась свита. Старый рыбак, хозяин, сел с краешка. Поджарый, шустрый юноша шофер присел на корточки у порога.

Помолчали. Покряхтели. Потом Алеке обшарил глазами гостевую, прохрипел:

А неплохо, вижу, устроился, Шоке, а?!

— Нешауа...— ответил по обыкновению рыбак,— жаловаться грешно.

— И бодр, крепок по-прежнему, а?

— Нешауа... Поясница только побаливает. Старею, должно быть.

— Э, не говори! Жена-то вон какая молодуха, а?! И где ее только раздобыл?

Гости заулыбались.

— Да-а, хорошо...— просипел Алеке.— Ни забот, ни горя... Лови себе рыбешку понемножку. Спи, ешь сколько влезет... А мы в жару, в холод мотаемся... вечно в хлопотах... планы, обязательства. Шумим, не досыпаем... Откуда, спрашивается, тут здоровью быть...

— Ия... ия...— согласились остальные.

— А потом нас же еще ругают... критикуют... То не так да это не так. Заботимся, дескать, мало...

— Ия...— горестно вздохнули гости.

Старый рыбак молчал, похлопывал себя по коленям и мучительно думал все о том, что он ведь хозяин, ему нужно что-то говорить, гостей занимать, ведь такая честь, такая честь, сам Алеке у него остановился, а он, тюфяк, молчит, колени трет, бороденку бурую щиплет. Ай, нехорошо... И неожиданно для самого себя рыбак сказал:

— Что и говорить... нелегкое это дело большим хозяйством руководить. Всем ведь не угодишь...

Тихо вошла Балым, поставила перед мужем громадную чашу с кумысом, подала половник и так же тихо вышла.

Девчонка-соседка внесла горку фарфоровых пиал. В ноздри ударило кислым, прохладно-душистым. Гости оживились.

Старый рыбак неторопливо мешал половником кумыс. Алеке заметил вдруг большеглазого, скуластого мальчонку, сидевшего у порога.

— Эй! Ты чей будешь?

Эркеш набычился, глаза потупил.

— Что? Язык проглотил?

Все уставились теперь на мальчика.

— Отвечай же, малец.

— Скажи дяде, чей ты сын.

— Подождите, дайте же ему подумать.

Поплыли по рукам пиалки с кумысом. Гости отпили, почмокали, определяя достоинства напитка.

— Я сын своего отца,— буркнул мальчик, еще ниже опустив голову.

— А?! — удивился Алеке и всем телом повернулся к старому рыбаку.— Это ваш, что ли, Шоке?

— Мой,— тихо ответил рыбак и ласково улыбнулся.— Меньшой.

— Ай да Шоке! Видали?.. А еще говорит: поясница болит старею. А сам такого сорванца сообразил! — И первым захохотал Алеке, затрясся весь, заколыхал животом.— Ничего себе поясница болит, а? Ых-ых-ых...

Смеялся Алеке, смеялись гости. Смущенно улыбался старый рыбак и все мешал, мешал половником наполовину уже выпитый кумыс в чаше.

Алеке развеселился. Подбородок его дрожал на жирной груди.

— Выходит, Шоке, это ваш копей[1]...

Гости переглянулись и разом прыснули.

— Ха-ха-ха... копей...

— Хе-хе-хе... копей...

— Ну, и скажет же наш Алеке!

Алеке запрокинул голову, закрыл глаза, и снова забулькало, заклокотало где-то у него в груди, и лишь время от времени вырывались из бездонных глубин хрипло-свистящие звуки: «Ых-ых-ых!...»

Эркеш тихо вышел в переднюю. Мать накладывала на тарелочки масло, сахар, конфеты. У входа жарко пыхтел раскрасневшийся от старания самовар. Под навесом,

[1] Ягненок позднего расплода *(каз.)*.

в тени, Адырбай разделывал большущего осетра. Чуть поодаль на тагане чернел, наполненный водой, крутобокий таи казан.

— Ага, а что гости делать будут?

— Как что? — Адырбай тыльной стороной руки смахнул пот со лба.— Отдыхать, купаться, рыбу есть...

А еще?

Еще... может, Алеке на охоту поедет.

Зачем?

Так... чтобы позабавиться, еликов[1] пострелять.

Это интересно?

Кому как...— Адырбай ловко орудовал длинным ножом над осетровой тушей.— Твоему коке — нет, а Алеке, значит, интересно.

Оркеш подумал и побежал к машинам.

3

После кумыса, чая, свежей осетрины, поданной на деревянном подносе-табаке, как бесбармак, и жирной, дымом пахнущей сорпы заметно отяжелевшие и осоловевшие гости решили для бодрости искупаться в море. Разделись, на горячем песке посидели, повалялись, пустынным берегом да морем полюбовались. Холмом возвышался среди своих спутников Алеке. Потом, придерживая обеими руками полосатые и широкие, как юбка, трусы, он полез в воду и, когда залез по брюхо, раскинул руки-плавники, ухнул, бухнулся плашмя, и от него во все стороны испуганно побежали тяжелые круги. И гости тотчас бросились в море, понырялн, поплавали, руками и ногами похлестали морскую волну.

— Ах, благодать!

— Ах, божий рай!

Алеке тоже взмахнул раза два руками, присев, оттолкнулся, проплыл, фыркая и отдуваясь, два-три шага. Потом постоял в воде, по животу, по груди себя похлопал, плотный ежик на голове намочил.

— Уф-ф! Душа моя...

Вылезли из воды и остальные гости, разлеглись вокруг Алеке.

Перед закатом, накупавшись, довольные гости побрели к лачуге.

---

[1] Косуля *(каз.)*.

Из котла на треноге валил духмяный пар, возле тагана валялись ножки еще в обед стоявшей здесь на привязи жирной ярки, и Балым, сидя на корточках, привычно раскатывала тесто на жеребячьей шкуре с засохшей мездрой.

4

Давнишней страстью Алеке была ночная охота на машине. Выезжая в отдаленные рыбацкие аулы, проверяя улов и запасы ледников, он никогда не отказывал себе в удовольствии погоняться по степи с ружьем, наставленным из кабины, за чуткими и быстроногими еликами. И сегодня, как только стемнело, он кивнул Дулату:

— Поехали!

На заднем сиденье притаился, сжавшись в клубок, Эркеш. Его бы, пожалуй, и не заметили, если б Дулат не полез за ружьем, лежавшим в чехле под сиденьем.

— А ну, слезай!

Но мальчик забился в угол и решительно буркнул:

— Я тоже поеду.

— Не надо, айналайн. Напугаешься только,— всполошилась Балым.

— И не думай! — сказал отец.— Ты ведь выстрела еще не слышал, дурачок.

Но ни отец, ни мать, ни гости не смогли уговорить мальчика остаться. Он упирался руками и ногами и угрюмо твердил:

— Я поеду... поеду!

— Ладно,— сказал тогда Алеке.— Пусть. Может, копей ваш удачу принесет. Только смотри, сиди смирно и не хнычь. Понял? А растрясет — пеняй на себя. Договорились?

— Ладно...

Ехали долго. Лихо бежал газик, подпрыгивая на кочках, то поднимался на холмик, то нырял в лощины и степные балки, словно лодка на волнах в непогоду. Два ярких пучка света, сливаясь, выхватывали из густого мрака узкую полоску пыльной степной дороги. Дулат припал к рулю, сторожко поглядывая вперед. Алеке, грузно покачиваясь, подремывал.

Эркеш вцепился обеими руками в спинку переднего сиденья и смотрел как завороженный. Он уже не слышал гула мотора и даже не чувствовал, что находится в машине,

ему чудилось, что он летит на крыльях птицы Самурук над самой землей, летит-спешит в неведомую сказочную страну, и в ушах шумит-свистит ветер, и навстречу им все стремительней бежит узкая серая дорожка, а по обочине ее кивают, машут им кудрявые, лиловые в свете фар головки полыни да какие-то редкие чахлые кусты. Вот оно, чудо! Вот то, что должно было случиться, что он ждал все эти дни. Ведь недаром приехал Алеке сюда, к их заливу на краю моря...

Степь жила своей ночной жизнью. То выныривал откуда-то сбоку заполошенный кос-аяк[1], ослепленный светом, отчаянно скакал прямо перед ними, отталкивался упругими, длиннющими задними ногами, удирал из последних сил от настигавшего его огненноглазого чудовища. То вдруг перебегал дорогу, вытянув мордочку, озабоченный еж. А за ветровым стеклом, в зыбком, дрожащем свете клубились, роились, бились бабочки, комары, мошки. По обочине бегали, скакали странно-уродливые тени: то ли стерегли их какие-то чудовища с медными когтями — жезтырнаки, то ли преследовали их злые джинны на черногривых скакунах.

Потом круто свернули в сторону и поехали по бездорожью, прямо по степи. Алеке привалился к дверце, вытащил из чехла ружье. Дулат еще больше согнулся, будто силился увидеть что-то там, за чертой света. Кружила-кружила машина, шарила фарами вокруг, прощупывала тихую ночную степь. Затерялся в бескрайнем, сонном царстве маленький беспокойный газик.

Вдруг Алеке вскрикнул, и машина дернулась, зарычала, запрыгала, и в свете фар Эркеш на мгновение заметил, как что-то промелькнуло, промельтешило в нескольких шагах от них и юркнуло в сторону. Тут же у самого уха раздался выстрел. Газик, будто разгоряченный конь, побежал по кругу и остановился. Первым выскочил Дулат, за ним, кряхтя, вышел Алеке, последним спрыгнул Эркеш.

Лисенок, откинув пушистый оранжевый хвост, лежал на боку. Передние лапы были скрещены. Меж редких мелких зубов высунулся темный, влажный еще язычок. Был лисенок странно маленький, тощий, какой-то ободранный. И было непонятно, как у такого невзрачного существа может быть эдакий широкий, пышный хвост. Алеке

[1] Заяц *(каз.)*.

дотронулся до него носком ботинка, брезгливо сплюнул.

— Э, линяет бедняга. Шелудивый...

— Взять? — спросил Дулат.

— Да ты что?! Зачем барахло такое?

Алеке направился к машине. Высохшая за знойное лето полынь потрескивала под его ногами.

Дулат обошел газик, попинал шины, потянулся.

— Что, джигит, устал? Укачало.

Эркеш не ответил.

Еще долго они кружили по ночной степи. Ошалело несся, рыскал, рассекая светом фар густой безмолвный мрак, запыленный газик. Но мальчик ничего уже не хотел видеть. Он забился в угол, уперся ногами в переднее сиденье, чтобы не упасть, и угрюмо молчал. Ему почему-то хотелось плакать, казалось, никогда уже не кончится эта ночь, и они всю жизнь, как неприкаянные, будут метаться по степи, и не увидеть ему больше ни отца, ни матери, ни своей лачуги у моря. Гудело в ушах, поташнивало, а перед глазами лежал маленький остромордый лисенок с большим роскошным хвостом...

Очнулся Эркеш от резкого толчка. Казалось, они проваливаются в черную бездну. Машина дрожала, подпрыгивала, шарахалась из стороны в сторону. Дулат, бледный и взъерошенный, судорожно вцепился в руль, но, чудилось, вот-вот машина выйдет из повиновения, вырвется из его цепких рук и понесет. Алеке тоже весь подался вперед, приник к ружью и хрипло кричал:

— Скорей! Жми! Давай!..

За машиной выло, свистело, гудело, по брезенту гулко, дробно хлестало, будто градом.

— Скорее же, паршивец!

— Машина развалится, Алеке!

— Жми, говорят!..

Газик лихорадило, колотило, как в ознобе.

Впереди то с одного, то с другого боку бешеным наметом мчались насмерть перепуганные елики. Свет фар изредка настигал их, и тогда в густой серой пыли мальчик видел плотно сбитый косяк изящных, тонконогих животных. Из-за гула мотора не было слышно топота их точеных копыт, и казалось, елики и не бегут вовсе, а, легко закидывая ноги, неслышно, невесомо плывут над верхушками сизой от пыли степной полыни.

Мальчику сейчас больше всего хотелось, чтобы ушли

стики от шалой погони, чтобы свернули в какой-нибудь овраг, растаяли во мраке ночи. И действительно, свет все реже и реже достигал — и то лишь на мгновение — охваченное страхом стадо. Но одна косуля стала явно отставать. Она уже бежала в нескольких шагах от косяка, припадая на переднюю ногу, спотыкалась и вновь как-то странно, короткими, отчаянными прыжками старалась догнать его.

Алеке прицелился.

Не надо! — вскрикнул вдруг Эркеш и обеими руками вцепился в крутой загривок Алеке.— Не стреляй!

- Тайт, щенок! Мать твою...

— Не стреля-а-ай!!.

Теперь Эркеш ничего уже не соображал, не видел и только неистово колотил кулачками по тяжелой голове с плотным, как ворс, ежиком. Свет выхватил на миг, вырвал из темноты одинокую косулю. Алеке спустил курок... Машина дернулась...

Стало тихо-тихо. Все вдруг разом исчезло, словно не было ни еликов, ни бешеной погони, ни тряски, ни выстрела. Только раненая косуля трепыхалась, корчилась на пыльной потрескавшейся земле. Из широких, трепетных ноздрей клочьями спадала розоватая пена. Задняя нога судорожно дергалась. Из паха сочилась темная пенистая кровь. Глаза, расширенные от боли и тоски, округлились, выпучились и тускло мерцали. Косуля судорожно подняла голову, вытянула длинную, гладкую шею, забила передними ногами, норовя вскочить, но силы, видно, покинули ее, и она лишь глянула туда, куда исчез ее косяк, всхрапнула, посылая вдогонку прощальный зов, и обессиленно уронила голову, вытянулась, затрепетала.

— Скорей! Скорей! — просипел Алеке.

Дулат бросился к косуле, придавив ее одним коленом, с размаху всадил нож в теплое потное горло и, спохватившись, прошептал:

— Бисмилля...

...Как доехали домой, Эркеш плохо помнил. Он скрючился на заднем сиденье и с ужасом глядел на лежавшую внизу, у ног, косулю с перерезанным горлом. Алеке разок глянул на него, ухмыльнулся:

— У, дикарь! Сидишь?!

В полузабытьи мальчик слышал, как по пути еще раз

АБИЛЬМАЖИН

1

Старик сидел на кошме и ватном одеяле у стенки меж двух окон, сумрачно водил глазами по комнате, чесал заросшую сивой щетиной все еще крепкую грудь и думал свои бесконечные и неторопливые, как езда на арбе, думы. На коленях его лежал тяжелый, замусоленный, древний, как он сам, Коран в черной обложке; на низеньком круглом столике перед ним стояла большая деревянная чаша с недопитым кумысом. Старик был не в духе. Шумно, суетливо последнее время в доме, а шум и суету старик не переносил издавна. Раздражало несмолкавшее шушуканье женщин в передней, где уже второй день жарили баурсаки, раздражала бестолковая возня своей же старухи, которая вдруг стала уж совсем не в меру деятельной. Один аллах знает, когда она только спит. Уснешь поздно вечером — сидит у печки и все вяжет, вяжет, только спицы перед глазами мелькают. Утром проснешься чуть свет — в передней шебуршит, казан скребет или из угла в угол тычется, клюкой постукивает, а теперь и вовсе развернулась, старая, будто не Ализу выдает, а сама замуж собирается. И чему радуется, глупая? Уедет Ализа со своим Салимом, и останутся они опять — два высохших дерева — в пустом доме век доживать. И Ализа, баловница, от радости прямотаки ног не чует. Раньше девушки ревмя ревели, когда их выдавали замуж, а теперь...

Старик глотнул из чашки. Все не то теперь. И кумыс пошел нынче не тот. Жидкий, водянистый, словно шалап: ни запаха, ни хмельной бодрости. То ли не те травы в степи растут, то ли не та вода в Ишиме течет...

Из передней донесся голос Ализы. Старик встрепенулся. Ализа — стройная, голубоглазая, с русыми золотистыми косами — подбежала к нему, прижалась щекой к его щеке, затараторила:

Вы что так печальны, ата? Думаете, не приедет? Приедет, приедет. Вот увидите: обязательно приедет.

Старик погладил ее по голове:

Аниалайш, мед тебе в уста. Только кто знает...

А я вам, ата, цветы принесла.

Алиса поставила пучок ромашек в стакан с водой, улыбнулась еще раз старику и упорхнула в свою комнатушку. Чудная... Каждый день, возвращаясь с фермы, цветочки носит. А цветы хороши в степи, когда вперемешку с ковылем растут, а на окне, в стакане,— уже не цветы. Обязательно, говорит, приедет... Кто знает. Вот была бы радость. Посидели бы у круглого столика, поговорили бы о разном, о том о сем, далеком, невозвратном. Эркин пощелкивал бы по струнам домбры, а он бы думал-думал, радуясь встрече с сыном, чувствуя, как хорошо, тепло становится в груди. Старуха возле печки крутила бы свою прялку, Алиса влюбленно глядела бы на брата, а в передней тихо высвистывал бы свою древнюю песенку старый самовар. Хоть бы приехал...

Рядом в комнатушке застрекотала швейная машина. Пела что-то непонятное, развеселое Алиса. В передней без умолку судачили старухи, шипело баранье сало в казане, потрескивал в очаге огонь. Да... Приедут завтра сваты, погостят, пошумят так, что, как говорится, голова почудится казаном, потом увезет Салим Алису, и опять опустеет, осиротеет дом. Пустынно стало на сердце старика, тоскливо. Оседлать бы сейчас коня, уехать бы в степь или походить по-над Ишимом. Да где уж... Сейчас он и на коня-то не взберется, и в седле, наверное, не усидит. Приехал бы Эркин... Старик, кряхтя и отдуваясь, поднялся, постоял немного держась за спинку кровати и, осторожно переставляя негнущиеся ноги, вышел на улицу, в огород. В конце огорода у плетня росли тополя и акации, посаженные Эркином. Там, под тополями, в тени кустов, под сонным жужжанием шмелей старику всегда думалось легко.

2

...Зимою, после долгих, изнуряющих душу буранов и лютых морозов, от которых с сухим треском лопается кора на деревьях, наступают вдруг ясные, веселые деньки. Солнце еще с утра засветит ярко-ярко, и смотрит как-то ласковей, и поднимается все выше и выше, щедро поли-

вая золотом снежное безмолвие. Все вокруг становится сразу нарядным и праздничным. Любое горе тускнеет, бледнеет под добрым, сияющим солнцем. Дети высыпают из мрачных, заваленных снегом домишек на улицу, барахтаются, как щенки, в снегу, катаются прямо с крыш на санках, фанерках, картоне, с визгом бухаются в горбатые сугробы. У колодца весь день лязгает цепь, женщины и подростки не торопясь поят скот, делятся аульными новостями. Другие, волоча за собой санки, спешат в лесок, чтобы запастись на недельку-другую дровами. Даже старухи, укутавшись потеплей, подолгу сидят в затишке возле дома или сарая. Перед воротами стрекочут, переругиваются, подпрыгивая, сороки, каркают вечно недовольные вороны, а собаки, греясь на солнце и блаженно прищурив глаза, добродушно наблюдают за их возней, такой же мелочной и бессмысленной, как сама их жизнь. Такие дни приходят зимой редко, как праздник, как радость, и после них уже не так страшен свирепый злыдень буран, и стужа и ветры переносятся уже легче, как и горе после настоящей радости. Ветер утих еще ночью. Буран выдохся как-то сразу, словно выбившийся из сил шаман. Абильмажин почувствовал это ночью и сквозь сон подумал, что завтра непременно будет солнечно и ясно. Утром он накормил гнедуху овсом, подкинул ей свежего сенца с крыши, а беркута, грустившего в углу на приколе, кормить не стал. Перед охотой беркута кормить не положено. Зорче и злей будет.

Собираясь на охоту, нельзя также суетиться; надобно скрывать свое волнение, не уповать на непременную удачу. Следует внушить себе, что ты просто отправляешься как бы на прогулку, выезжаешь на сытом коне, с собакой, с беркутом, а там видно будет, как уж повезет. Ведь все в воле аллаха.

Поэтому Абильмажин все делал не торопясь, с какой-то нарочитой степенностью. Войдя в дом, скинул шубу, помылся, совершил утренний намаз-памдат. Потом, также не спеша, напился чаю, снова облачился в шубу, туго подпоясался. Потом привычными движениями тщательно оседлал гнедуху, посадил беркута на тугур[1] и отправился в степь, в сторону Теренсая. Километрах в трех за аулом, там, где множество буераков сливалось в глубокий овраг, заросший по краям непролазным кустарником, камышом

[1] Подставка для сидения ловчей птицы *(каз.)*.

и в этой, водилось разное зверье. Прошлой весной Абильмажин неожиданно наткнулся здесь на волчье логово, из которого почти голыми руками вытащил целый выводок — семерых беспомощных, слепых волчат. Волков в последнее время развелось уйма. Ночами в аулах слышали их тоскливый, голодный вой. Иногда они и днем доходили до самого магазина. Особенно лютовали они осенью.

Недалеко от оврага тянулось жнивье, где водились зайцы, а в колках вокруг оврага гнездились куропатки: белые и серые. Их Абильмажин ловил силками и западнями и регулярно добычу аульчанам.

Гнедуха лениво потрухивала под ним, и Абильмажин не торопил ее. Кутпан, громадный, брылястый пес, часто и преданно поглядывал на хозяина. Снег похрустывал, поскрипывал под копытами гнедухи, и под ее размеренную трусцу ясно и привычно думалось. Да, думал Абильмажин, много нынче намело снегу, месяца через два придет весна, пойдет греметь по буеракам полая вода, а там и сеять придет пора, а в колхозе почти нет семян, нет машин, нет людей. Война с треклятым керманом, по всему, и нынче не кончится. Опять будут пахать, сеять, косить одни бабы, старики да мальчишки-подростки на отощавших за зиму коровах и быках. Опять придется до самой осени довольствоваться одним айраном. Вспомнился сын, Кенжебек, от которого уже полгода не было вестей. Старший погиб в первый же год войны под Москвой. Одно только письмо и успел написать домой Амиржан. Держа в руках похоронку, Абильмажин взмолился: «Ya, алла, сделай так, чтоб хоть младшенький остался. Сбереги, сохрани, сохрани его...» Все думы отца отныне были только о Кенжебеке. А теперь и от него не было писем...

Абильмажин и не заметил, как подъехал к камням в овраге. Из-под причудливой свалки разномастных валунов вырос и стоял уже много-много лет кряжистый, с толстой заскорузлой корой боярышник. На самом дне оврага из-под земли зимой и летом булькал родничок. Абильмажин слез с коня, посадил беркута на камень, привязал за ногу к дереву. Потом, проваливаясь по колено в рыхлом снегу, пошел к камышовым зарослям ставить силки на зайцев. После этого, волоча по снегу мешок, он поднялся выше по склону оврага к березовому колку, накинул на дерево петлю сети. Шурша, обсыпала его густая снежная навись. Обмотал сетью несколько кустов, крепко привязал второй

конец к стволу сосны, чтобы не унесло сеть ветром, и насыпал из мешочка немного ячменя под кустом для приманки. Куропатки безнадежно запутывались в сети: в морозы они зябли и становились тяжелыми, неповоротливыми.

Беркут, мрачно нахохлившись, терпеливо ждал на камне. Кутпан рыскал в кустах и вдруг взволнованно тявкнул. В кустах раздался треск, снег шумно посыпался с ветвей, гнедуха запрядала ушами. Абильмажин, усаживаясь в седло, оглянулся и в этот же миг увидел, как над самым оврагом ярко промельтешил на белом снегу огненно-красный хвост лисицы. Он ударил гнедуху, мигом выбрался из балки. Кутпан, взвихривая снег, гнал лису к открытой поляне подальше от кустов и оврага. Абильмажин зычно вскрикнул и сорвал с беркута колпак...

Потом он затолкал лису в мешок и направился вдоль оврага к Ишиму. Надо было подыскать местечко для рубки тала: в двух-трех соседних домах топка была на исходе, а заботиться некому. Сухой, с руку толщиной тал и горит ярко, и греет хорошо. Там, в зарослях, можно и зайчишку подцепить. Полянку с крупным талом Абильмажин выбрал быстро. Кутпан между тем шарил в кустах и нетерпеливо повизгивал: все вокруг попахивало длинноухими. Вдруг прямо перед его носом прошмыгнуло сразу три косых. Кутпан оторопел, растерянно глянул на хозяина. «Ну как тут быть?» — спрашивали собачьи глаза. Абильмажин усмехнулся. Кутпан, должно быть, принял какое-то решение, ринулся в кусты и вскоре выгнал оттуда крупного пушистого беляка и с радостным лаем погнал его к противоположному голому берегу Ишима.

— Кюйт!.. Кюйт!..— резко вскрикнул Абильмажин, снимая колпак с беркута.

Беркут взвился, взмахнул раза два крыльями и камнем ринулся на зайца. Абильмажин быстро подскочил к беркуту, высвободил из его когтей дрожащую белую тушку. Приторочил зайца, кряхтя залез на лошадь, позвал птицу. Беркут тяжело взлетел, уселся на толстую рукавицу старика. Абильмажин напялил ему на голову колпак.

...Короткий зимний день был на исходе. Солнце к вечеру потускнело. Недовольное, обиженное, оно висело над лесом, цепляясь за верхушки деревьев. Казалось, чей-то гигантский глаз хмуро смотрит на этот безмолвный, скованный морозами и снегами мир. Пробирал сухой, колючий ветер. Зазмеилась, шурша, поземка. Воздух от моро-

ся стал ломким. «Забуранит, видно»,— подумал Абильмажин и тронул коня. До аула было недалеко. Надо было спуститься к Ишиму, переправиться по льду через речку, а там до дому рукой подать. Конь мотал головой, шел не торопясь. Рядом, не отставая, трусил Кутпан. Абильмажин устал и немного продрог. Сейчас он приедет домой, старуха кинется к самовару, потом стянет с него шубу, теплые сапоги, напоит горячим, густым чаем. Он согреется, потом освежует зайца, лису, накормит беркута и Кутпана свежинкой и ляжет на подстилку возле печки, укрывшись тулупом, пока старуха будет варить зайчатину. Он будет лежать и думать, думать о своем Кенжебеке. Старуха зажжет коптилку, сядет рядом, будет крутить прялку да вздыхать. За окном начнет беситься пурга, швырять снегом в окно, а в доме будет царить полумрак и тишина.

Солнце цеплялось-цеплялось за деревья, но не удержалось, соскользнуло и скорбно выглядывало теперь из-за редкого колка. Быстро потемнело. Над Ишимом повис мрак.

Уже в надвигавшихся сумерках Абильмажин увидел что-то черное, двигающееся. «Волк!» — подумал он и пристально посмотрел еще раз. «Нет, это не зверь». Беркут тоже был спокоен. Черное пятно медленно приближалось. Старик поехал навстречу и уже через несколько шагов ударил гнедуху камчой. По едва заметной тропинке, по которой в зимнее время ездили редкие путники из Жанажола в Жана-турмыс, одиноко брел маленький человек, закутанный в большой полосатый платок и в громадных — не по ногам — валенках. Спотыкаясь и скользя, он упрямо шел и шел, не оглядываясь по сторонам. Что-то ужасающе безразличное было во всем его облике. Он даже не заметил ни всадника, ни собаку, не крикнул, не позвал, а все так же с тупым безразличием брел по тропинке. Абильмажин испугался.

— Эй, чей будешь?

Человек остановился, чуть поднял голову.

— Куда идешь?

Человек не шелохнулся. Кутпан сел перед ним и, склонив голову набок, с любопытством разглядывал странного путника.

— Кай ауылдан боласын? Айтсаншы![1]

---

[1] Из какого аула будешь? Говори же! *(каз.)*

Человек зашевелился, приподнял руку из-под шали, неопределенно махнул вперед.

— Э, да ты, может, немой? Может, язык примерз? Ой-бой, совсем окоченел. А ну лезь на коня.

Человек продолжал стоять.

— Ну, садись же! Дай руку.

Человек с трудом вскарабкался на лошадь. Абильмажин снял длинный кушак, привязал мальчонку к себе, чтобы он не свалился, и заспешил домой.

— Эй, байбише, гостя тебе привез! — крикнул он еще в сенцах.— Готовь скорее свой чай.

Старуха подкинула в самовар уголька из печки, посмотрела на гостя, но из приличия ни о чем не спросила.

Абильмажин посадил беркута в угол, прикрепил кольцо на его ногах к цепочке и стал раздевать гостя. Сбросил шаль, потом стянул не то пальтишко, не то пиджак, грязную, рваную ушанку и обомлел: перед ним в громадных подшитых валенках стоял светловолосый, лопоухий, худющий мальчонка лет восьми-девяти с огромными, словно застывшими глазами.

— Эй, ты не казах, что ли?! — вырвалось у старика.

Мальчик не ответил, уставился на огонь. Глядел он отрешенно, безучастно.

— Казах, не казах — не все ли тебе равно?! — накинулась старуха на Абильмажина.— Видишь, совсем замерз мальчишка. Кел, кел, айналайн...[1]

Она подтолкнула мальчика ближе к огню, усадила на козлиную шкурку, накинула на его плечи свою пуховую шаль, потом подала кусок лепешки. Мальчик взял лепешку, начал безразлично жевать, все так же отрешенно глядя на огонь.

Абильмажин переминался с ноги на ногу, недоуменно кряхтел, смотрел то на гостя, то на хлопотавшую возле него старуху. Мальчик неторопливо съел лепешку, выпил миску айрана и вдруг вздрогнул, словно вспомнил о чем-то. Он тут же вскочил, напялил на себя свое тряпье и кинулся к двери.

— Куда?! — в один голос крикнули старик и старуха.

Мальчик не ответил, выскочил на улицу. Абильмажин бросился вдогонку. Мальчик вырывался, что-то часто, часто залопотал, повторяя одно и то же слово: «Эльза, Эльза...»

---

[1] Подойди, подойди, дорогой... *(каз.)*

Элза? Какой Элза?

Мальчик и старик не понимали друг друга. Мальчик спрашивал, а Абильмажин, держа его за руку, тщетно старался вспомнить все ему известные русские слова.

Какой Элза? Какой аул? Мамка где?

Он повел мальчика к старику Жукену, который не раз гонял скот в город и потому лучше всех в ауле говорил по-русски. С его помощью и выяснили наконец, что у мальчика мамы нет, а дома, в Жана-турмысе, осталась одна его маленькая сестренка. Тогда Абильмажин решительно сказал:

Твой старуха сиди, а мой поедит и маленький барычук-кизимошка суда таскайт.

Уже ночью под вой бурана Абильмажин привез закутанную в шубу маленькую девочку. Проснулась она только утром в незнакомом доме рядом с братом.

3

Так старик со старухой обрели сразу и сына и дочку. Эрих — его вскоре в ауле стали звать на казахский лад Эриком или Эркином — рос смышленым, но не по годам серьезным и молчаливым. Он скоро привык к аулу, к новому своему дому, быстро научился говорить по-казахски, подружился со своими сверстниками, полюбил старика и старуху, которых называл ата и аже. Но порой становился задумчив, нелюдим, уходил в себя. Старик понимал, что мальчик тоскует о чем-то, что ему, старику, было неизвестно, непонятно. Осенью Эрик пошел в школу. Эльзу старуха назвала на другой же день Ализой. Девочка так привязалась к старухе, что и ночью спала с ней, и днем не отставала ни на шаг, всюду ходила следом за ней, цепляясь за длинный бабушкин подол. Старуха сшила ей маленькую плюшевую безрукавку, пришила несколько серебряных монеточек.

В доме стало веселее. Заглядывали аульчане, поздравляли стариков с детьми, желали им счастья. И соседние малыши приходили каждый день, чтобы поиграть-порезвиться с Эриком и Ализой, которые так потешно выговаривали иногда привычные казахские слова.

Осенью пришло извещение, в котором сообщалось, что Кенжебек Абильмажинов пропал без вести. Это было непонятно. До сих пор никто в ауле без вести не пропадал. По-разному толковали люди, а Абильмажин решил, что

пропал без вести — еще не значит погиб. А раз не погиб, то живой человек не может не вернуться. Сказано ведь: не вернется лишь тот, кто в саване, а кто в рубище — вернется. И верно: через год после войны неожиданно вернулся Кенжебек. Зарезал тогда на радостях Абильмажин корову и закатил той на все окрестные аулы. На Кенжебека было больно глядеть: он был невероятно худ, часто забывался, вздрагивал при каждом шорохе. Ночами натужно кашлял, ворочался, бормотал что-то бессвязное, без конца выходил во двор. Иногда он играл с маленькой Ализой, называл ее Тентек-кыз — озорницей, учил ее считалкам, дразнилкам, рассказывал сказки про плешивого мальчика, который был умнее всех. А с Эриком Кенжебек держался холодно. Мальчик ловил иногда на себе его тяжелый взгляд, от которого становилось неловко. Есть Кенжебек почти не мог, и после еды каждый раз из носу шла кровь. Абильмажин со старухой ухаживали за ним, как за ребенком, молились аллаху, надеялись, что в родном ауле сын их постепенно поправится. Иногда по просьбе матери Кенжебек рассказывал про свои мытарства в плену. Это были жуткие рассказы. Старуха слушала и всхлипывала, а Кенжебек, покашливая, рассказывал обо всех ужасах тусклым, обыденным голосом. Но, видно, не дошли до аллаха жаркие молитвы стариков. Весною перед вскрытием Ишима Кенжебек умер. Абильмажин зарезал кобылу — другой скотины не было,— созвал всех стариков и старух из окрестных аулов, справил поминки. Тогда-то и появились первые сединки в бороде Абильмажина. Он стал еще более молчаливым, часто уходил на охоту, но возвращался с пустыми руками. Все понимали, что не на охоту ходил старик, а просто в степь, чтобы побыть наедине со своим горем. Потом старик смирился и, качая на коленях Ализу, благодарил аллаха, что тот послал им такую дочку и такого сына, как Эркин.

Учился Эркин хорошо. Старик любил ходить на родительские собрания, чтобы услышать одни и те же слова: «Сын старика Абильмажина Эрик дисциплинирован и учится отлично». «Сын Абильмажина»,— говорили все в ауле. И от этих слов Абильмажин молодел...

4

«...Хоть бы приехал,— думал старик.— Полегчало бы. А то чует душа, недолгий уже жилец я на земле. Все чаще к сердцу подкатывает холод, а ноги совсем ослабли,

погубели, не ходят. Верно говорят: в молодости душа человека за спиной, а в старости — впереди. Всего опасаться стал. И то сказать: пора уже, пора. До половины восьмого десятка добрел». Старик уронил голову на грудь и погрузился в дрему.

5

За Жана-жолом Эркин попросил таксиста остановиться: до аула оставалось километров семь. Он сошел с насыпи, оглянулся вокруг, вздохнул всей грудью и зашагал в сторону Ишима. Был тихий летний день. Солнце стояло высоко. Вокруг без устали звенели кузнечики, порхали по цветам белокрылые бабочки. Внизу, вдоль реки, темнел тугай. Эркин шел легко, не чувствуя тяжести туго набитого всякой всячиной рюкзака и дорожного чемоданчика. Сердце его билось радостно, губы невольно растягивались в улыбке. Он с трудом удерживал себя от сумасбродного желания разуться и побежать по траве. Прошагав километра два, скинул рюкзак, поставил чемоданчик и упал навзничь на траву, запрокинув голову. В оглушительной тишине, непривычной после шумного города, где-то очень высоко заливался жаворонок. На грудь прыгнула зеленая, с толстыми ляжками «кобылка», выпучила глаза, подергала хвостиком и сиганула прочь. Над головой кружились, трепеща прозрачными крылышками, стрекозы, по рукам деловито поползли муравьи. Он засмеялся и начал, как безумный, кататься по траве.

У тропинки, тянувшейся по-над обрывистым берегом Ишима, Эркин остановился и долго стоял, понуро опустив голову. Вот здесь в метельную зиму сорок третьего года ему и встретился старик Абильмажин. Это была самая трудная пора в его жизни. Жили они в маленьком, утопавшем зимой в снежных сугробах ауле. Было холодно, голодно и до жути одиноко. Мать — тихая, хрупкая женщина — вечно всех и всего боялась и всегда грустила. После смерти отца мать и вовсе осунулась, целыми днями не выходила из дома. Распродала и выменяла на продукты все, что только можно было, и однажды, когда в землянке стало совсем пусто, она вдруг сорвалась в город, в далекий Кзыл-жар. Было это зимой... Всю ночь мать проплакала, а утром растопила печку, сварила полный чугунок картошки, накормила Эриха и четырехлетнюю Эльзу и сказала, что поедет в город, устроится на работу и денька через

три-четыре приедет за ними. Эрих был уже большой, все мог делать сам: и картошку варить, и за сестренкой ухаживать не хуже матери. Ушла мать на грейдер, надеясь на попутной машине добраться до города. И больше не вернулась... Повзрослев, Эрих часто думал: что это было? В самом ли деле мать надеялась на что-то или это было отчаяние, безумие? Может, мать была уже невменяема от горя? Кто знает... Но ни тогда, ни позже он ее не осуждал. И до сих пор он ничего не знает о ее судьбе. Поздние розыски тоже ничего не дали. Дней десять томился он с Эльзой в пустой и стылой землянке. Утешал, забавлял, как мог, сестренку, варил картошку, топил печку, пока еще было чем топить. Потом стало страшно. И однажды, когда Эльза, наревевшись, уснула, он закрыл дверь и отправился в Жана-жол, где жили знакомые по эвакуации немцы. Зачем пошел к ним, он и сам толком не знал. Просто больше некуда было идти. Он даже и знал их плохо, только и помнил, что ехали тогда в одном вагоне, и не был уверен, живут ли они теперь вообще в том колхозе. У лесочка перед аулом его остановили собаки. Три громадных, лохматых пса окружили его и не пускали ни на шаг. Пока он стоял, они мирно сидели перед ним, но стоило чуть шевельнуться, они тут же поднимались и скалили зубы. Эркин долго топтался на снегу, плакал, кричал, но вокруг не было ни души, а собаки не собирались уходить. Когда начало смеркаться, он поплелся назад. Собаки еще долго бежали следом. Потом много лет они преследовали его во снах, а тот день в памяти остался на всю жизнь...

Воспоминания навеяли печаль. Эркин спустился к Ишиму, к Каменному броду, разделся. Летом река на этом месте сильно мелела, и ее можно было переходить, закатав штанины до колен. Конечно, для этого нужно было знать место брода. Ишим — река неширокая и неглубокая, но капризная и строптивая. Зевак она не любит. Местами течет лениво, величаво, местами — озорно, буянисто. Стоит свернуть на два шага в сторону от брода, можно угодить в ямину, а то и вовсе закрутит, понесет, что и опомниться не успеешь. Раздевшись, он уселся на мягкий горячий песок и опять задумался...

Забрал их тогда к себе Абильмажин. Там, в ауле, он стал Эркином, а Эльза — Ализой. Быстро привык он к новой жизни. Но иногда бывало тоскливо. Вспоминалась порой другая жизнь, смутная и далекая, как сон. Вспо-

минался отец, рослый, светлоглазый, веселый человек, который вдруг неожиданно, непостижимо быстро исчез, ушел из жизни, ушел навсегда, оставив его и маленькую Эльзу. Вспоминалась мать. Он был бесконечно благодарен Абильмажину, его жене, всему аулу, всем людям, которые сделали ему много добра и никогда не обижали, и все же чего-то недоставало, не хватало.

Именно тогда он впервые очень смутно почувствовал, что случилось в его судьбе что-то несуразное, несправедливое, и та еще неосознанная боль, опалившая его беззащитную детскую душу, осталась с ним на всю жизнь, как плохо зарубцевавшаяся рана, и, должно быть, тогда в нем зародилась неиссякаемая, неистребимая ненависть к войне — первопричине всех бед, зол и несправедливостей.

У Эльзы же все было проще. Она не помнила ни отца, ни матери — мать вспоминалась как нечто очень далекое, иллюзорное, и то лишь тогда, когда о ней рассказывал Эрих, а рассказывал он очень редко. И на душе у Эльзы было ясно. Она не помнила себя Эльзой. Жизнь ее началась в этом ауле с Ализы.

Напряженно глядя под ноги, перешел он брод, поднялся на раскаленный каменный выступ. Долго любовался причудливым нагромождением камней у самого берега. Из-за этих валунов-громадин и назвали — может быть, еще тысячу лет назад — этот брод Тас-уткель — Каменным бродом. Здесь в детстве он пропадал иногда целыми днями с мальчишками. Рыбачил, сидя на камне и свесив ноги в воду, таскал великое множество чебаков, окуней, пескариков. На том берегу, у кустов, под которыми вода казалась черной и густой, что-то гулко ударило, хлопнуло, и по воде разошлись круги. Он вздрогнул, почувствовав знакомое нетерпение рыбака-удильщика. Эх, была бы там жерлица!.. Это наверняка щука гналась за чебаком... Наловив с полведра мелочи, ребята, бывало, варили ее в старом, помятом, черном от копоти котелке и потом подолгу ели часто полусырую рыбу, без хлеба и соли. И не было тогда на свете вкуснее еды.

Много было тогда рыбы в Ишиме, а рыбаков — мало. Это сейчас на каждого пескаря по два рыбака приходится. А тогда — приволье. Из взрослых один Абильмажин ставил сети и вентеря. Ну и подкармливал пол-аула летом рыбой, зимой — зайчатиной и дичью. А из этих камней Абильмажин делал дивные ручные мельницы.

Без ручной мельницы в войну не обходился почти ни один дом. Сначала Абильмажин долго выбирал пóстав, старательно обтачивал его, обтягивал железным обручем, прикреплял к деревянным плахам, а потом приступал к жернову. Аккуратные, удобные получались мельницы. Но крутить их было ой как нудно! Крутили их в основном дети и старухи. Крутишь, крутишь часами, по горсточке подсыпаешь зерно в дырку жернова, и в плечах уже ломит, и в глазах рябит, а из желоба еле-еле сыплется мелкая мягкая мука. Так надоедало крутить, что ребята незаметно подкидывали зерно курам, лишь бы скорее кончить, отвязаться от муторной крутилки. И поныне эти мельницы валяются у каждого где-нибудь в сарае. Кто знает, может быть, уже навсегда отслужили они свой век. Дай-то бог...

Он оделся и пошел тропинкой, извивающейся между тугаями. Здесь было душно, пахло сыростью, гнилью, прелыми листьями. Над шиповником кружились шмели, рубиново поблескивала стеклянными бусинками волчья ягода. Черемуха отцвела, видно, недавно: мелкие-мелкие ягодки висели зелеными гроздьями. В кустах, обвитых цепким зеленым хмелем, вперемежку с паутинками, бродили коровы. Благодать здесь летом...

Чего только не делал Абильмажин в те годы! И пахал, и сеял, и горючее на быках возил, и сено для волов косил, и сапожничал, и посуду лудил. И все это делалось спокойно, безропотно, без суеты. А ведь было тогда ему за шестьдесят. Всю жизнь старик работал, а когда хотел уйти на пенсию, выяснилось, что почему-то не хватает стажа. Этого Абильмажин понять не мог. В одном колхозе он проработал лет тридцать, да столько же, наверное, до колхозов. Походил-походил Абильмажин по разным районным конторам, да ничего не выходил. Из документов оказалось всего две-три бумажки, да и то в одной было написано Абуль-меджнун, в другой Абди-Джамиль, надо было свидетелей искать, которые бы удостоверили, что старика зовут именно Абильмажин, а не иначе. Плюнул старик, хлопнул тяжелой райсобесовской дверью и вернулся в аул. Зашел как-то секретарь аульного Совета, хотел было помочь, но старик заупрямился: «Стану я еще на старости лет доказывать, кто я такой есть! Оставьте! Проживу как-нибудь». Так и ушел на пенсию без пенсии.

Дорожка круто пошла вверх и вырвалась из душных объятий тугая. Здесь был широкий и ровный луг, окайм-

лишный густо разросшимся тальником. Трава росла выше колен. Далеко внизу виднелась река. У обрыва вода казалась темной, дальше, к середине, она постепенно светлела, становилась то лиловой, то зеленоватой, то серебристой, а к противоположному берегу снова темнела. У Каменного брода вода ярилась, с шипением билась о валуны, швыряла на берег клочья пены. На этом лугу Абильмажин каждый год косил сено. Рано утром, еще до восхода, приходили они по росистой траве к дремавшему еще под туманом Ишиму и закидывали приготовленные с вечера удочки. Сначала поплавок долго молчал, мягко покоясь на застывшей воде, потом на мгновение вздрагивал и резко уходил ко дну. И тогда наступали самые счастливые, блаженные минуты. Все на свете забывалось, кроме беспокойного поплавка, туго, до звона натянутой лески и упругих, крутошеих окуней да серебристых спокойно-жественных красноперок. Клев по утрам всегда отменный. Абильмажин, не торопясь, нанизывал рыбок на кукан и пускал в воду. Потом, когда солнце поднималось на длину аркана и просыхала роса, Абильмажин уходил косить. Сначала он долго точил литовку, и над Ишимом, отдаваясь эхом, звонко щелкали резкие звуки: жжик-жжик-жжик. Абильмажин косил, а Эркин сидел под обрывом и следил за жерлицами, время от времени менял мальков на крючках. Солнце поднималось все выше, разгоняло туман над рекой, вода посередке, где было мелко, начинала отливать золотом, от песка поднималось удушливое тепло, и клев прекращался. Тогда Эркин, еще раз проверив жерлицы, поднимался на обрыв, шел к Абильмажину, и они завтракали под черемухой. Абильмажин смотрел на луг, подсчитывал в уме, сколько здесь нынче накосит сена, молчал. Молчал и Эркин. Потом старик молился, подстелив под колени ветхий полушубок, а он уходил копать червей и ловить кузнечиков. На них хорошо шли чебаки. Да... Если подумать, здесь, на берегу Ишима, прошли самые счастливые дни его жизни. На всю жизнь остались в сердце эти луга, задыхающиеся от разнотравья, тугай, тишина над древним Ишимом, то тихим и ласковым, то грозным и шумным. Ему часто казалось, что с этой реки и началась его жизнь на земле.

Однажды на этом месте они поймали щуку, о которой в ауле рассказывают до сих пор. Хорошо, что Абильмажин оказался тогда поблизости, иначе утащила бы его щука в Ишим. Уже на самом берегу щука сорвалась, но Абильма-

жин, изловчившись, оседлал ее и засунул обе руки под жабры. Щука — большущая, зеленая, скользкая — яростно била хвостом, вспахивала брюхом песок, старалась сбросить Абильмажина и вырваться из его ручищ. И ускользнула бы, если бы он не оглушил ее. Старая была щука. Весом больше пуда оказалась. На щучий бесбармак собрался весь аул. А из ее хребта он сделал для маленькой Ализы ожерелье. И все девчонки и мальчишки долго завидовали ей: таких игрушек в ауле не было ни у кого.

Тропинка обогнула старицу, заросшую по краям р -кой и кувшинками, спустилась в долину. Там паслись овцы. Чабан, сидя на низкой, толстобрюхой лошадке, глядел на дорогу. Заметив человека, издали закричал:

— Эй! Есть у тебя закурить?

По голосу Эркин сразу узнал Сакена. Чабан, подгоняя пятками лошадку, подъехал и разулыбался, обнажив желтые, прокуренные зубы.

— Эй, эй... Эркин? С неба, что ли, свалился?

И, забыв про курево, повернул лошадку, поскакал к аулу.

— Стой! Куда понесся?

— Старика обрадую. Суюнши попрошу. Он тебя ведь ждет не дождется.

— Не надо, Сакен! Умоляю, не надо! Я сам тебе суюнши дам.

Сакен остановился, повернул назад.

— А что дашь?

Глазки его стали узкими-узкими, а рот растянулся до ушей.

— Что хочешь бери.

— Что у тебя там, в торбе?

— Да всякие конфеты, печенье, чай.

— А, шай-май, кампит-мампит оставь себе. А вот шляпу дай. Она мне пригодится.

— На, шайтан с тобой! Знаешь, я сам хочу обрадовать ата. Ведь три года не был.

— Да...— задумчиво тянул Сакен, примеривая шляпу.— Сам-то большой начальник стал?

— Большой. Видишь, шляпу ношу.

Сакен сипло захохотал:

— Эге! Теперь шляпа моя и начальник — я. Не только бараны, но и козы — волк их раздери! — слушаться будут, хе-хе-хе...

Вспомнив про коз, он оглянулся и обомлел. Козел,

низко склонив голову, рванулся в тугай, а за ним потянулась вся отара.

— О, чтоб вертячка на тебя напала! — завопил, колотя лошадку, Сакен.— Как я потом из тугая вас выгоню, проклятые...

Эркин засмеялся и пошел дальше.

Когда он выбрался из оврага, сердце его заколотилось: прямо перед ним, будто на ладони, простирался родной аул. Белели дома, сверкали под солнцем покрытые шифером крыши. Из аула доносился скрип колодезного журавля. Над кленами возле разросшегося кладбища лениво кружились вороны. Эркин сразу нашел свой дом. Тополя, посаженные им, так вытянулись, что казались выше школы и были видны далеко-далеко вокруг. Ниже аула, на пустыре, где он в детстве ставил капканы на сусликов и гонял с ребятами мяч, сейчас появились две новые улицы. Растянулся, разросся аул. Теперь тот буерак оказался совсем рядом с аулом. В том буераке под одинокой осиной он готовился с Багирой к выпускным экзаменам. Как он тогда волновался, мучился, не смея сказать ей, этой черноглазой, смуглой девчушке, от прикосновения мизинчика которой у него сладко кружилась голова, всего три слова. Только о них, об этих трех таких простых словах, и о той, кому они предназначались, он тогда и думал. Но так и не сказал. Потом уехал, Багиру выдали замуж, а одинокую осину кто-то спилил...

У знакомого плетня, где теперь пышно разрослись акации, Эркин остановился. Под тополем в уютном затишье кустов сидел Абильмажин и глядел куда-то вдаль.

— Ата,— тихо позвал он.

Старик вздрогнул, оглянулся и начал по привычке чесать грудь.

— Ата-а!

Старик выпрямился, нахмурил кустистые брови.

— Кто это? Нашел с кем баловаться...

Тогда Эркин перепрыгнул через плетень и кинулся на шею старика.

— Ата-а-а...

— Эй, эй. Ты, ты...— забормотал старик.— Сынок мой... Эркинжан мой... Как ты, как ты?

— Здравствуй, ата.

— Здравствуй, здравствуй, сынок...— Старик хотел привстать, но не смог.— А Ализа, шалунья наша, надумала... это... замуж выйти...

У старика вдруг задрожала бородка. Он сильнее прижал голову сына к груди и стал дрожащей рукой гладить его по волосам.

Со стороны дома по огороду, прямо по картошке, неслась как угорелая, раскинув руки, Ализа и кричала на весь аул:

— Э-э-рки-и-и-ин!..

Вечером, когда уже разошлись все гости, они остались одни. Старуха с покрасневшими глазами сидела у печки и крутила свою прялку. Рядом на корточках примостилась Ализа с пышным шотландским шарфом на плечах и, не отрываясь, смотрела на брата. Эркин, улыбаясь ей, поигрывал на домбре. В передней тоненько выводил свою немудреную песенку самовар. Абильмажин молчал, теребил бородку и думал о том, что все-таки он счастлив, что счастье, оно хоть и трудное, а простое, бесхитростное, как сама жизнь.

1968—1980

КАМЕННЫЙ БРОД

И вот опять стою я у Каменного брода, дышу неповторимым ароматом прибрежного тугая, слушаю, как шуршит, трется о гальку вода.

Мне здесь знакомы каждая тропинка, каждый кустик, каждая ложбина в хаотически причудливом нагромождении могучих камней, до блеска отшлифованных водой и ветрами. И все же каждый раз, когда я прихожу сюда и взбираюсь на самый высокий, крутолобый валун, откуда так хорошо открывается своеобразная краса Ишима, у меня от радости, от счастья сжимается сердце. Мне дорог этот маленький, не отмеченный ни на каких картах клочок земли, укромный уголок, должно быть еще в незапамятные времена названный предками моих земляков Тас-уткель — Каменным бродом. Видно, у каждого человека есть на земле такой единственный уголок, своя отправная точка, откуда он «есть и пошел».

В разные времена года по-своему красив и глубокого, мудрого смысла исполнен Каменный брод.

Летом он спокоен и добр. Знойное полуденное солнце нежится, купается в прозрачно-чистой реке. Прибрежные кусты, низко склоняя кудрявые головы, любуются своим отражением в зеркальной глади. Приятно, словно в седле, сидеть на гладко обточенном водой валуне, свесив ноги в прохладную воду, смотреть на резвящихся меж камней пескариков и чебачков, слушать благодушное фырканье лошадей, пришедших на водопой, звонкие, восторженные голоса мальчишек, собирающих в тугае смородину, черемуху, боярку, неторопливый разговор косарей, косящих неподалеку в пойменных лугах буйное разнотравье и теперь спустившихся к броду, чтобы искупаться, посидеть немного под кустом тальника.

Размеренно, неторопливо течет река. Она, как всегда в летнее время, обмелела, и теперь можно безбоязненно переходить брод и старым и малым. Все вокруг благоухает, дышит блаженством, истомой. «Будь добр и ласков,

прост и ясен. Доставляй людям радость. Не суетись, не бегай на поводу вечной спешки. Настоящая жизнь — жизнь осознанная, обоснованная»,— поучает Каменный брод.

А вот зимой здесь непривычно тихо и печально, лютые морозы обуздывают, ледяными обручами сковывают реку, укутывают ее толстым снежным одеялом. Странно видеть эту смиренность, покорность Каменного брода, эти низкие, пологие берега, сонный тугай, по пояс провалившийся в снежные сугробы, затейливые узоры — заячьи и птичьи следы на белой равнине, там, где теперь тяжелым сном спит река. Угрюмо застыли камни, подставив обнаженную богатырскую грудь жестоким зимним ветрам. Зябко, одиноко, должно быть, им сейчас в этом безмолвном, пустынном царстве. «Видишь, что со мной стало, а? Я вовсе и не брод теперь. По мне ходят и человек, и зверь, и птица. Скрутили меня, связали. Наказан я за свою строптивость и гордость»,— скорбит, жалуется Каменный брод.

Но зато величествен и прекрасен Каменный брод в пору весеннего половодья. В верховьях уже сошел снег, на склонах холмов и оврагов меж прошлогодних, сохранивших зеленую свежесть трав робко жмутся подснежники, а здесь, в низине, только-только начинается великое пробуждение. Каменный брод оживает, просыпается от долгой зимней спячки. Потемневший, оспинами изъеденный лед гулко ухает, трещит, откалывается, отделяется от берега, все резче обозначая границы реки, а под ним вода глухо рокочет, ворчит, надсадно кряхтит, как бы стараясь скорее стряхнуть с себя тяжесть, избавиться от сковавшего ее панциря. Вскоре начинается медленное, едва заметное движение.

— Смотри: пошла, пошла-а! — радостно, восхищенно вопит ребятня на берегу.

Лед идет сначала сплошняком, неразрывно, нехотя, потом на льду появляются кривые трещины, он начинает ломаться, делиться на отдельные глыбы, между которыми вскипает, ярится черная вода. Глыбам становится тесно, и они толкаются, сходятся лоб в лоб, грудь в грудь, сшибая, топя, давя, кроша друг друга. Через день-другой льдины, ломая прибрежный тал, неистово лезут на берег, и река взбухает, поднимается, растет, ширится на глазах, заливая окрестности аула. Там, где сплошной стеной стояли тал, шиповник, черемуха, боярышник, теперь торчат из

воды жалкие, кривые сучья. А серые, искореженные глыбы льда застывают по краям разлившейся реки, словно обескровленные, издыхающие чудовища. Посередине, пробив себе широкую полосу, неукротимо и шумно бежит черная вода, неумолимо подтачивая безмолвные, громоздящиеся торосы. Льдины уже не сшибаются в дикой ярости, как несколько дней назад, а покорно умирают, тают.

Для нас, аульных мальчишек, не было более величественного и поразительного зрелища. Промокшие, продрогшие, мы подолгу стояли у кручи и зачарованно следили за грандиозным побоищем, разыгравшимся внизу, у Каменного брода.

И потом, когда река снова входит в берега и прибрежный тугай облачается в зеленую шубу, у брода все еще бушует поток. «Видишь, какой я сильный, неукротимый! — словно говорит он.— Для меня нет никаких преград. Будь и ты смелым, отважным. Дерзай! Стряхни с себя лень, сонную одурь. Не унывай, не робей, никогда не теряй надежды. Не страшись ни бед, ни горестей. Иди прямо, смотри вперед, не сворачивай, не ищи мелкого и тихого брода!»

Мне кажется, доброта и упорство, душевная щедрость и стойкость, все хорошее, что так необходимо в жизни, зародилось, заложилось в душах моих аульчан, скотоводов и пахарей, здесь, на берегу Ишима, у этого многажды благословенного Каменного брода. Отправляясь в большие города на учебу, уезжая в дальние края, мои сверстники, чтобы добраться до грейдера на той стороне, переходили или переезжали Каменный брод, и он с добрым напутствием как бы провожал нас в большую жизнь...

И вот опять — уже в который раз — я молча прощаюсь с Каменным бродом, и мне немного грустно и знобко от мысли, что, может, все это диво я вижу в последний раз и также в последний раз чувствую, ощущаю тепло нагревшихся за день камней и ласковое, бодрящее дыхание реки. Но это так, мимолетно. На душе покойно и просветленно от сознания, что прелестный уголок земли — мой Каменный брод — прекрасен и вечен, как прекрасна и вечна Жизнь.

1967

В ОТЧЕМ ДОМЕ

Кого мне здесь благодарить
За чувство радостное это,
За хвойный дух на склоне лета,
За эту тоненькую нить?

Ник. Тарасов

Из чего что сплетено? И из чего сплетена человеческая жизнь?

В редкие минуты удается как бы со стороны, отстраненно взглянуть на привычные будни, на повседневный быт свой, на окружающих и на самого себя, и тогда появляется неодолимое желание вникнуть в вечное и неведомое: где твой исток и устье твое, в чем смысл твоего бренного существования и возможно ли отыскать нить твоего крохотного бытия в непостижимо огромной Жизни — вечной, прекрасной и таинственной? Можно ли чуть-чуть потянуть за хрупкую эту нить без риска оборвать ее?

Вот рассказ, в котором ровным счетом ничего не происходит. Не рассказ — мгновенная вспышка, исповедь.

Хотя мне и друзьям моим, литераторам, по природе избранной профессии совершенно противопоказано жить замкнуто, однако зачастую мы и сами не замечаем, как невольно оказываемся в некоем мирке, где немало суеты, пустого тщеславия и видимости. И беда, чудится мне, в том, что вскорости нам и начинает казаться, будто эти суета и видимость и есть самое-самое важное и главное на свете, ради чего мы, собственно, и живем. В самом деле: суета засасывает, как гиблая топь, и не так-то просто вырваться из этого круга самообольщения, из этого представления и найти такую точку в пространстве, с которой удалось бы взглянуть на все вокруг чуть-чуть со стороны. И когда не находишь этой спасительной точки, меня, например, начинают все ощутимей тяготить непонятная неустойчивость, смутное предчувствие странной зыбкости или даже роковой неизбежности.

Моя точка опоры на земле — отчий дом. Возможность побывать в нем и есть мое счастье, мое главное, неповторимое богатство, моя мудрость и отрада, чего большинство моих сверстников — к большой беде — давно лишено. Вот я и приехал в отчий дом, сподобился после годовой разлуки, чтобы обрести душевное равновесие и явственнее ощутить, что есть какая-то другая жизнь, полная притягательной тайны, более простая и мудрая, без спешки и погони за мнимыми соблазнами, протекающая в другом измерении.

Мне необходимо окунуться в особую домашнюю атмосферу, в которой совершенно непонятно для меня витают чудодейственные флюиды чего-то далекого и неизменного, теплого и благородного. Может, это и есть та самая живая, невидимая нить, которая прочно связывает поколения, тянется к истоку и устью и которую никакая злая сила на земле НЕ МОЖЕТ и НЕ ДОЛЖНА оборвать.

Мне необходимо посмотреть на отца, постоять рядом, порадоваться его всегда по-детски непосредственной порывистости, ощутить его неуемность, святую гражданскую неуемность старого коммуниста, которому всегда было и есть дело до всего на свете.

Мне необходимо посидеть с мамой, вслушиваясь в монотонный стрекот ее прялки, в немудреный рассказ про близких и далеких родственников, подолгу глядя, как из-под ее крепких, смуглых, в старческих крапинках рук бесконечно тянется-струится ровная нить шерстяной пряжи.

«Йя, йя... Зо ист дас Лебен... Так оно все и происходит. Слышал? Франц умер... Осталась бедная Минна одна...»

«А недавно был Йоханнес... Постарел. Зубов уж нет. Дочки замуж повыскочили. Внуков навалом».

«А Вилли помнишь? Жил лучше других, как у господа за пазухой, да, да... почет, уважение имел, а укусила его дурная муха, подался, глупец, в шпейтхаймкереры[1]. Теперь мается на чужбине...»

«А у Виктора... знаешь... Фридриха внука, еще одна девочка родилась. Инной назвали...»

«А другой Виктор, муж Зельмы, вторым орденом награжден. Очень старается...»

Я силюсь представить дядю Франца, которого и видел-то, кажется, всего один раз перед войной, но не исключено,

[1] Буквально: поздний возвращенец. Так в ФРГ называют немцев, эмигрировавших из Советского Союза.

что я его путаю с другим дядей, лихо плясавшим в Зигельберге на свадьбе тети Гульды, а потом, в конце 1941 года, погибшим где-то под Ленинградом от гитлеровской пули. Как давно это было... А Йоханнесу отчего ж не постареть? Безусым юношей вынес он все тяготы трудового фронта, четыре долгих года валил лес на Севере, вкалывал в шахтах, потом поднимал целину на Кустанайщине, был шофером, трактористом, завгаром, управлял отделением совхоза, заведовал фермой, растил дочерей, которые теперь разъехались по столицам и осчастливили отца кучей внуков. Вилли же, давний знакомый, земляк по Волге, общий любимец и баловень, вздумал искать сидевшую у него на плече птицу счастья на чужбине, в земле далеких предков, и теперь шлет изредка оттуда занудливые и покаянные письма, тоскуя по узбекскому плову, казахскому бесбармаку и безмятежной дружеской колготне во время многолюдного застолья. За Виктора, награжденного вторым орденом, я особенно рад. Слишком рано, совсем еще зеленым мальцом, познал он все горести сиротства и нужды. С девяти лет зарабатывал он свой кусок хлеба тем, что собирал в знойной пустыне и разносил по домам кишлаков вязанки боялыча — колючего кустарника на топку. У мальчика рано согнулась спина, но он оказался из цепких. В труде он обрел и спасение, и радость, и чувство достоинства. Сейчас он знатный механизатор. Другой Виктор, внук Фридриха, влюбился в Север, работает на какой-то метеорологической станции и чуть ли не на острове, зимой и летом заваленном снегом, недавно родившаяся его дочка — представитель шестого поколения Бельгеров, родословное древо которых я аккуратно веду с моего дедушки, родившегося в год отмены крепостного права на Руси.

У мамы редкая память на имена и даты рождения. Она помнит всех потомков по линии Бельгеров-Гертеров до шестого колена. Да что для нее какие-то две сотни родственников, если она поименно назовет всех, кто родился в казахском ауле на берегу Ишима за три десятка лет — ровно столько мы там прожили. «Надо будет записать новорожденную Инночку — еще один листик на разветвленном нашем родословном древе»,— думаю я про себя, прислушиваясь к неторопливому рассказу мамы под монотонное жужжание веретена.

Любопытная картина — родословное древо. Внизу, у основания, и чуть выше, на раскидистых толстых ветвях расположились многочисленные Бельгеры и Гертеры, по-

том — уже погуще — идут Михели, Кексели, Вальтеры, Риффели, в третьем-четвертом поколениях наряду с немецкими фамилиями пестрят русские, украинские, а еще выше — в глазах рябит от Сорокиных, Размазиных, Кирильчиков, Скобликовых, Ефременковых, Тимченковых и прочих, и прочих потомков, на которых одновременно с гордостью и недоумением взирают снизу, из своего небытия, далекие предки — Фридрих Бельгер и Давид Гертер, уроженцы села Мангейма Саратовской области.

Судьба страны отразилась в биографиях моих родственников за пять-шесть поколений. При этом не надо ничего приукрашивать, присочинять, домысливать, обобщать и типизировать. Честно опиши жизненный путь каждого, сложи эти главы в книгу — получится, ей-ей, достоверная картина, живо отражающая нелегкий путь нашего государства.

Крутится-крутится веретено, течет-струится бесконечная пряжа из-под ловких пальцев мамы. И я думаю: из чего что сплетено? И из чего сплетена человеческая жизнь? И куда тянется ее хрупкая нить?

Дух захватывает, когда представишь, сколько вмещает в себе человеческая память. Мои родители, раскрутившие восьмой десяток, прожили, по существу, множество жизней. Впрочем, это, вероятно, можно сказать о всех их сверстниках. В моем сознании сейчас все затейливо перемешалось, сдвинулось, спрессовалось, словно разом обрушилось прошлое-настоящее, и маленькая, седая, смуглолицая женщина, моя мать, прямо и уверенно сидящая за прялкой, превращается вдруг в шустроглазую девчушку с задорно торчащими косичками, в коричневом платьице с белым кружевным воротничком, в высоких ботиночках и плотных чулках. Она, старшая дочка-любимица деревенского музыканта-капельмейстера, восторженно взирает на мир и еще не знает, не догадывается даже о том, что́ уготовано ей судьбой,— это все еще ей предстоит: поденщина у местного богатея, революция, гражданская война, веяния новой жизни, коллективизация, любовь, замужество, летная школа города Энгельса, где — черт побери! — я, ее сын, увидел белый свет, война, эвакуация, долгая жизнь в казахском ауле, малые и большие радости и горести, всего-всего этого бойкая девчушка из Мангейма с чуть раскосыми черными глазами, мать моя, еще не знает, это знает лишь ее сын, безнадежно седеющий, заметно помятый жизнью, годами и хворостями.

Я вижу отца, сутуловатого, поджарого, резкого в движениях, импульсивного, мастерящего сейчас что-то во дворе для своих внуков, вижу его долговязым светловолосым подростком-подпаском, мечтающим о краюхе ржаного хлеба и разучивающим на потрескавшейся мандолине — единственном его богатстве — «Интернационал». Он, отец мой, тоже еще не знает, что станет скоро комсомольцем и активным безбожником, чем приведет богобоязненную мать-батрачку в ужас, а потом один из первых вместе со своими братьями вступит в колхоз, поедет учиться, увидит большие города, и всецело захватит его вихрь бурной жизни с громкими лозунгами, со всеми перекосами и перегибами, и дерзкий пафос и дух того крутого времени войдет в его плоть и кровь, станет нравственным идеалом всей его оставшейся и — бог даст — долгой жизни, а потом будет многолетняя служба в рядах Рабоче-Крестьянской Красной Армии, деятельность в кантонах Поволжья, эвакуация, работа на пределе человеческих сил, заведование фельдшерско-акушерским пунктом в радиусе шести — девяти казахских аулов, партийная работа и многое-многое другое, чем будут гордиться дети, внуки, родные и земляки. Беловолосый, долговязый, худущий подросток-полусирота с грустными глазами обо всем этом, однако, и представления не имеет, это знаю лишь я, его великовозрастный сын. Но и я сейчас себя совсем не великовозрастным чувствую, а робким и беззаботным мальчишкой в коротких штанишках с лямками наперекрест, в желтых сандалиях, белой рубашонке, и стою я не в отцовском саду в Ташкенте, возле яблони, а на детской площадке у качелей перед трехэтажным длинным домом, в котором обитает командирский состав летной школы города Энгельса, и невдомек мне, что скоро я окажусь в деревне родителей и меня начнут таскать по домам мои бесчисленные дядья, тети, двоюродные братья и сестры, потешаясь над русско-немецкой тарабарщиной их городского родственника, а потом попаду в Гнаденфлюр, центр кантона, и там впервые узнаю о начале войны, и оттуда повезут нас в Казахстан, где, по сути, и обрету свою «малую» родину и множество друзей, но это будет потом, потом, а пока всего этого я, чистый, ухоженный мальчишка, не знаю и потому с недоумением смотрю сейчас на сухопарого, пожилого, немного суетливого мужчину, сосредоточенно мастерящего что-то во дворе, и на маленькую, седую, смуглую женщину, прямо и уверенно сидящую за прялкой.

Из чего сплетена человеческая жизнь? И куда тянется нить памяти? Станет ли она, память моих родителей, уходящая в неведомую мне даль времени, достоянием детей, внуков, правнуков, протянется ли ее трепетная, живая нить ну хотя бы до Вовки, племянника-первоклассника, не находящего себе с утра места, ибо сегодня его должны принять в октябрята?..

Отчий дом... На моем веку он оказывался в разных краях нашей отчизны, но в нем всегда сохранялись тепло, уют, свои запахи, что-то такое неповторимо близкое, не определяемое словами — то, из чего, должно быть, и соткана человеческая жизнь, то, что меня властно влечет и волнует, где бы я ни был.

Я испытываю потребность исповедаться перед родителями, раскрыть, что называется, душу нараспашку, излить какие-то свои тревоги и волнения, и хотя, надо полагать, не все в моих сумбурных ощущениях, в моей душевной маете понятно и доступно им, но они меня сочувственно слушают и спешат приободрить и обласкать, согласиться со мной, и отец при этом решительно и круто свергает меня с высоты абстракции и глобальных умозаключений в пучину конкретного бытия и повседневной реальности, а мама, вздохнув, добавляет: «Йя, йя, дас вар аллес зо, ист зо унд бляйбт зо», что означает: «Да, да, так оно всегда было, есть и будет». Вывод, разумеется, несколько спорный и излишне обобщенный, что вызывает у нас с отцом невольную улыбку, но в этой формуле, прямо-таки афористичной, библейской, сквозит убежденность, уверенность в прочности и незыблемости мира.

Приехал я в отчий дом, отложив все бесконечные дела, еще и потому, что захотелось очередной свой день рождения провести среди родных. Ведь мне удалось это лишь раз с тех пор, как я, безусый юнец, покинул отчий дом в том ауле, который я называю родным. Понимаю: есть в этой моей причуде что-то наивное и сентиментальное. Эка невидаль — через день-другой стукнет мужику сорок семь! И говорить-то об этом, право, неловко. Вон мой друг, маститый казахский писатель, даже не ведает точно, в каком году родился, не говоря уже о месяце и дне. По воспоминаниям аульных старейшин известно только, что в тот знаменательный день шел снег — то ли первый снег осени, то ли последний снег весны. И мой знаменитый друг уже в зрелом возрасте сам выбрал себе день рождения — конец октября: именно в это время, случается, в его родном краю

сеется мокрый снежок. Выбрать-то выбрал, но сам об этом каждый год забывает. И никаких неудобств от такой неопределенности не испытывает. Как и все, он в меру счастлив и удачлив, и горести жизни — аллаху слава — тоже не обошли его стороной.

Но у нас, в отчем доме, принято отмечать дни рождения — с подарками, музыкой, добрыми пожеланиями и напутствиями, застольем. К этому приучены и сваты, и зятья, и прочие родственники, которые к подобным семейным праздникам, до того как породниться с нами, относились нередко скептически, снисходительно. Человеку важно сказать в день его рождения, что его любят, ему верят, на него надеются. Ведь в любви и ласке, внимании и понимании одинаково нуждаются и несмышленый малец, и древний старец.

И еще я надеялся, что здесь, в отчем доме, в осенней тиши, напишу давно задуманный рассказ — что-то о детстве и больничных буднях, о том, что человек, пока он жив, не имеет права на малодушие, ибо он совсем не для того создан — не для горестей, не для отчаяния, не для страха. Действие в том рассказе происходит, главным образом, метельной зимой, в нищенскую военную пору и в больничной палате, где на жестких деревянных щитах месяцами, а то и годами томятся после тяжелой операции закованные в гипс бедолаги, а тут, в Ташкенте, не по-осеннему яркое солнце поливает безбрежные дали теплыми белыми лучами, и небо прозрачно-голубое, без единого облачка, цветут розы и георгины, и день, разморенный теплом, точно застыл в неподвижности, и тишина стоит такая легкая, невесомая, которую немыслимо представить в гигантском городе, готовящемся вскоре отметить свое двухтысячелетие. Только в пору бабьего лета бывает такая тишина, хотя какое уж бабье лето, когда октябрь на исходе. В отцовском саду слышно, как со старой орешины с сухим шелестом опадают огромные листья, как в оголяющихся ветвях без умолку чирикают суетливые воробьи и глухо воркуют горлицы. В нагревшейся пыли под кустами малины и крыжовника купаются куры, и краснобородый петух пружинисто вышагивает вдоль ограды, сердито косясь на меня, застывшего на солнцепеке возле яблони. У ног моих доверчиво вытянулся, положив морду на передние лапы, Малыш и, навострив ухо, чутко вслушивается в каждый шорох. Гул города доносится приглушенно. Все погрузилось в сонную тишь.

Нет, не могу я сейчас писать рассказ о военном лихолетье, о больничных буднях, о беспросветных буранах и отчаянии человека, изнуренного болью. Светит щедрое солнце, творя мир и благодать, и трещит в углу летней кухни сверчок, и петухи, сомлевшие от тепла, перекликаются по всей улице, я стою под отцовской яблоней, охваченный счастьем встречи со здоровыми и бодрыми родителями в то время, когда сам-то уж, их сын, подбираюсь к полувековой меже, и вокруг простирается огромный, непостижимый, вечно прекрасный и вечно беспокойный мир, замерший в ожидании. В ожидании чего?..

Вздрогнула верхушка старого орехового дерева, и я отчего-то вздрогнул, будто холодком обдало душу. Словно рябь пробежала по прозрачной глади озерка.

Отчего нечаянная тревога? Отчего сердце вдруг сжимается в смутном предчувствии? Отчего мне вспомнился прошлой ночью наш аульный дом в первые послевоенные годы, вспомнились так явственно хлев, стойло, запах свежего кизяка, узкая деревянная дверь, сколоченная из коротких плах, что запиралась на несколько задвижек? Вспомнил обильные снега тех лет, каких ныне и в помине не бывает, как подолгу откапывали вход и подслеповатое окошко, выходившее на сумрачную безлюдную улицу. И представил я маму, какой она была в тридцать пять, в сорок, сорок семь лет, то есть в нынешнем моем возрасте, и мне почудилось на мгновение, что живу я поразительно долго и был едва ли не всегда, что я вовсе не я, а та самая причудливая живая нить, из чего сплетена человеческая жизнь и которая не имеет ни начала, ни конца,— невыразимое словами состояние.

Откуда печаль? Не оттого же, что завтра стукнет мне сорок семь, хотя — кто знает: ведь что ни говори, а прожитое — это лучшее и большее из того, что отпущено скрягой судьбой. Мафусаилов век никому не уготован. О да... сорок семь — никакая не катастрофа. Все зависит, с какого холма, с какой колокольни смотреть на свой возраст. И все же, все же... Что сделал? Так ли жил? На что еще способен? Чиста ли совесть? Какие думы гложут? Как лучше оправдать свое существование на временном обиталище? Кому от тебя было тепло, хорошо?..

Оттого ли печаль, что неведомая хворь подтачивает близкого тебе человека, верного друга, которому предстоит вот-вот лечь под нож, на операцию, а никто никогда не ручался еще за благоприятный ее исход.

Или опыт зрелого ума, обретенного в печали, услужливо подсказывает, что ничего на свете не может длиться вечно, и тем более — хрупкое счастье, которому я радуюсь сейчас в отцовском саду, у залитой солнцем яблони. Нет, ничто не вечно, в том числе и лад, и смысл, так бережно и старательно сотворенные и взлелеянные родителями в этом доме, в этом саду, в этом дворе, и сами наши родители — тоже. А потом что? Понимаю ли я, понимают ли мои сестры всю глубину неминуемой утраты, всю бездонность горя, которое еще предстоит нам пережить?.. Оттого, может, и подернулась на миг душа знобящей мглой и чудится, будто стою на краю бездны.

Или оттого печаль, что тревогой пронизан весь мир, сам воздух, которым мы дышим. Клокочет планета, захлебывается в тревоге эфир, корчатся газеты, взывая к бдительности. То здесь, то там тлеют очаги вооруженных конфликтов. Кое-кто алчет Геростратовой славы. Ощетинились, как никогда, вечно противоборствующие силы — Добро и Зло. И все оглушительней, все наглей сатанинский хохот многоликой фальши, лишающей человека главного его достоинства и богатства — чувства внутренней свободы. Сумеет ли Разум противостоять той глобальной катастрофе, о реальности которой во весь голос предупреждают человечество его лучшие умы?

Торжественно клонится солнце к горизонту. Слабый запах тлена — преющих листьев в саду — струится в воздухе. Влетел во двор, оглушительно хлопнув калиткой, розовощекий Вовка.

«Ба-а-ба-а! Я октябренок! Вот!» — и выпячивает грудь, гордо демонстрируя пятиконечную звездочку.

Возвращается с хлопка сестра, пыльная, загорелая, довольная. «По сорок, по семьдесят собираю, а один раз даже сто килограммов собрала».

«Чистого? — поражается мама.— Или на подборе? Или курак?»

Здесь сейчас у всех на устах хлопок, как у нас, в Казахстане, в пору страды — пшеница. Вон и отец вернулся из райкома, с совета ветеранов партии, счастливый:

«Четыре миллиона восемьсот тысяч тонн уже есть!»

Заглянул лохматый, вымахнувший в ражего парнягу племянник Сашка.

«Есть повестка,— басит.— Скоро в армию».

...Из чего что сплетено? И из чего сплетена человеческая жизнь? И куда тянется ее хрупкая нить? И какое безумие,

какое кощунство посягать на людские радости и надежды!

Добродушный пес Малыш у моих ног чутко вслушивается в тишину. Мама погромыхивает посудой в летней кухне. Оттуда сочится пряный дух свеженспеченного хлеба. Стая соседских голубей шумно сорвалась с голубятни, взметнулась ввысь и лениво покружилась над домом. Со сквера Революции донесся дребезжащий перезвон.

Я стою в отцовском саду под замершей в предзимней печали яблоней, взволнованный, взбаламученный нахлынувшими враз думами и видениями, и тихо удивляюсь тому, как все переплетено и взаимосвязано, как прекрасна и бесконечна жизнь, как неразрывна ее таинственная, волшебная нить...

Ташкент, 28 октября 1981 г.

ЧАЙКИ НАД СТЕПЬЮ

На автостанцию Жарас прибыл в третьем часу ночи. Было пустынно и непривычно тихо. Где-то под боком спал зоревым сном районный центр. Возле колонки тускло поблескивала лужа. Под ногами шуршал гравий, тяжело, неуклюже прыгали лягушки. Шофер быстро собрал с пассажиров деньги, хлопнул дверцей и завалился спать на заднем сиденье. Жарас постоял возле чемодана и рюкзака, жадно дыша резким, грубоватым северным воздухом. От усталости и тишины звенело в ушах, слегка кружилась голова. На станции, кроме городских такси, машин не было, и он решил, что Давид Павлович либо не получил его телеграммы, либо уехал, не дождавшись, и что теперь единственная надежда уехать отсюда автобусом в полдень, если, конечно, на той стороне Ишима не было дождей. С юга до областного центра он добрался почтовым самолетом за пять часов, до района на такси — за два с половиной, а здесь, хотя до аула оставалось каких-нибудь тринадцать километров, в непогоду можно было торчать и сутками. Жарас зябко поежился, глубже засунул руки в карман.

В дверях зала ожидания показалась заспанная дежурная.

— Вы что, молодой человек, не заходите? Автобусы будут еще не скоро. А мест у нас много... Выспитесь.

— А-а, сейчас, сейчас. Спасибо.

Пошатываясь, внес чемодан и рюкзак, поставил возле бака с жестяной кружкой на цепи, огляпулся. В огромном пыльном зале было почти пусто. На скамейках спало несколько человек в телогрейках, в заскорузлых брезентовых плащах. Смуглолицая девушка в толстом свитере и брючках читала в углу книгу. «Видно, как и я, к кому-то в гости едет»,— подумал Жарас и тоже сел, облокотившись на спинку скамейки, закрыл глаза.

Уехал Жарас из этих мест лет двадцать назад. Подростком поступил в ФЗО, где выучился на слесаря и сварщика.

Побывал на многих больших и малых стройках, сполна познал и настоящий, до соленого пота, труд и романтику, радость свободы и тоску одиночества. Потом поступил в университет, окончил его и работал в последние годы экономистом на крупной фабрике. Все эти годы он часто вспоминал Давида Павловича, изредка они переписывались. Тот, бывало, высылал деньги, иногда посылки, но Жараса эта помощь смущала, ибо рос он сиротой, был немного мнителен, приучил себя рассчитывать только на собственные силы. С некоторых пор Давид Павлович вспоминался все чаще, даже приснился однажды. Тут как раз подходил отпуск, и Жарас решил съездить в те памятные с детства места, повидать милого, доброго Даут-ага и вообще немного поразвеяться. Получив письмо Жараса, Давид Павлович очень обрадовался. «Приезжай. Встретим как надо. Не пожалеешь»,— ответил он.

Из газет и со слов знакомых Жарас знал о больших переменах в этих краях, однако в его представлении аул оставался таким же маленьким, тихим, окруженным с трех сторон лесом, а Давид Павлович — высоким, сухопарым, беспокойным, хотя теперь, по подсчетам, ему вот-вот на пенсию.

Усталость сморила Жараса. Но вскоре он проснулся от неожиданного стрекота. За окном светало, лампа на потолке погасла. Девушка в свитере, уронив книгу на колени, дремала. Резко распахнулась дверь, и в зал ожидания влетел рослый мужчина в длинном, до пят, дождевике, черных крагах и мотоциклетной каске. Грохоча сапогами, вышел на середину, уверенно, по-хозяйски огляделся, сморенных сном пассажиров, потом уставился на Жараса. Тот вскочил:

— Давид Павлович?!

Одним шагом мужчина очутился возле Жараса, сграбастал, резко рванул к себе, крепко расцеловал. На скамейке зашевелились.

— С приездом, дорогой! Вот ты какой стал, а?! — радостно басил мужчина, хлопая Жараса по спине.

— Эй, першил, аман ба?[1]

Все проснулись, сонно глазели на обнимавшихся.

— Это вы, что ли, Дауке?!

[1] Эй, фельдшер, здоров ли? *(каз.)*.

Мужчина, узнав знакомых, шумно поздоровался. Со скамейки поднялся старик в черных вельветовых штанах и сюртуке, пощипал бородку, хитровато прищурился:

— Ты почему, Даут, людям спать не даешь?! Шумишь, будто отец твой воскрес, а!

— Доброе утро, дедушка! — Мужчина учтиво пожал старику руку, широко улыбнулся.— Отец-то не воскрес, а вот брата родного или сына — считай как хочешь — действительно встретил. Вот он!

Жарас поздоровался. Старик ответил на его приветствие и серьезно сказал мужчине:

— Э, барекельде! Поздравляю, поздравляю.

Мужчина схватил чемодан и рюкзак Жараса, громко спросил:

— Кому в Кок-тугай? Есть одно место.

— Кок-тугай? — встрепенулась девушка в свитере.— Я... мне туда нужно.

Мужчина смерил ее взглядом.

— А к кому вы... позвольте спросить?

Девушка смутилась.

— Я на работу... в клуб. Музыкальным руководителем послали.

Мужчина вскинул кустистые белесые брови, так же резко поставил чемодан и рюкзак, шагнул к девушке, протянул широкую ладонь:

— Здравствуйте! Вас мы очень, очень ждем.— Он както неуклюже, грубовато потряс ее руку, представился: — Давид Павлович, завмедпунктом в Кок-тугае.

— Очень приятно... Лида. Лидия Сергеевна.

— Поехали!

Было по-утреннему прохладно. На листьях лопуха поблескивали крупные капли росы. Сизый туман застилал дома. Давид Павлович посадил Лиду в коляску мотоцикла, укутал ее дождевиком, не обращая внимания на ее смущение, потом достал из багажника шапку-ушанку, надел ей на голову.

По городу кружили долго. Давид Павлович заехал в больницу, разбудил дежурного врача, поинтересовался здоровьем аульчанина, оставил передачу — сверток с аульными яствами, потом решил мимоходом взять лекарство, так же чуть свет поднял с постели ворчливого аптекаря, потом вспомнил, что один знакомый обещал привезти из области струны для контрабаса, и заехал к нему. Жарас улыбался, узнавая в этом заметно постаревшем человеке

всё того же неугомонного, стремительного Даут-агу из далёкого детства.

Наконец выбрались из городка и сразу же очутились у громадной плотины. Внизу на многие километры вширь разлился Ишим, и над ним курился, постепенно тая, редея, утренний туман. Вода билась о бетонные быки, о мощную грудь плотины, вскипала, пенилась, и казалось странно непостижимым, как такую силищу можно было обуздать. Выехав на другой берег, Давид Павлович заглушил мотоцикл, широким взмахом показал на плотину:

Видал? Сила! Какая, думаешь, длина? Триста метров! А какая высота, знаешь? Десятиэтажного дома. Да!

И такая чувствовалась в нем гордость, будто все это великолепие было создано его руками. И потом, в дороге, он все рассказывал о плотине, о будущем степного моря, о том, сколько совхозов трех областей будут отныне вдосталь обеспечены ишимской водой и что гидроэлектростанция хоть и маленькая, а чудо, и в будущем он непременно свозит их туда разок, все подробно покажет и объяснит.

Дорога тянулась, кружилась вдоль прибрежного тугая, потом пересекла два или три березовых колка, и тут по правую руку вновь открылось, растянувшись до самого горизонта, море. Из-за леса только-только поднималось солнце: лучи, пробиваясь меж верхушек деревьев, золотистым снопом падали на поверхность воды. Все вокруг вдруг разом ожило, над степью, над морем взмыла стайка белокрылых птиц, и молчавшая всю дорогу Лида, стащив с головы шапку-ушанку, восторженно воскликнула:

— Смотрите, смотрите! Чайки! Степные чайки!

Давид Павлович улыбнулся ей, остановил мотоцикл у самой кромки воды. Лида сбросила брезентовый плащ, вылезла из коляски, нагнулась, зачерпнула пригоршню чистой зеленоватой воды, ополоснула лицо. Жарас тоже слез с заднего сиденья, увидел под ногой еще не успевшую зарасти травой степную дорогу, которая здесь обрывалась, исчезала под водой, и посмотрел на Давида Павловича.

— Да, да, та самая,— сказал тот.

— Вижу,— тихо ответил Жарас.

Да, и места эти, дорога эта, оказавшаяся теперь под морем, были Жарасу хорошо знакомы. Здесь, на этих лугах, он, мальчишка-пастушонок, пас в те годы овец и коз. Вон в тех перелесках собирал костянику и слушал подолгу пение степного жаворонка. По этой дороге он не раз ездил, а то и пешком ходил в район. По этой дороге осенью сорок

первого года на бричке почтальона Нуркана его дядя, единственный родной человек, уезжал в Марьинку, чтобы оттуда вместе с другими призывниками отправиться на фронт. Долго бежал он тогда за бричкой, бежал и бежал, рукавом вытирая слезы, пока дядя не сказал глухим, строгим голосом: «Будь джигитом, Жарас! Уйми слезы и возвращайся в аул!»

Это были его последние слова. Назад по этой дороге дяде не суждено было вернуться. Той же осенью на этой дороге и тоже на бричке почтальона Нуркана он впервые увидел долговязого, печального Давида Павловича — нового аульного фельдшера, который впоследствии стал ему почти родным человеком, согрел своей заботой его сиротское детство.

Поселился фельдшер в комнатушке при медпункте. И внешностью, и манерами, и поступками сильно отличался от аульчан. Мальчишки таращили на него любопытные глаза. Начал фельдшер с того, что сам натаскал глины, сам помазал и побелил стены медпункта, подмел и обнес штакетником двор, съездил в лес за дровами. Потом обошел все дома в ауле, переписал всех жителей и больных. Он был единственным фельдшером на семь окрестных аулов. Ездил он по аулам на попутных подводах, а чаще всего ходил пешком. К доброму, безотказному фельдшеру скоро привыкли. Стали ходить к нему не только для того, чтобы хворь показывать, но и посоветоваться, поговорить о разном.

Вечерами, пока еще было тепло, он играл на скрипке. В аулах это было в диковинку. Домбру знали все, некоторые слышали, как Апанас из Козловки наяривает на гармошке, а вот скрипку никому в округе до этого видеть не приходилось. Мальчишки и которые полюбопытней из взрослых собирались у медпункта, слушали, как Даут изливал душу. Он играл что-то незнакомое, необычное, но проникновенно-печальное. Скрипка грустила о чем-то очень дорогом, близком, но ушедшем. Мелодия удивительно гармонично перекликалась с картинами осеннего аула. По улице неслись, шурша, сморщенные листья, пахло кизячным дымком. Колки вокруг аула обезлистились и были молчаливы и унылы. Стояли последние солнечные дни, чувствовалось, что лето уже прошло и осень на исходе, что с каждым днем становится все холодней, все угрюмей, а там, очень скоро, выпадет снег, запуржит, завоют бураны, занесет домишки снегом по самые печные трубы. И поэтому

в предчувствии всего этого особенно хотелось солнца, тепла, тишины, счастья. Может, об утрате всего этого горевала скрипка в длинных костлявых руках фельдшера, мелодия щемила сердце. Ее слушали молча, завороженно, и каждый, наверное, думал о своем, вспоминал ушедших на фронт мужей, сыновей, братьев. Взрослые благодарили «першила», уходили домой, неохотно расходилась и малышня, а Жарас оставался дольше всех, уходил последним.

Как-то вечером при тусклом свете семилинейки Давид Павлович долго беседовал с Жарасом, все расспрашивал, поил отваром из шиповника, а потом решительно сказал: «Слушай, хватит тебе по домам слоняться. Давай жить вместе». Ни о чем лучшем Жарас тогда не мечтал. Теперь, если подумать, эти шесть лет, проведенные тогда с Давидом Павловичем, были, пожалуй, самыми счастливыми в его жизни. В маленькой комнатушке при медпункте он не чувствовал себя одиноким. Даут-ага все время чему-нибудь да учил: ходить на лыжах, ставить силки, капканы на зайцев, мастерить жерлицы и мордушники для рыбной ловли, делать чернила из сажи, играть на мандолине по цифровым нотам. В долгие зимние вечера учил читать, писать, решать задачи. Через год Жарас пошел в школу сразу в третий класс...

Теперь нет ни той дороги, ни районного центра Марьинки: они под этими волнами.

Недавняя тишина начала наполняться звуками. Резко вскрикивали, кружась над водой, чайки. Неподалеку мычали коровы, лаяла собака. У белых палаток возле лесочка лихо запел пионерский горн.

Они едва успели отъехать, как впереди, на лесной опушке, забелели дома. На отшибе выделялось новое трехэтажное здание. «Школа»,— догадался Жарас. Лида все восхищалась:

— Лес, море и чайки. Чайки над аулом. Какая прелесть!

Они мчались по широкой, мощеной улице. Жарас оглядывался вокруг, старался увидеть знакомые места, дома. На лице его застыло недоумение. Ему вдруг показалось, что Давид Павлович просто решил пошутить над ним и привез его совсем не в тот аул, тихий, затерявшийся у леса.

У небольшого, недавно беленного дома с палисадником и высоченной телевизионной антенной Давид Павлович затормозил, снял краги, каску.

— Ну, вот здесь мы и живем. Добро пожаловать!

...Летом в ауле хлопот всегда много. Пришла пора сенокоса — коси, не мешкай. Впереди — уборка хлебов. Давид Павлович почти не бывал дома. До обеда в медпункте принимал больных, потом уезжал в бригады, возвращался поздно.

Жарас в первый же день, как положено по обычаю, обошел всех стариков, учителей, когда-то учивших его. Сначала его не узнавали, а узнав, удивлялись, радовались, вспоминали, каким он был тогда, в войну, и каким стал теперь, угощали кумысом, как самого дорогого гостя.

Аул стал неузнаваем. Не осталось ни одной землянки, ни одной мазанки, крытой дерном. Раздвинулось, раскинулось село, смело вышло из леса. И только старая, заброшенная кузница, как память тех лет, сиротливо стояла на заросшем бурьяном пустыре.

Как-то в обеденное время Давид Павлович забежал за Жарасом, повел его по аулу, показал новую школу, интернат, совхозные мастерские, клуб и столовую, и Жарас позавидовал тому, с какой гордостью, живой заинтересованностью, рассказывал сельский фельдшер о переменах в ауле. Он шагал быстро, широко, и люди при встрече почтительно здоровались с ним, говорили ему о каких-то своих делах и заботах. Старики говорили с ним по-казахски, называли его на свой лад Даутом или уважительно Дауке, а те, кто помоложе — Дяу-ага. Жарас вспомнил, что так его звали аульные мальчишки и тогда, и слово Дяу очень шло рослому Давиду Павловичу. В те годы он действительно казался ребятам Дяу — великаном.

— На ферме еще не был? — спросил он Жараса.— Сходи обязательно! Магазин видел? Зайди непременно! И вообще смотри, размышляй. Пригодится. Есть на что смотреть, есть о чем подумать. Сейчас прежних пропахших дымком и навозом аулов нет. В последние годы круто все переменилось. Смотришь — душа радуется. Вот мы привыкли говорить: планы, пятилетка, грандиозные масштабы. Называем многозначные цифры. А что для нашего села, к примеру, пятилетка означает, знаешь? То-то же. Это — грейдер от Кок-тугая до райцентра. Дожди, распутица нас уже пугать не будут. Это — новая больница с родильным отделением. Уже не будем рожениц возить в район. Это — новый клуб. Вот этот строили, строили, десять лет провозились, а когда достроили, оказалось, мал. Это... Э, да что говорить! Лекцию двухчасовую прочитать можно.

У медпункта они остановились. Давид Павлович взял Жараса за локоть.

— Не обижайся, что так мало внимания тебе уделяю. Дела, видишь... Сейчас съезжу на стан, а завтра вечером отправимся, пожалуй, в Аксай. Старика Нуркана проведаем. Помнишь почтальона?

— Как? Разве он еще жив?

— Жив, жив. Ноги, правда, отказали.

— Вот не думал!

— Молодец старик. Тебя помнит. Вот обрадуется-то...

Из бесед с жителями Жарас понял, что все рады построенному водохранилищу. Едва поздоровавшись, интересовались: «Ну, как наше море?» Большинство гордилось, что рядом с их аулом раскинулось море, ну, почти что настоящее море, и чайки есть, и катера мчатся по синей глади, и рыбнадзор стоит на страже, только белого парохода нет. Многие восторженно говорили о его красоте, практическом значении и сказочном будущем. Другие утверждали, что они, дескать, могли бы вполне обойтись без него. А управляющий отделением, рано располневший Бекен, с которым Жарас учился когда-то в начальных классах, прямо заявил, что от этого моря ему одно горе. «Ты помнишь,— горячо говорил он Жарасу,— сколько пахотной земли, сколько пастбищ! И оказалось вдруг все под водой! Хой-хой! Конечно, красиво, романтично. Но я лично охотно обменял бы эту романтику на пшеницу и сено».

О Давиде Павловиче рассказывали с неизменным уважением, любовью. Сколько добрых дел он сделал за четверть века! «Правильно живет! Добрый след в жизни оставляет»,— говорили аульчане. И Жарасу было приятно слышать такие слова.

На следующий день Давид Павлович повез Жараса и Лиду в Аксай. Старый Нуркан лежал на кровати в углу просторной затемненной комнаты и, прикрыв глаза, вяло перебирал четки. Услышав шаги, поднял голову, посмотрел по-старчески выцветшими глазами и закричал высоким, молодым голосом:

— Даут, ты? Эй, где вы там? Даут приехал!

Из боковой комнаты показалась молодая женщина, радостно всплеснула руками, но, взглянув на Жараса и Лиду, смутилась.

— Здравствуйте!

Одарив гостей улыбкой, женщина прошла в сени, вынесла во двор самовар.

Старик стал расспрашивать Давида Павловича про здоровье, про житье-бытье, про новости в Кок-тугае, все ли живы-здоровы, все ли благополучно. Получив ответ, удовлетворенно кивал, тянул: «Ия-а-а...»

Жарас с трудом узнал в нем прежнего почтальона Нуркана. И тогда, двадцать лет назад, он был уже далеко не молодым. Уже завел было посох, научился степенно оглаживать бороду. Но тут началась война, за месяц-другой покинули аул почти все мужчины, а когда забрали его единственного сына, тракториста Сагита, Нуркан отшвырнул посох, начал возить из района почту. Некоторое время спустя стал возить и горючее. Так и проводил все время в пути: день съездил на саврасой за почтой, следующий день — на быках в МТС. Потом стали ему поручать все больше и больше разных дел, и старик не отказывался: получал товар для аульных лавок — чай, сахар, спички, мыло; гонял скотину на сдачу, доставал тетради и учебники для школы; собирал в помощь фронту одежду у населения. «Удивляюсь, как это люди раньше без меня обходились»,— искренне недоумевал Нуркан.

В аулах все последние новости узнавали тоже от Нуркана. На обратном пути из района старик неизменно заезжал к Давиду Павловичу, своему тамыру, рассказывал, кого вызывают в военкомат, к кому давно уже не приходят письма, кто получил «черную бумагу». Если же фельдшера не было дома, беседовал с Жарасом. «Ничего, малец. Скоро наши батыры свернут шею герману-собаке, и вернется твой дядя. Ну-ка, прочти, что мой Сагит пишет». От сына старик получил два письма, и Жарас знал их наизусть. Каждый раз, останавливаясь у своего тамыра, Нуркан извлекал из внутреннего кармана старый, помятый бумажник, доставал аккуратно сложенные треугольники и подавал Жарасу. И пока Жарас читал длинный перечень вопросов и приветов, старик, прикрыв веки, слушал и шевелил губами. Он тоже знал наизусть каждую строчку, но слушать слова сына мог бесконечно.

Прошел год, второй, а война не кончалась. Совсем худо стало в аулах. Никто уже не просил Нуркана продавать скотину на базаре, да и из района давно уже не привозил старик ни чая, ни сахара, ни мыла, ни спичек. Мыло старухи варили из обглоданных мослов, золы и какой-то травы: куски получались черные, вонючие, будто из дегтя. Вместо

сахара грызли сушеный творог — иримчик. А чтобы разжечь огонь, бегали по домам в поисках тлеющей головешки или горящего уголька. Пригорюнились, притихли аулы, словно захудалый, больной ягненок в отаре. Потом и горючего не надобно стало — тощие колхозные быки в нем не нуждались. За почтой достаточно было ездить раз в неделю.

Однажды, ранней весной то было, старик приехал из района осунувшийся, черный. Посидел возле печки, зажав руки между коленями, помолчал, даже до чая не дотронулся. Потом сказал Жарасу: «Поехали ко мне. Гостем будешь». Всю дорогу старик не произнес ни слова. Было по-весеннему грязно, сыро. По небу низко плыли рваные тучи. Противно каркали вороны. В Аксай приехали в сумерки. Старуха подала лепешку, миску айрана, постелила постель: снохе и внуку возле печки, старику и Жарасу на почетном месте, у простенка. Укрылись тулупом. Под этим овечьим тулупом, обняв Жараса, старик и сообщил роковую весть: «Мальчик мой, мы с тобой оба... осиротели». Жарас припал к его груди, заплакал. Старик долго гладил его стриженую голову, временами вздрагивал, и из груди его вырывались глухие стоны. Позже Жарас узнал, что похоронка на его дядю пришла еще месяц назад, но старик все не решался сообщить ему черную весть.

После этого старик не стал возить почту. И в Кок-тугай не приезжал. Давид Павлович рассказывал, что старик работает в колхозе, делает все что придется, и говорит, что будет работать до тех пор, пока не встанет на ноги внук — единственный потомок их рода...

— Ата, вы не узнаете меня? — спросил Жарас.

Старик поморгал, слабо улыбнулся.

— Э, карагым, я ведь сейчас сам себя не узнаю, не то что других.

— Я Жарас... помните? Пастушонок из Кок-тугая.

— Ой, аллай!.. Жа-рас?.. Э, вот почему у меня с утра правый глаз дергается. Подойди, родной, ближе...

Жарас склонился над стариком. Тот обнял его голову, губами дотронулся до лба.

— Какой джигит стал, а?! Приехал-таки в аул и старика не забыл. И меня и Даута обрадовал.

— Как вы, ата?

— Э, что спрашивать? Видишь сам. Лежу, как дряхлый

верблюд на куче остывшей золы. И лекарства Даута уже не помогают. То ли лекарства плохие. То ли Даут не тем меня пичкает. Ты где живешь-то?

— Далеко, ата. В Алма-Ате.

— Где бы ни был, лишь бы здоров был. А у нас как... нравится?

— Аула не узнаешь, ата. Дома, школы, ну прямо как в городе. И море...

Старик недовольно улыбнулся.

— Море я видел. Возил меня весной Даут на своей шайтан-трещотке. Все кишки перелопатил.

— Что вы, деда! Я же тихо ехал,— заметил Давид Павлович.

— Тихо,— ухмыльнулся старик.— Разве ты тихо можешь? Всю дорогу бегаешь, как мальчишка. Вон и сейчас ерзаешь, будто под тобой мокро. Или надо куда?

— Да вот... заглянуть нужно к кое-кому. Может, болеет кто.

— Бабка Журавлева болеет. Иди... укол ей сделай...

Старик подмигнул Жарасу, захихикал, затрясся весь.

Жила в Аксае бог весть с каких времен глубокая старуха. Редко кто помнил в ауле, когда и каким образом очутилась она здесь. Бабка Журавлева, по всему, была русской, однако говорила на странной тарабарщине из русских, украинских, казахских слов, по поводу чего кто-то пошутил, что, дескать, она, бабка-то,— человек будущего, поскольку уже сейчас освоила диалект грядущих поколений. В войну она работала уборщицей в школе, и Давид Павлович, приезжая в Аксай, останавливался на первых порах у нее. В ауле привыкли к тому, что дважды в неделю кок-тугайский фельдшер принимает больных в маленькой пустующей боковушке бабки Журавлевой. С тех пор старый Нуркан и поддразнивал своего тамыра, намекая на то, что он якобы неравнодушен к ней.

Давид Павлович взял аптечку и пошел делать обход. Лида отправилась к хлопотавшей в сенях молодайке. Старик вел неторопливую беседу с Жарасом. Он говорил о том, что грешно жаловаться на судьбу, все-таки не зря прожил свою жизнь. Внук, слава богу, вырос, окреп, трактористом в совхозе. Три года назад привел в дом сноху и уже двух крикунов сообразил. Это хорошо. В аулах все благополучно. Сейчас только жить да жить. Да года вот вышли. И так всех стариков и старух в округе пережил... Жарас, потяги-

вая кумыс из деревянной чашки, почтительно слушал.

Вскоре вернулся Давид Павлович. Молодайка и Лида поставили возле постели старика круглый низенький столик. Появился дышащий паром самовар. Сноха принялась разливать по пиалам густой со сливками чай. Вошел Накен, внук Нуркана. Рослый рыжеватый парень в кирзовых сапогах, замасленной куртке, встал у порога, сорвал с головы помятую, со сломанным козырьком кепку, гаркнул:

— Ассалаумагалейкум! Э, да я, видно, как раз вовремя подоспел, а?!

Скользнул взглядом по накрытому столу, принюхался, улыбнулся жене и тут же вышел.

— Это и есть твой братишка, Жарас,— видимо гордясь внуком, сказал старик.— Ты его видел, когда он еще без штанов ходил, за подол бабушки-покойницы цеплялся. А теперь вымахал, что подпорка в юрте. В Даута, видать, пошел. Такой же долговязый и рыжий.

Старик опять захихикал. Борода задергалась.

Жарас с удовольствием наблюдал за Накеном. Крепкий, обветренный, пышет здоровьем. Движения уверенные, жест широкий, энергичный.

— Вот, смотри, Жарас, как мы теперь живем,— сказал старый Нуркан,— разве сравнишь с тем, что было?

— Да, о таком и не мечталось,— заметил Давид Павлович.— Хорошо стали люди в аулах жить, зажиточно. Работают крепко. Вот наш совхоз за прошлый год сдал государству два с половиной плана зерна. Отличный был урожай. Ну и заработки, конечно. Кабиден бригадир помимо всего премию получил около трех тысяч. В одном Кок-тугае в очереди на машину стоит двадцать восемь человек. Привези завтра сорок машин — мигом разберут.

— Верно говоришь, Даут,— закивал Нуркан.— Мой Накен тоже записался.

Накен кивнул утвердительно.

— А вот с культурой в аулах еще не все благополучно,— продолжал Давид Павлович.— Ведь важно не просто богато жить, но культурно, красиво, интересно. Сейчас, я думаю, крепко должна потрудиться сельская интеллигенция — учителя, медработники, работники клубов. А между тем некоторые учителя кое-как дают уроки — и айда скорее домой к скотине своей, в хлев. Убирать, поить, кор-

мить... Не хватает интересных, способных людей. Вот купила школа духовой оркестр. А учить некому. Струнный оркестр я еще с горем пополам веду, а другие инструменты второй год на складе валяются. Не распакованы даже.

— Зря прибедняетесь, Давид Павлович. У вас же теперь народный театр,— заметил Жарас.

— Что ж, мы этим гордимся. Но вот прислали режиссера-недотепу, и, боюсь, он даже самодеятельность нашу развалит.

— Что-то я его еще ни разу не видела,— сказала Лида.

— А вы его можете только возле магазина увидеть,— усмехнулся Накен.— Он все больше с бутылкой репетирует.

— Ничего. Лидия Сергеевна теперь поправит ваши клубные дела.

— А мы и надеемся, Жарас,— серьезно сказал Давид Павлович.

— А что я? — вспыхнула Лида.— Я ведь только музыкант и хормейстер.

— Это немало, если только как следует за работу взяться.

— Я для этого и приехала.

За беседой не заметили, как опорожнили самовар. Давид Павлович заторопился было домой, но Нуркан строго сказал, чтобы он сидел, что такой редкий, издалека приехавший гость, как Жарас, должен отведать у него бесбармак, попить сорпу, и лишь после этого он благословит его и даст разрешение покинуть его дом.

Пока сноха раскатывала тесто, Накен поиграл на домбре, спел по просьбе гостьи две-три песни, и Лида кинулась уговаривать его непременно участвовать в самодеятельности. Давид Павлович качал на коленях старшего сынишку Накена, рассказывал ему что-то.

Было уже поздно, когда наконец убрали дастархан. Нуркан поблагодарил гостей, долго прощался, бормотал:

— Спасибо тебе, Даут. Ты приезжаешь — душу веселишь. Вроде бы теплее мне...

Вокруг была глухая, черная ночь. Деревья застыли, словно фантастические богатыри, в крепком сне. Даже стрекотание мотоцикла поглощалось густым мраком. Фара далеко высвечивала дорогу. К свету роем тянулись бабочки,

тихо ударялись о стекло черные жуки. По дороге изредка прошмыгивали напуганные тушканчики. По обочине озабоченно семенил еж. В свете фар колючки его казались оранжевыми, с подпалиной. Из-за кустов вынырнул вдруг заяц. Встал на задние лапки, глянул недоуменно, ошалело на приближающийся свет и запрыгал по колее, будто завороженный светом. Лида рассмеялась. Давид Павлович включил ближний свет, и заяц в одно мгновение отпрянул в кусты.

— Давид Павлович, а где же мать Накена? — спросила вдруг Лида.— Умерла?

— Почему же? Жива. После гибели мужа еще года три жила у Нуркана. Потом старик выдал ее замуж. Не хочу, сказал он ей, твоему счастью мешать. Ты молода, и сидеть тебе у холодного очага не пристало. Хорошо выдал, как дочь родную. Корову с телком подарил. А внука оставил при себе. Она, сноха его бывшая, теперь в Ильинке живет. Детей — куча. Часто приезжает, гостит у сына и тестя.

— Интересно!

— Что интересного? Жизнь!

— А вас, Давид Павлович, любят в аулах. Только и слышно «Дауг», «Дауке»,— рассмеялась Лида.

Давид Павлович помолчал, потом сказал:

— Просто хорошие, добрые люди, Лидия Сергеевна.

Жарас молчал, дышал настоянным на травах ночным воздухом. Где-то на опушке леса мигнул свет, чуть тронулся с места и погас. Через некоторое время таинственно мигнуло еще в нескольких местах.

— Что за огни такие? — спросил Жарас.

— Это косари работают,— поворачиваясь к нему, ответил Давид Павлович.— Сейчас у людей ни сна ни отдыха. Время сенокосное. Сейчас не позаботишься, зимой без сена останешься.

Доехали быстро. У въезда в аул прямо на дороге дремали, жуя свою жвачку, коровы. Недалеко от крайнего дома белела стайка гусей. Услышав стрекотание мотоцикла, гусак нехотя поднялся, вытянул шею, прогоготал что-то вдогонку.

Лиду отвезли в интернат: там для нее выделили временно комнату.

Немного не доезжая до дома, Давид Павлович выключил мотор, по инерции докатил до ворот и мягко затормозил.

Стало неправдоподобно тихо. Слышно было, как вздыхали овцы в хлеву, как сонно шебуршила курица на насесте. Далеко, за Ишимом, мелькали огни. Там по грейдеру и ночью без устали сновали машины. Давид Павлович загнал мотоцикл под навес, заглянул в хлев.

— Ну как? Такой тишины небось в городе нет, а?

— Конечно,— согласился Жарас.

— Да-а... А воздух-то, а... Хоть пей его — не насытишься.

— Спать бы на улице, да к утру холодновато будет.

Зашли в дом, распили бутылку нарзана.

— Ты еще спать не думаешь?

— Нет, почитаю немножко.

— Между прочим, дурная привычка — по ночам работать,— заметил Давид Павлович, направляясь в крохотную спальню.— Лучше вставать пораньше. Ладно, спокойной ночи!

— Спокойной ночи!

Жарас разделся, придвинул к кушетке торшер. Но что-то не читалось. На душе было приятно легко и грустно одновременно, как это бывает всегда, когда вдруг встречаешься с чем-то далеким, невозвратным. Он листал журнал, а сам думал о старом Нуркане, о Давиде Павловиче, об ауле, от которого за все эти годы совсем отвык. К дому подъехала машина, и кто-то громко застучал в окно.

— Першил! Эй, першил!

В соседней комнате скрипнула кровать, что-то грохнуло.

— Кто это? — сонно спросил Давид Павлович.

— Першил, вставай!

Через минуту в сапогах и плаще Давид Павлович выскочил на крыльцо. «Интересно, сколько ночных вызовов было у него за все эти годы? — подумал Жарас.— Наверное, легче сосчитать ночи, когда его не вызывали...»

— Что случилось? — донеслось с улицы.

— Жену привез... из Алка-агаша.

— Что с ней?

— А что с ними бывает? Баранчук таскай будет.

— Почему же сюда привез ее? У вас же своя акушерка.

— Нет ее... Куда уехала — шайтан знает. Давай, помощь давай.

— Где роженица?

— Там, у больницы сидит...

Давид Павлович зашел к себе, порылся в шкафу, взял чемоданчик и вышел. Оглушительно заревел мотор, и вскоре опять стало тихо.

Жарас отложил журнал, потушил свет.

Проснулся он поздно. Давид Павлович ходил по комнате, почему-то переставлял стулья, хлопнул форточкой.

— А, отпускник! Пора вставать. Или не выспался?

— Выспался. Как там ваша... роженица?

— А-а...— Давид Павлович улыбнулся.— Под утро появился на белый свет еще один джигит. Своенравный мужик! Пришлось повозиться. Думал, в район везти надо будет. Нет, обошлось...

— Так вы, наверное, и не спали?

— Почему же? На кушетке в медпункте часа два подремал. Вставай, позавтракаем. А то вот-вот машина подъедет.

— Какая машина?

— Так воскресник же сегодня. Сенокос, брат. Может, поедешь?

— Конечно, поеду...

Едва успели позавтракать, как возле дома с ревом остановилась машина. Давид Павлович вскочил, побежал в сарай за вилами. На грузовике весело кричали:

— Айда, Дауке! Сено сгорит.

— Скорей, главный скирдовальщик!

К нему потянулось сразу несколько рук. Но он легко перемахнул через борт, за ним полез Жарас.

Возле совхозной конторы стоял еще один грузовик. В кузове галдела молодежь. Лида в спортивном костюме и красной косынке приветливо помахала Давиду Павловичу и Жарасу.

Давид Павлович ткнул Жараса в бок:

— Видел? Из этой девушки, пожалуй, толк выйдет. Быстро освоилась, а?

Был ясный, безветренный день. Солнце уже поднялось над лесом. Позади меж деревьев белели дома, и с бугорка аул казался особенно внушительным, торжественно-нарядным. Машины круто свернули влево, и тут все разом увидели величаво простиравшееся до самого горизонта спокой-

ное, по-утреннему ласковое степное море. Там, где еще недавно находился бывший районный центр, мчался по голубому простору, задрав нос, маленький глиссер. Прибрежные березки, стоя по щиколотку в воде, задумчиво любовались своим отражением. Ковыль покачивал пушистой головкой. Из-за колка, острым мыском врезавшегося в море, донесся пронзительный крик:

«Ки-ик! Ки-ик! Ки-ик!»

Над водой, недалеко от берега, кружились, то стремительно взмывая, то вновь падая, белые степные чайки.

1969

НА ОТМЕЛИ

I

Проснулся он от нестерпимой головной боли. Мелко, учащенно билось сердце, жгло в груди, во рту было сухо. Постанывая, он повернулся к жене, прижавшейся к стенке, но разбудить ее не осмелился. Что-то дуется в последнее время жена. А что ей еще надо? Сыта, одета, обута, дети здоровы, дом — полная чаша, муж — рядом, под боком. Может, затяжелела опять. Так то вроде не беда...

Он застонал погромче, надеясь разжалобить жену, но тщетно. Тогда он встал, нашарил под кроватью отопки и еле удержался на ногах. Все поплыло перед глазами. Ойбо-ой... худо, совсем худо. Он вспомнил вчерашний вечер у завгара, шумное, бестолковое застолье, не совсем удачный для него преферанс, вспомнил, как уже к утру, как водится, на «кебис-киер» — «на посошок», значит, радушный хозяин налил им — ему, бухгалтеру и двум приезжим — еще по стакану. Фу-у... вот этот стакан и оказался как раз лишним. Последний почти всегда лишний... Он тоскливо покосился на жену и, вздохнув, поплелся на кухню.

Теща, в платье до пят, в неизменном плюшевом камзоле, хлопотала у печки. Пахло мокрым углем, дымом и сырыми березовыми чурками. На краешке плиты сидел и нахально подмигивал кот.

— Шеше... Душа горит, ой, горит... Нет ли чего-нибудь кисленького, а?..

Старуха надула щеки, выпятила губы, яростно подула на огонь.

— Кисленького?.. Да ты и без того кислый.

— Э... разве в этом доме посочувствуют?! — Он с досады махнул рукой и прошаркал снова в спальню.

Алтын, услышав его шаги, свернулась калачиком и рывком натянула на голову одеяло. «У-у, злюка! Отгородилась, попробуй тронь ее хоть пальцем. Испепелит своими глазищами...»

Вошла теща с чашкой в руке.

— На, попей. Кислый курт в сорпе развела. Может, полегчает...

Дрожащими пальцами схватил он чашку.

— Ой, спасибо, шеше. Кроме вас, кто еще меня пожалеет? Ух, душа!..

— Алтын-ай, подоила бы корову,— окликнула старуха дочь.— Спину не могу разогнуть сегодня.

— Сейчас, апа,— донеслось из-под одеяла.

Алтын вскочила через минуту, набросила халат на худенькие, смуглые плечи и, не глядя на мужа, вызывающе прямая, неприступная, вышла. Он звучно втягивал горячую, густую и кислую от курта сорпу и, вытирая рукавом испарину со лба, после каждого глотка довольно покрякивал. «Уф, душа моя... Ай, чудо-сорпа! Мертвого оживит. Знали, знали предки, что есть и что пить». Так он думал, прислушиваясь к настойчивому утробному мычанию Зойки из хлева, куда спешила, гремя подойником, жена. «Да-а... надо, пожалуй, и мне в сарай — сенца подкинуть, почистить. Занедужила некстати старуха».

Он вышел в коридор, облачился в заскорузлый полушубок, сунул ноги в валенки, нахлобучил треух-малахай и направился в хлев. Завидев хозяина, радостно зафыркала в углу кобыла, высунули из-за перегородки тупые морды овцы, нетерпеливо заскулил Майлыаяк на цепи, облизнулась Зойка, роняя пенистую слюну. О-хо-хо... заботы, заботы. Он взял вилы и полез по лестнице на крышу сарая.

Через полчаса, управившись с хозяйством и заметно повеселев, он вернулся на кухню. Алтын в своем строгом «педагогическом» костюме с белым кружевным воротничком что-то торопливо дожевывала у печки и ежеминутно поглядывала на часы. Теща невозмутимо потягивала крепкий, густой, как деготь, чай с душистой гвоздикой. Дети еще спали.

— А у тебя уроки есть?

— Ойбай-ау, шеше, когда у меня их не бывает! Целых пять. Притом подряд!

Алтын, громко стуча каблуками, побежала в интернат, а он опять захандрил, подумав, что хочешь не хочешь, а надо и ему отправляться в школу. Тещин чай не имел сегодня никакого вкуса.

II

В этот аул Ельтай Хакимов приехал лет тринадцать назад сразу же после окончания института с дипломом преподавателя английского языка. Приезд его стал событием, ибо был он здесь человеком свежим и необычным. Когда он в ладном, отглаженном костюме, в начищенных до блеска ботинках, в фетровой шляпе и коротком, нараспашку, макинтоше, с кожаным портфелем в руке чуть вприпрыжку несся, бывало, в школу, на него заглядывались и дети, и взрослые. Английский язык, которого в аульной школе никогда всерьез не принимали, стал вдруг едва ли не главным предметом. Не только на уроках, но и на переменах все разом — в лад, не в лад — закартавили, якуя язык, на английский манер. Было что-то непривычно-привлекательное даже в том, что нового учителя называли не «агаем» или «мугалимом», как это было принято в ауле, а по имени и отчеству: Ельтай Каримович.

Новый учитель не требовал заучивать правил, не заставлял зубрить слова и переводить тексты, а, главным образом, говорил сам и заставлял говорить других. Он, как оказалось, был приверженцем устного метода обучения языкам. Говорил он преимущественно по-английски, старательно избегая русских и казахских оборотов речи, и хотя поначалу это казалось смешно, наивно, даже несерьезно, однако ученики очень скоро к этому привыкли, и — самое поразительное — почти все понимали или догадывались, о чем говорит учитель. Вскоре Ельтай Каримович организовал кружок английского языка, куда ринулись все поголовно. И уроки не были похожи на те, к которым притерпелись с первого класса. Не было оргмомента, опроса, объяснения, повторения и закрепления, длительно господствовавшей в педагогике традиционной «пятичленки», а было как-то все вместе, и к концу урока новый учитель еще выкраивал время на удивительные рассказы о казахских кюях, об их причудливой истории, об операх, о городе, о норме поведения в быту, на банкетах и дипломатических раутах. О подобных вещах в школе дотоле не говаривали.

Старшеклассники не устояли перед обаянием нового учителя, приходили в школу отутюженными, в классах запахло ваксой и тройным одеколоном, а староста 10-«Б» заявился однажды даже в галстуке, но событие это было настолько потрясающим, что уже после второго урока до-

морощенный франт запихнул его в карман, чтобы не нанести серьезного урона учебному процессу.

— Ну и ну! — качал головой директор.— Что со школой творится?

Успех молодого учителя не всем, однако, пришелся по нутру. Желчный, ворчливый математик Жангали кривил губы. Дескать, видали таких прытких. Больно резвый попался стригунок. Далеко не поскачет. Но директор был доволен: с некоторых пор районное руководство благосклонно относится ко всякого рода новшествам, и молодой педагог был для аульной школы несомненной находкой.

Воспряла духом и молоденькая «руссистка» Варвара Петровна. Косясь на математика, она при каждом удобном случае замечала, что наконец-то в лице галантного, изысканного преподавателя английского языка в их школу пришел интересный человек и — что не менее важно — настоящий джентльмен. Математик Жангали усмехался, попыхивая обгоревшей трубкой.

Новый дух незаметно проник даже в устойчивый быт учительской. Педагоги, оставив почтительные «ака» и «еке», стали называть друг друга по имени-отчеству. Приятели перешли на строгое «вы». Старый биолог вдруг перестал закладывать за губу насыбай[1]. На педсоветах Ельтай Каримович выступал каждый раз с новыми предложениями: то пространно говорил о культуре быта, то предлагал организовать среди преподавателей художественную самодеятельность, то создать кабинет эстетики, а зимой, в самые холода, в метель, предложил ходить в школе не в валенках и сапогах с раструбами и войлочными чулками, а в ботинках и костюмах. Тут уже Жангали не стерпел, взорвался:

— Как?! У нас, да в ботиночках?! Зимой?! Ну, уж извините. Здесь вам не Алма-Ата.

— Это уж слишком, коллега,— подал голос и биолог.— За долгие годы неустанного и — позволю себе заметить — успешного труда в этой школе я что-то не замечал, чтобы наши валенки и добрые дедовские сапоги негативно влияли как на учебный, так и на воспитательный процесс...

— Неоправданное реформаторство,— изрек историк.

— Нет, это что же получается, товарищи?! — Бас математика заметно дрожал от негодования.— У нас

[1] Особо изготовленный табак.

десятилетиями сложившийся коллектив. Все педагоги со стажем, степенные люди. Преподавание у нас всегда на уровне, что, по-моему, главное. И вдруг... объявляется в нашем ауле молодой человек, приятный, так сказать, во всех отношениях, но не имеющий ни жизненного, ни педагогического опыта, и начинает вводить, насаждать, понимаете, всякие внешние нововведения, которые рушат привычный ритм работы, отвлекая от главного — от учебы... А может, наши валенки и сапоги ущемляют эстетические чувства Ельтая Каримовича лишь потому, что у него-то самого, кроме лакированных ботиночек, ничего нет... Хе-хе!..

И Жангали демонстративно выставил свои добротные, с кожаными задниками валенки.

— В принципе никто, разумеется, не возражает против культуры быта, но надо же считаться и с аульными условиями и традициями,— наставительно добавил биолог.

Поднялся директор:

— Я полагаю, что Ельтай Каримович прав. Ходить по школе в сапогах, валенках, шубах, малахае — не делает учителю чести. И аульные условия и традиции тут ни при чем. Если иные приходят на занятия сразу же после чистки хлева, то это вовсе не традиция.

— О-хо-хо! — вздохнул Жангали.— Совсем невмоготу стало жить...

Впрочем, «обувная реформа», как назвал новую кампанию историк, прошла довольно безболезненно. Один Жангали сопротивлялся некоторое время, вызывающе вышагивая по школе в огромных, двухпудовых катанках и утверждая, что они ничуть не влияют на качество его уроков, однако со временем, оказавшись в гордом одиночестве, он почувствовал себя, должно быть, не совсем уютно и вскоре, сопровождаемый ухмылками коллег и учеников, начал ходить по классам в непостижимо громадных кедах на толстой, как шины памятного «студебеккера», подошве.

Да-а... что там говорить, много новшеств принес с собой в школу молодой преподаватель английского языка!

Правда, скоро стали замечать, что Ельтай Каримович более горазд на выдумки и предложения, чем на их претворение в жизнь. Он был мягок и уступчив, к тому же сообразил, что не стоит перечить аксакалам, иногда проще и удобней им потакать. В ауле его приняли, полюбили, приглашали, как водится, на все пиршества, и он не отказы-

вался, никого не чурался, в гостях ел и пил мало (и Жангали добродушно пошучивал, что, дескать, у молодого учителя кишка тонка), зато пел и много и громко, и притом не какие-нибудь там «а-ляу-ляй», которые горланят все кому не лень, а непременно арии из «Кыз-Жибек» и «Ер-Таргын». Был он холост, жил на квартире у колхозного кузнеца, с утра до вечера пропадал в школе, ибо часов было много: он являлся единственным «иностранцем» на всю среднюю школу.

Приметы будущей метаморфозы проявлялись в молодом учителе все явственней, и — увы! — старый скептик Жангали оказался прав: пороху хватило не надолго.

Уже на второй год Хакимов заскучал, потускнел, все чаще жаловался на быт, на среду, на тусклые аульные будни, в которых бесследно растворяются благородные порывы. Изменился Хакимов, изменилась и походка, лишившись былой легкости и стремительности; не развевались, как прежде, фалды макинтоша, пообвисли края фетровой шляпы. «Уеду, уеду,— твердил он,— в город, а может, и за границу, устроюсь переводчиком, может, даже поступлю на дипломатическую службу». Он чувствовал на себе осуждающий взгляд Варвары Петровны, разочаровавшейся в его джентльменстве, и видел, что у учащихся на его уроках все реже загорались глаза. Петь на вечеринках он стал меньше и тише, зато ел и пил больше, пристрастился к преферансу, становившемуся весьма модным развлечением в аулах, и после изнурительных ночных бдений приходил в школу наутро усталым и раздражительным. «Оу, оу, милок,— ухмылялся Жангали,— куда подевались твои... э, простите, ваши, Ельтай Каримович, передовые педагогические воззрения?» Изредка молодой учитель все же стряхивал с себя скуку, давал блестящие показательные открытые уроки, выступая на кустовых совещаниях, ставил спектакли к торжественным дням, выезжал с самодеятельностью в район. Но желанной славы не было, и восхищение им быстро проходило, а иные даже ухмылялись, дескать, что ему, молодому да холостому, еще делать, как ни забавлять честной народ, как ни тешить себя разными придумками, и тогда чудилось, что его не понимают, не ценят, что никому не нужны его стремления, что никто по-настоящему его не поддерживает. Опускались руки, и холостяцкий быт удручал все заметнее. Кружок он вел уже кое-как, по обязанности. На него не хватало ни сил, ни времени. Потянулись однообразные дни от

звонка до звонка, от урока к уроку, от одной четверти к другой. Поскучнел и отучнел Ельтай Каримович, все охотнее уступал часы свои словесникам и математикам для консультаций и контрольных работ, все реже говорил по-английски и с тоской всем рассказывал, что был глуп, он как глуп, что мог,— честное слово, мог! — уйти на дипломатическую работу, была такая возможность, но ничего, ничего, еще, может, повезет, еще уйдет, непременно даже уйдет, вот только доработает этот год, и все, все, все, поминай как звали. Но проходил год, и другой, и еще год, а он все продолжал ходить в школу, как на опостылевшую службу, и оживлялся лишь на вечеринках, когда видел тусклый отблеск винных бутылок и чувствовал пушистый запах жирной баранины. На педсоветах он забивался в угол за кадкой с фикусом, ничего уже не предлагал, а если и предлагал, то, главным образом, соблюдать регламент и не забывать о перерыве. «Ну, встряхнитесь,— шептала ему Варвара Петровна.— Возьмите же себя в руки. Вы же способный человек!» Он вздыхал, печально закатывал глаза, пытался шутить: «Эх, милая Варвара Петровна... Укатали сивку крутые горы...»

На четвертый год работы в ауле Хакимов женился, просто неожиданно привез — по совету аксакалов — молоденькую учительницу начальной школы из соседнего колхоза, построил с помощью аульчан дом, завел хозяйство и о дипломатической работе больше не заикался. Теперь он зажил, как все, и был вполне доволен...

III

В учительской, как всегда перед уроками, было оживленно. Завуч, изогнувшись вопросительным знаком над своим столом, придирчиво просматривал чьи-то планы; Варвара Петровна по обыкновению проверяла тетради и, косясь на часы, приговаривала: «Ой, не успею! Не успею!..»; Жангали у окна мрачно попыхивал трубкой; человек пять шумно обсуждали у шахматной доски какой-то эндшпиль; пионервожатая, дежурная сегодня в первую смену, изучала расписание и прикидывала, все ли журналы и учителя на местах; а Айсулу Канышевна, громкоголосая говорунья, загнав биолога в угол, в который уже раз рассказывала про своего бывшего ученика-любимчика Сапара Ныгметова:

— Вот и директор, и Жангали, и Самат говорят мне:

«Ты, Айсулу, больше хвастаешься своим Сапаром. А он просто зубрила, ни бельмеса не знает!» Мой ученик, мой воспитанник — да ничего не знает! Мой Сапар — зубрила! «Пойдемте,— говорю,— на экзамен. Мой Сапар вам покажет. Возьмет любой билет и соловьем зальется. Да, да, да! Только рты разинете». Не верят математики. Ну, затащила я их на экзамен и первым вызвала Сапара. Он чуть оробел, берет билет и садится готовиться. «Сапар! — говорю.— Отвечай сразу!»

Жангали у окна хмыкнул. Биолог, воспользовавшись паузой, попытался было выбраться из угла, чтобы выразить свое мнение по поводу эндшпиля, но Айсулу Канышевна схватила его на всякий случай за обшлаг. Эту историю знали в школе все, даже технички и сторож, но гордость учительницы была слишком велика, чтобы не говорить о своем выдающемся ученике снова и снова.

— Э, нет!.. Так мат в два хода,— шумели у доски.

— Боже, не успею...— шептала Варвара Петровна и морщилась, исправляя ошибки в тетрадках.

— Так вот,— громко продолжала Айсулу Канышевна,— мой Сапарчик читает вопрос и начинает говорить. О-о! Это надо было слышать! Он говорит и говорит, чертит, рисует, доказывает, формулами так и сыплет. Смотрю: притихли мои оппоненты. Даже Жангали-ага не ухмыляется. «Сапар,— говорю,— докажи еще одним способом». И Сапар опять начинает. Он говорил целый час...

— Какой там час? — буркнул Жангали.— Минуты три что-то мямлил.

— Мямлил?! — Айсулу Канышевна побелела и, оставив биолога, ринулась к математику: — Три минуты?! Да как вы смеете, Жангали-ага!.. Он, Сапарчик мой, говорил вдохновенно целый час... ну, пусть полчаса. Вон у Самата спросите!

— Мат, говорю я вам! — сказал у доски Самат.

— Господи, ошибок-то, ошибок,— простонала Варвара Петровна.

— Вам просто завидно! У вас никогда не было таких учеников!

— Ну, почему же? Он ведь, милая Айсулу Канышевна, у меня два года проучился, между прочим. Так что...

— А фундамент кто заложил? То-то же! Вы на готовое пришли. Сапар мой еще в восьмом классе знал всю школьную программу. Вот!

Айсулу Канышевна возмущенно отвернулась и направилась к ящику с мелом.

— А почему вы... э-э-э... Айсулу Канышевна, вдруг ученика своего вспомнили? — поинтересовался завуч, на мгновение оторвавшись от планов.

— Как? Вы разве не знаете?

— Что?

— Он диссертацию ведь защитил в Казани и сегодня приедет к отцу. Да!

— Хм-м... Тогда, первым долгом, следует поздравить вас...

Все бросились к Айсулу Канышевне пожать руку, и она вся вспыхнула от гордости и счастья.

Прозвенел звонок, и завуч первым взял журнал, карту и указку и отправился в класс. Вслед за ним с огромной кипой тетрадей вышла Варвара Петровна.

«О аллах, кажется, пронесло,— облегченно вздохнул Ельтай Каримович. Все это время он простоял за печкой с независимым, безразличным видом на лице и незаметно следил за завучем.— Ух, пронесло! Сегодня уж этот хиляк плана не потребует».

— Был звонок,— напомнила дежурная.

Ельтай Каримович вышел из своего укрытия и раза два озабоченно прошелся по учительской. Жангали, щурясь, глянул на него с высоты своего громадного роста и выпустил разом целое облачко сизого дыма.

— Что такой смурной?

— Да голова трещит... Сегодня, Жаке, ничего... это... не предвидится, что ли?

— Как же? Вон списки лежат.

Математик кивнул на стол и, схватив со шкафа деревянный циркуль, вышел.

Приглашали двое: главный агроном на день рождения дочери-десятиклассницы, кандидатки на медаль, и секретарь аулсовета по случаю благополучного разрешения супруги очередным ребенком. В ауле, приглашая учителей, составляли обычно список, и каждый учитель ставил против своей фамилии подпись в знак согласия участвовать в пиршестве. Списки потом передавались школьному бухгалтеру, и тот с очередной получки честно высчитывал — в зависимости от важности отмечаемого события — от пяти до десяти рублей за каждое приглашение. Сбор — то ли как подарок, то ли как единовременное пособие — вручали потом хозяину пира. Так как приглашений

накапливалось довольно много, то в день зарплаты раздавались возмущения, слышались протесты, но таков был аульный обычай, бог весть когда и кем выдуманный, и никто не осмеливался решительно восстать против него, ибо это могло расцениваться как заурядное скупердяйство.

— Агай, время-то идет. А у вас в девятом «Б» урок,— предупредила дежурная.

— Ай... знаю,— отмахнулся Ельтай Каримович.

Он взял первый список, на верхнюю часть его даже не взглянул, там, ясное дело, идет начальство, директор, завучи, главные предметники; он поискал себя ниже, ниже, еще ниже и оскорбился, увидев свою фамилию двадцать шестой. Ниже указывались только завхоз и школьный сторож. Во втором списке он оказался на пять ступенек выше, и это его сразу успокоило. Он расписался — в первом списке нарочито коряво, размашисто, с подчеркнутым возмущением, во втором — аккуратней, с достоинством,— посмотрел, на какое число приглашают, и опять расстроился: сегодняший вечер оказался незанятым. Он сел, закурил, и наблюдавшая за ним дежурная сверкнула на него глазами, демонстративно швырнула на стол журнал и выбежала из учительской. Ельтай Каримович курил и соображал, к кому сегодня податься.

Дежурная вернулась через три минуты.

— Да идите же, наконец, в класс! Ваши там на головах ходят.

— А тебе-то что?

— Я подам на вас рапорт!

— Ой-бой-бой... Тебе замуж надо, а не на интеллигентных людей голос повышать. «Рапорт»!..

Он схватил журнал и медленной перевалочкой пошел по коридору. «Идет!.. Идет!» — донеслось из класса. Балдеж был в самом разгаре. Пыль стояла, как на колхозном току во время страды. Представители прекрасной и сильной половин рода человеческого из девятого «Б», к взаимному удовольствию, устроили в углу за печкой-голландкой потешную баталию. Разгоряченные, растрепанные, все с досадой глянули на учителя и покорно расселись по партам.

— Эй, староста! Ныгметов! Брат твой, что ли, диссертацию защитил?

— Ну-у! — тряхнул головой Ныгметов-младший.

— Э... выходит, у вас большой той?.. Сам-то он когда приедет?

— Уже приехал. Ночью.

— Что ты говоришь?! — Ельтай Каримович встрепенулся.— Слушайте, чилдрен[1]. Неужели вы думаете, что я могу работать в такой пыли, а? Приведите себя в порядок. Я сейчас...

Оставив журнал на столе, Ельтай Каримович вышел и постучал в дверь девятого «А».

— Физкультпривет!

— Салем! — хмуро отозвался Бейсен в спортивном трико.— Что случилось?

— У тебя сегодня сколько уроков?

— В первой смене три.

— Подряд?

— С окном.

— Слышал: Сапар приехал. Ну, этот... ученый-то наш. Ныгметов. Надо бы сходить.

— Когда?

— Давай после пятого урока. Сходим, поздравим. А то повалят потом всем аулом. Не посидишь, не поговоришь. Может, перепадет кое-что. Не с пустым же коржуном, надо полагать, новоиспеченный кандидат приехал.

— Ладно.

А девятый «Б» в это время, столпившись вокруг стола, изучал классный журнал. И опять некстати вспугнул учащихся Ельтай Каримович.

— Эх, и дисциплинка же у вас! Распустил вас, я вижу, классный руководитель. Ладно, давайте-ка поработаем в темпе. Откройте учебник, все, все, все, и примитесь за упражнение.

— Какое?

— Как «какое»? В последний раз какое писали?

— Сто двадцать седьмое.

— Ну, так, значит, приступайте к сто двадцать восьмому.

— А что делать?

— Переписывать текст и подчеркнуть подлежащее одной чертой, сказуемое — двумя.

— Всё подлежащее да сказуемое... Надоело,— проворчал староста.

— Эй, Ныгметов! — наставительно сказал Ельтай Каримович.— Больно ты умный стал. Пойми, дорогой, под-

---

[1] Дети *(англ.)*.

лежащее и сказуемое — не только главные члены предложения, но и главное в жизни. Запомни раз и навсегда! Понял?

Зашелестели тетради, заскрипели перья...

На большой перемене Ельтая Каримовича подозвал к своему столу завуч:

— Покажите... э-э-э... пожалуйста, ваш план...

Ельтай Каримович скривился, поискал глазами дежурную. Неужели выдала, пожаловалась?.. Или этот доходяга, бледный червь методики сам что-то пронюхал?

— Воспитательный? — с надеждой спросил Ельтай Каримович. — Или календарный?

— Поурочный, — очень внятно уточнил завуч.

— Знаете... — Ельтай Каримович затравленно оглянулся по сторонам, как бы ища поддержки. — Знаете, Кареке, я... это самое... без плана сегодня...

— Как?! — Завуч удивленно вскинул бровь.

— Нет... я хотел сказать... не вовсе без плана. План хехе... конечно, есть. Только я его не написал. Конец четверти... повторение... знаете...

— Но... повторение разве не урок? Я, кажется, однажды уже предупреждал вас...

— Да, Кареке, совершенно верно, предупреждали. Но войдите же в положение. Я без малого пятнадцать лет преподаю. Пятнадцать! Вся программа у меня вот в этой башке. Как гвоздь сидит! Ночью разбудите — как на блюдечке преподнесу. Ну, скажите, зачем мне урочный план? За-чем?!..

— Оставьте. Вон Жангали... э-э-э... Арынович почти сорок лет преподает, еще и... э-э-э... вас на свете не было, к тому же... э-э-э... отличник просвещения, а без урочного плана и в класс не войдет.

— Ойбай-ау, Кареке, у него ведь задачки, формулы, чертежи, а у меня что... «гуд моонинг, чилдрен, — гуд бай», и все.

— Тридцать часов в неделю, и всё — «гуд бай»?

— Так все классы ведь по одной программе занимаются.

— Словом, к уроку вы сегодня... э-э-э.... не готовы, и надеюсь... э-э-э...

— Понял, Кареке. Все понял... Если вам, Кареке, так нужны мои планы, что ж...

— Не мне — вам они нужны! — отрезал завуч.

Обиженный Ельтай Каримович отошел к окну, где, попыхивая трубкой, стоял Жангали.

— Вы слышали, Жаке, слышали? — зашептал он. — Как этот зануда, этот хиляк-формалист меня отжучил, а? Поурочный план требует, а?!

Математик насмешливо глянул сверху вниз:

— Хочешь, научу, чтобы у тебя всегда был план?

— Ой, алла, как это? Конечно, хочу.

— Ну, так слушай...— Математик начал колотить трубкой о подоконник, вздымая пепел. — Напиши... Конечно, когда голова не болит...

— Ойпырмай, можно же без намеков, Жаке!

— Напиши, значит, подробный план, а число не ставь. Соображаешь? И ходи себе гусак гусаком, будто баба твоя сыном разродилась. Ни завуч, ни директор в твоих «чилдрен-милдрен» ничего не смыслят. Верно? Начнут проверить план — пожалуйста. Ставь нужное число и сунь им под нос. Они подпишут, еще и похвалят. И арба не поломается, и бык не подохнет.

— Ну, Жаке, вы гений! Как я это раньше не знал?

— Чего не знал? Что я гений?

— Нет. Что вы гений, знаю давно. А скажите... вы тоже так?

— Это тебя, брат, не касается. Тягалась жаба с быком и лопнула. Я дал совет, а ты поступай как хочешь.

— Спасибо, Жаке. Надоумили.

В это время раздался звонок, и Ельтай Каримович, покосившись на завуча, схватил журнал и поспешно вышел из учительской.

IV

Старый Ныгмет помахивал метлой неторопливо, то и дело останавливался, крякал, поглаживал бородку и благодарил всевышнего за все блага, которые тот ему ниспослал. Старик был счастлив: ночью приехал сын, старший из оставшихся в живых, приехал из города братьев-татар, где — как толковал вчера непутевый Бекен — он защитил какой-то ученый труд. От кого защитил и что за труд — старый Ныгмет не знал, да и не интересовался. Сын здоров, бодр, живет в самой Алма-Ате, и с работой, видно, все ладится — что же еще? Сыном старик гордился. Сапара любили в ауле: он приезжал почти каждый год, то один, то

с женой и сынишкой, обходил, как водится, всех почтенных людей, да и к нему с салемом валили все аульчане от шестидесятилетнего старца до шестилетнего мальца. Старый Ныгмет гордо и степенно принимал поздравления, не забывал помянуть создателя, а потом сам резал овцу и приглашал первым долгом стариков, а после — друзей, приятелей, сверстников сына. Вот и сегодня, поговорив за утренним чаем с сыном, расспросив о здоровье внука и снохи, он отправился во двор, чтобы немного прибраться к приходу поздравителей.

Первыми пришли учителя Ельтай и Бейсен.

— Ассалаумагалейку-у-ум! — еще издали в один голос затянули они. — С радостью вас, аксакал!

— Э, проходите, детки мои... Дома Сапаржан, дома...

Поздравив и старуху Балшекер с приездом сына, гости разулись, разделись в прихожей и прошли в просторную гостевую.

Сапар читал на диване. Стол в середине был завален журналами, толстенными тетрадями, изящными записными книжками, наборами карандашей и ручек; на комоде, этажерке стопками лежали разноцветные пачки сигарет с нерусскими названиями; на спинке стула висели костюм, галстук, свитер, будто связанный из веревок; у кровати стояли чемодан и пузатый, в блестящих медных бляшках саквояж. Гостевая уже успела пропитаться табачным духом.

Сапар вскочил, бросился к приятелям, обнял их. Посыпались возгласы, шутки, остроты.

Сапар окончил школу как раз в том году, когда приехал в аул Ельтай Хакимов. Решив год поработать, Сапар устроился лаборантом в школе, где недавний выпускник и молодой учитель быстро сблизились, подружились и, несмотря на заметную разницу в возрасте, перешли на «ты». Потом пути-дороги их разошлись, дружба, естественно, поблекла, но приятельские отношения сохранились.

— А ну-ка, рассказывай, гулам-ученый.

Живо, с легкой усмешкой поведал Сапар столичные новости, институтские дела, рассказал о защите диссертации.

— Словом, у меня все прекрасно. А вы-то как тут поживаете? — Сапар щелчком выстрелил из блестящей обертки длинную белохвостую сигарету.

— Да так... потихоньку,— улыбнулся Бейсен.

Ельтай поморщился.

— Ой, Сапар-ау, мы разве живем? Прозябаем! Сам знаешь, какой удел у сельской интеллигенции. Одни заботы. Сено доставай. Дрова доставай. Детей корми. Бабу одевай. Согум добывай. Вот оно, наше житье... А зимой и вовсе как волки. Утром встал, скотину накормил, в школу пошел. Уроки отбарабанил, домой пришел, опять скотину накормил,— спать завалился. Ну, иногда, бывает, бесбармачим, преферансом балуемся.

— Это уж регулярно, — усмехнулся Бейсен.

— Сгущаешь краски небось, — заметил Сапар. — А сколько у тебя детей, Ельтай?

— Пятый, думаю, в проекте.

— Ого! Эдак скоро отцом-героем станешь.

— На зависть иным городским.

— Ну, само собой. У нас ведь не тот бесбармак!

— А что делать? — развел руками Ельтай. — Сам посуди: театров нет, кафе-ресторанов нет. В клубе от холода и скуки околеешь.

— Кто мешает? Натопи и веселись.

— Ойбой! Тебе говорить легко... А у нас некому культурой заниматься. Некому и некогда. Совхозное начальство? Оно в своих планах и обязательствах по уши погрязло.

— Ну, нагнал тучи черные. Слыхал я этот а-ляу-ляй... Веселья, думаю, и в школе хватает.

— Сказал! Пай-пай-пай... Там одни формалисты. Раньше, еще при тебе, помнишь?.. хоть один завуч нервы трепал, а нынче их развелось целая стая. И каждый тормошит тебя. План подавай, кружком руководи, лекции читай, политзанятия посещай, а там еще этика-метика-эстетика, семинары, совещания... Ой-бой-бой!..

— Вижу, не в духе ты, Ельтай... Мы там об ауле вздыхаем, сны видим, песни поем, а ты...

— Хм-м... песни петь — хорошо. А сам, небось, из аула — фьють! В академию подался... Тебе из-под коровы не убирать, глину не месить, не торчать всю жизнь с утра до вечера в опостылевшей школе... Здесь тоже запоешь, да по-другому.

— Ну, заладил. Ипохондрик ты!.. Апа! — крикнул Сапар матери. — Принеси нам что-нибудь.

— Сейчас, айналайн, — тут же отозвалась Балшекер. — Я чай готовлю.

— Не надо чаю, апа. Нам закуску какую-нибудь...— Сапар порылся в чемодане, достал бутылку рома со множеством наклеек. — Сейчас, Ельтай, попробую развеять твою хмурь.

— Похвальное намерение! — Ельтай оценивающе ощупал взглядом пузатую бутыль. — Ты прав, Сапар. В тоске я пребываю. Душу раскрыть, понимаешь, некому. Вот ты меня знаешь. Я ведь не то что наш хиляк-завуч, зануда грешный. Если я возьмусь за дело, о-го-го! Все переверну.

— Ну, так я помню. Было время — ты всю школу всколыхнул. Жаль: недолго это продолжалось.

— Вот, вот! Потому что понял я: ни к чему! Кто тебя поймет? Кто оценит? Из кожи лезь — сам же дураком останешься. Ай, что там...

Балшекер принесла большую тарелку с холодной бараниной и шужуком, тускло отливавшим янтарным жиром, и миску пышных, с нежным румянцем баурсаков. Сапар откупорил бутылку и разлил светло-коричневую жидкость по стаканам осторожно, по стенке, и стало сразу так тихо-тихо, что слышалось звонкое, чистое: бульк... бульк... бульк...

Выпили, прислушались, почмокали. Сапар закурил, повернулся к Бейсену:

— А ты все такой же? Молчишь и молчишь. У тебя-то как?

— Хорошо...

Бейсен воспитывался в интернате и еще в школе слыл тихоней и молчуном. Десятилетку он окончил двумя годами позже Сапара и удивил сверстников тем, что, будучи хилым, болезненным, робким, поступил вдруг в институт физкультуры. В аул он вернулся через пять лет, окрепшим, стройным, подтянутым, но по-прежнему молчаливым и тихим. Он был первым квалифицированным преподавателем физкультуры в аульной школе. До него физкультуру преподавали все, кому не хватало часов, и Жангали, бывало, шутил: «В этом ауле, кроме меня, все физкультурники».

— Знаешь, — оживился Бейсен. — Ребята увлеклись спортом. Прямо поражаюсь. Пять перворазрядников. По волейболу второй год первое место в районе. Есть бегуны, прыгуны. Даже гимнастки, представляешь! Вот только зала нет.

— Смотри-ка! А школу достроят — и зал у тебя будет.

— Тогда заживем... А я... — Бейсен опять смутился. — Я рад за тебя... очень.

— Спасибо. Значит, и разрядники есть?

— Вместе с шахматистами тридцать восемь человек.

— Ай да молчун! Видел, Ельтай?

— Да молодой он, просто еще скачет, как разгоряченный стригунок в байге.

Заговорили о трудностях учительской профессии, особенно в селе, в аулах, о том, как сильно учитель должен любить свое дело, быть мужественным, стойким, бескорыстным, терпеливым и честным, иначе засосет, непременно засосет бытовая муть. Сапар раскраснелся, высмеивал неопатию — яркие лохмотья обывателя, методоманию, неуемное экспериментаторство в современной педагогике, повальное увлечение формой при отсутствии глубинной, первоначальной сути. Сапар еще до института работал в школе, три года учительствовал и до аспирантуры, и школьная тема ему была близка и дорога. Бейсен жадно слушал, поддакивал, восклицал: «Ай, верно! Правильно! Точно!» — и все норовил приводить примеры из своей практики. Ельтай в одиночку посмаковал ром, дожевал последний баурсак.

— Все, что ты изрек сейчас, Сапар, в принципе правильно. И про мужество, и про терпение, и про это — как это? — бескорыстие — все верно. Только ты это другим рассказывай... Мы-то знаем всю эту... хурду-мурду.

Сапар на мгновение растерялся.

— Вздор! — сказал он жестко. — Если есть цель и желание, всегда можно себя проявить. Примеры рядом: вон Жаке, Жангали Арынович. Да мы все ему обязаны, все! А Варвара Петровна? Почему-то ее порывы аульный быт не тушит. Да бери хотя бы вот Бейсена...

— Ай, хватит, не агитируй...— Ельтай принялся листать журнал.

Сапар скользнул по приятелю взглядом и усмехнулся:

— Знаешь, кого я сейчас вспомнил? Старика Хасена, кузнеца. Он всегда говорил: «Хуже нет, когда потеряешь ось». Это было его присловьем. «Из него толка не выйдет: он без оси». Или: «Наш бригадир потерял ось». Пом-

нишь?.. А прав был покойный. Видно, у каждого должна быть своя ось. Так вот, мне чудится, что ты, Ельтай, потерял ее. А может, сломалась она у тебя. А потому тебе все опостылело. Живешь — будто на отмели барахтаешься. И даже не барахтаешься, а просто лежишь.

— Оу, оу! А не кажется ли тебе, что оскорбляешь? Разве гостя, да еще старшего по годам, так встречают?

— Извини, конечно... Я так, по-дружески...

— Ничего себе «по-дружески»! Лишку-то на себя не бери. Ты, конечно, высоко поднялся, но это не значит, что все остальные на отмели.

— Ну, прости. Просто к слову пришлось...

— Ладно, замнем. Достаточно, что наш завуч-зануда из меня, как из кошмы, пыль выколачивает.

Беседа погасла, и Бейсен, поерзав, вспомнил про какие-то спешные дела, и тогда гости встали, поблагодарили за угощение и ушли.

V

Дома Ельтай, сын Карима, облачился в просторный вельветовый домашний костюм, сшитый аульной портнихой, и плюхнулся было на диван, чтобы вздремнуть, но тут черным призраком выросла на пороге теща и напомнила, что у нее болит поясница, а скотина еще не поена. Проклиная судьбу, тещину поясницу, а заодно и интернат, в котором день-деньской пропадала жена, он встал, напялил полушубок, ноги сунул в валенки и, прихватив ведро, отправился в сарай.

Сначала он выпустил овец — они тотчас рысцой зацокали к колодцу,— потом Зойку с бычком-забиякой, а кобылу-любимицу повел на поводу. Ею, статной, ухоженной, тугобрюхой, Ельтай гордился больше всего. Когда одно время уж больно строго начали сокращать личное поголовье и многим аульчанам пришлось поневоле расстаться с кобылицами, Ельтай Каримович проявил бурную деятельность, строчил десятки заявлений в район, в область, редакции и министерства, писал, что у него большая семья, что любимая жена страдает туберкулезом, что без кумыса могут заболеть и дети, и он, что теща стара и больна и к тому же двое ее сыновей погибли смертью храбрых на войне

за родину. На время он отвел кобылу к родственникам на отгонном участке, и в конце концов, после долгих мытарств и упорства, достойных истинного джигита, он все-таки отстоял родную животину, уговорил председателя аулсовета записать ее на тещу, будто живет она отдельной семьей, и торжественно пригнал пегую назад. К тому времени в ауле начали забывать вкус настоящего кумыса, все более довольствуясь дальним его родичем на совхозной молочарне, который весьма напоминал заурядный прокисший айран, разбавленный водицей, и Ельтай, развалившись на диване в учительской, не подавлял благородную отрыжку, а обстоятельно рассказывал, что теща его делает не кумыс, а райский напиток, зажигающий огонь в жилах. Прогуливаться по аулу с кобылой на поводу было для Ельтая высшим удовольствием.

Тропинка к колодцу вела мимо школы. Ельтай Каримович знал, что в учительской сейчас кто-нибудь стоит у окна и смотрит на него, на его тучных, одна к одной, овец, на корову, на бычка, на кобылу и тот, кто смотрит, непременно подумает: «Живет Ельтай! Не тужит Ельтай! Мясо ест и кумыс пьет Ельтай! И часов у него хоть отбавляй. Ох, и жук Ельтай!» Э, да пусть от зависти у всех нутро сгорит! От этой мысли стало Ельтаю хорошо-хорошо, и он громко прикрикнул на отбившегося в сторону козла:

— Чек! Чек, эй! Че-ек!..

Козел мотнул головой и послушно пошел по тропинке.

Над колодцем курился пар. Овцы плотно обступили обледеневшую колоду; Зойка степенно встала позади, дожидаясь своей очереди; вокруг игриво взбрыкивал бычок. Первое ведро воды Ельтай поднес кобыле, и она, пофыркивая и вздрагивая ноздрями, отпила половину, потом вскинула морду, пожевала мокрыми губами. Ельтай с нежностью глядел на нее, и пегая, отдохнув, снизошла до мольбы хозяина, втянула еще глоток-другой и отошла, чтоб всласть поваляться на чистом снегу. Овцы быстро напились из колоды и, поеживаясь, потрусили домой. Корова пила долго, почти не отрываясь, и когда Ельтай наливал ей второе ведро, со стороны школы прибежала школьная техничка.

— Ельтай Каримович, завуч зовет.

— Соскучился, что ли?

— Не знаю. Пусть, говорит, обязательно зайдет.

— Ладно.

Что еще ему понадобилось? Стенная газета? Новогодний вечер? План работы на время каникул? У-у-у!..

Подпрыгивая, побежал назад бычок. С достоинством, клацая копытами, побрела корова.

Привязав кобылу у крыльца (любуйтесь, завидуйте!), Ельтай прямо в полушубке, в валенках, лисьем малахае ввалился в учительскую. Завуч, по обыкновению, склонился над своими бумагами, всецело погрузившись в дебри педагогики. Жангали, посасывая трубку, чертил что-то на ватмане, должно быть, изобретал каверзные задачки к олимпиаде. Увидев Ельтая, сощурился, пробасил:

— Что же кобылу сюда не завел?

— Боялся, что испугается вас и скинет, — огрызнулся Ельтай и направился к завучу: — Звали меня?

Завуч выпрямился, оглядел с ног до головы Ельтая.

— Вот что... — заговорил он наконец. — Вам надлежит на зимние каникулы... э-э-э.... выехать в город на... э-э-э... курсы усовершенствования. На этот раз... э-э-э... обязательно.

Ельтай Каримович вытер малахаем вспотевший лоб.

— Вы что? Некого больше посылать? Я что, единственный неусовершенствованный?! У меня диплом! У меня высшее образование! Я пятнадцать лет преподаю!

— Усовершенствование никому не повредит. И вы... э-э-э... не исключение. Предупреждаю: приказ районо!

— Не поеду!.. У меня...

— У вас диплом, у вас высшее образование, у вас...

— Да, да! И еще у меня, между прочим, семья, дети... я... я...

— Знаем! — Завуч сжал губы. — Через два дня сдайте мне четвертной отчет.

Ельтай Каримович повернулся и рванулся к двери, размахивая лисьим малахаем. Жангали вслед ему громко хмыкнул.

Кобыла с укоризной выставила на хозяина фиолетовый глаз и пошла за ним. Тут подвернулся ученик, и Ельтай Каримович передал ему повод, приказав отвести кобылу в сарай, накрыть попоной, подкинуть сенца, а сам напра-

вился в интернат. Алтын репетировала в пионерской комнате. Приоткрыв дверь, он поманил ее пальцем, но жена вышла не сразу, а когда вышла, обожгла взглядом.

— Когда домой-то заявишься? Или ты уже сюда переселилась?

— Поздно.

— Почему?!

— Видишь: репетирую. Праздник на носу, а ничего не получается.

— А тебе что, больше других надо? Тут несчастье, а она забавляется, репе... рети... репетирует!

— Какое несчастье?

— На усовершенствование посылают. Вот какое! На пятнадцать дней!

— Давно пора!

Она круто повернулась на каблучках, закрыла перед его носом дверь. Он опешил на миг, задохнулся от возмущения и, весь красный, ворвался в пионерскую. Ребята с недоумением уставились на него.

— Ельтай Каримович, — убийственно вежливо и спокойно проговорила Алтын,— не мешайте, пожалуйста, нам работать и закройте за собой дверь.

Он и вовсе обомлел, оторопел, но, к счастью, вдруг успел подумать, что, пожалуй, смешно, нелепо вот так, как истукан, в просторных вельветовых штанах, в полушубке и малахае, стоять перед учениками, перед женой, которая может еще и не так отбрить, осрамить, и потому самое лучшее — пересилить себя и, пока не поздно, ретироваться. «Ну, баба, подожди! Я тебе устрою ррреперицию! Посмотрим, кто еще закроет дверь!» — думал он, спеша домой.

Угасал короткий зимний день. Тусклые лучи точно пеленой подернутого солнца скользили по верхушкам деревьев. Из-за колка вынырнула стайка лыжников. Бейсен увидел его, издали помахал лыжной палкой.

Дома Ельтай сбросил полушубок, разогнал резвившихся в прихожей детей, швырнул в угол валенки, перепугав кота, и отправился на диван.

«Что за черный день сегодня? Что за жизнь? Почему все меня травят? В школе этот зануда преследует, Жангали вечно зубы скалит, и тот ученый, кандидат, подумаешь, про ось долдонит, а тут еще и собственная баба рожу во-

ротит! Ей-то что надо? Верно говорят: когда враг хватает за ворот, собака цапает за подол...»

Он ворочался, ворочался на диване, вспоминая все обиды, все несправедливости, обрушившиеся на него, и незаметно забылся в дреме.

И приснилось ему, будто лежит он в вельветовом просторном костюме на отмели, и так ему хорошо, тепло и уютно, а на берегу бегают, суетятся какие-то людишки, и среди них, восседая за письменным столом, завуч протягивает ему поломанную тележную ось и грозно требует поурочный план...

1970

КАРОЛИНА

О жизни человеческой всегда надо говорить, что она проста, и никогда нельзя сказать, что проста человеческая жизнь.

Б. Пильняк, «Грего-Тримунтан»

I

Точно с неба обрушилось и покатилось отчаянное, протяжное:

— У-у-о-о-о-а-а-а-а...

И все опрокинулось во мрак.

В разгоряченном ее сознании смутно слышались еще беспорядочная пальба, свист пуль, хриплый вопль, ржание коней и стремительно удаляющийся цокот копыт. В расширенных от боли зрачках медленно таял отблеск предзакатного солнца, подернутого пылью заволжской степи. И на миг она уловила, обостренно почувствовала прогорклый запах прокаленной зноем земли и пыльцы забуревающей пшеницы.

Еще мгновение назад ей удалось поднять залегшую было в растерянности цепь, в непостижимом порыве увлечь за собой горстку изнуренных бойцов против наскочившего на них отряда конных казаков. Что-то вдруг подсказало ей, что если они сейчас дрогнут и ударятся в панику, казаки играючи порубят их всех здесь, на краю пшеничного поля, и тем самым откроют путь белочехам на Николаевск.

Мертвенно-серым стлалось небо. Серые сумерки невесомо плыли по оглохшей от нежданной тишины степи. Сухо шелестели, топорщили ржавеющие усики колосья. Вдалеке, точно за горизонтом, глухо тявкали одиночные выстрелы. Душная июльская ночь томяще опускалась на землю.

Ничего этого она сейчас не видела, не чувствовала.

Боль пронзила ее, ожгла, точно молнией, и сознание померкло...

...Короткая депеша дрожала в руках хмурого командира:

«Николаевскому укому РКП(б). Доношу с прискорбием, что член партии Каролина Андреевна Риттер убита в бою у деревни Бартеневка. Комполка Три Артемий Михалев».

II

— Доннерветтер!..

Готлиб рванул ворот и схватился за голову.

В тесном полуподвальном помещении на Дворянской улице клубился едкий махорочный дым. Бацали сапожищи. Скрипели ремни. Пахло ружейным маслом, порохом, пóтом.

Здесь расположилась Николаевская уездная организация РКП(б). Здесь натужно гудел прокуренный бас бывшего донецкого шахтера, а ныне председателя уездного Комитета Народной Власти Совета крестьянских, рабочих и солдатских депутатов Вениамина Иосифовича Ермощенко.

— То-ва-а-рищ!..

— Что такое? Что там бормочешь?

Готлиб пятерней поскреб шишковатый череп.

— Не знаю теперь, как и быть...

Прошлым летом солдат строительного батальона Готлиб Риттер вернулся с турецкого фронта в город Покровск. Два года убил он в Сарыкамыше, с отвращением, хотя и прилежно, как положено законопослушному немцу, тянул солдатскую лямку, строил дороги в неуютной каменистой стране, жил в затхлых землянках, вырубленных в горах.

С детства он знал, что в его родном Яммертале прочно поселились горе и нищета. Впрочем, когда-то их поселение, словно в насмешку, называлось Шёнталем — Красивым Долом. И бабушка — Готлиб это помнил — сердилась, если кто-то в ее присутствии уничижительно называл себя яммертальцем. «Это богатые бездельники из соседних деревень так нас прозвали, — говаривала она досадливо.— Разве мы виноваты, что бедны, что горе облюбовало наш Шёнталь?» Кто знает, может, когда-то, давным-давно, когда предки-переселенцы обосновались здесь, дол был действительно красивым, а, возможно, просто надеялись, что станет он таким в будущем. Но на памяти Готлиба родная

деревня всегда была захудалой, заброшенной, и из нее только уезжали все, кто мог, ее даже христарадники обходили за версту, так как разжиться здесь было нечем, разве что крынкой топленого молока, и происходили тут вечные несчастья; то пожары, то нелепые смерти, и со временем все смирились с тем, что деревня эта, богом покинутая,— поистине Яммерталь — долина скорби и печали.

После смерти бабушки, единственной опоры на земле, сестра Каролина забрала Готлиба к себе в Покровск и устроила на прядильную фабрику Беринга. Каролина была всего на несколько лет старше брата, однако в представлении Готлиба она была всегда особенной, не такой, как другие девушки или молодки в деревнях. Едва исполнилось ей четырнадцать лет, как уехала она искать свою долю в город, работала служанкой, посудомойкой, кухаркой в богатых домах, потом устроилась где-то вязальщицей и, навещая изредка деревню, рассказывала диковинные вещи о жизни богачей, городских чудесах, о цирке и театрах, о пароходах. Рассказы ее тревожили Готлиба, звали куда-то, хотелось увидеть, испытать другую жизнь. Город, фабрика, люди поразили поначалу наивного деревенского юношу, все ему было внове, но очень скоро он увидел, что худо живется не только бауэрам из немецких колоний, но и разноязыкому рабочему люду. С сестрой он почти не виделся, хотя и обитали под одной крышей. Он замечал, что в семье ее нет ни лада, ни склада, и понимал, что Каролина пропадает день-деньской не только в вязально-чулочной мастерской. Чувствовал смутно: у сестры есть своя тайная жизнь, не доступная ни ему, Готлибу, ни ее богом данному зачуханному Микаэлю. Знал он также, что сестра давно уже не в ладах с полицией. С бумажно-прядильной фабрики ее уволили за то, что она требовала работницам повышения зарплаты и участвовала в какой-то манифестации. Однажды она и вовсе исчезла на две недели, уезжала якобы к неведомой родственнице в Саратов, откуда вернулась почерневшей, с нервным тиком и перевязанной рукой. Невзначай призналась Готлибу, что ранена осколком ручной бомбы. Что это за бомба такая и почему ее осколок угодил именно в Каролину, понять он не мог. Вслед за этим Каролина отсидела несколько дней в тюрьме за то, что ее дети некрещеные. Микаэль хватался за голову, проклинал вселенную: «Швайнерай!»[1] — строил бредовые планы о тихом уголочке для своей неугомонной фрау.

[1] Свинство! *(нем.)*

Каролина отрывисто посмеивалась, кривила тонкие губы, подмигивала брату: «Ничего, Гоша! Как думаешь, отречемся от старого мира, а?!»

Готлибу нравилась веселая дерзость, загадочная убежденность сестры. Иногда, возвращаясь поздно ночью домой, она неслышно пробиралась в закуток Готлиба и прятала в подпол увесистый сверток. Как-то, перехватив недоуменный взгляд брата, она заговорщически улыбнулась ему и приложила палец к губам, косясь при этом в сторону, где за перегородкой храпел Микаэль. Готлиб молчал, но странное поведение сестры вызывало в нем глухую тревогу...

В Сарыкамыше, в землянках и бараках, он вдосталь наслышался за два года горьких бывальщин бравых солдатушек, согнанных едва ли не со всех окраин Расеи. Были эти рассказы все о том же — о голоде, об убийствах, о дикости, пьяном разгуле и несправедливости. И вынес робкий потомок немецких переселенцев тягостное впечатление, что Русслянд — непомерно, до нескладности, огромная, бескрайняя, неуправляемая страна, и чудилась она ему гигантским Яммерталем — долиной скорби, стенаний, печали. С малолетства его приучили петь: «Боже царя храни! Сильный, державный, царствуй на славу нам!» На всевышнего Готлиб, однако, давно не уповал, он умер для него вместе с богобоязненной бабушкой, а вот что бородатый русский кайзер вовсе не сильный и не державный, он окончательно понял только на чужбине, в Сарыкамыше. А уж о славе и говорить было нечего. Какая там слава? Полицейские крытые фуры, городовые, голодные бунты, стачки, черные сотни, казачьи сабли, Порт-Артур — это, что ли, царева слава?! Там, в Турции, промозглой зимой расстреляли в ущелье за строптивость пятерых солдат и среди них недавнего знакомого Готлиба — волынского немца-колониста. С тех пор как узнал тот, что, пока он служил на царя и отечество, его сородичей выселили из Волынской области не то за Урал, не то в Туркестан, бедолага покоя не находил. Все твердил про то, что Николашка обманул русских немцев, и пугал подобными крамольными речами единокровных служак-братушек. Готлиб тоже побаивался его, однако тянулся к нему, улавливая в его горьких словах затаенную боль, обиду и правду.

Глухой ропот пронесся тогда по всем баракам, а вскоре старший полковой писарь, вскочив на стол, сорвал со стены

штаба двухаршинный портрет самодержца и с остервенением начал топтать его на виду опешивших служивых. И тут прокатился слух: царь отрекся от престола, в России — революция. Свобода! Сво-бо-да!..

Никаких особых перемен в знакомом Покровске Готлиб Риттер, однако, не заметил. В чем выражалась желанная свобода, о которой шумели всюду, он тоже не понял. По заволжским степям шли-текли беженцы с западных губерний. В старом казачьем городке бастовали железнодорожники, грузчики. Фабрике Беринга грозил развал. Каролины в городе не оказалось. Возвращаться в Ямmерталь решительно не было смысла: там ни родных, ни близких, а бабушкина избушка под соломенной крышей наверняка развалилась за эти годы.

В Саратове на Митрофаньевском рынке бесчинствовали молодчики из «Союза русского народа». На заводе Гантке митинговали рабочие. Ветер шуршал обрывками воззваний и афиш. В саду при театре купца Очкина гремел-надрывался духовой оркестр. С наигранной беспечностью прогуливались дамы в шляпках с искусственными бутоньерками на грудьях, в длинных черных юбках, перехваченных туго в талии широким поясом, в пышных кофточках с длинными рукавами. В зверинце возле аттракциона «Говорящее зеркальце» слонялись сбежавшие с занятий гимназисты. Доктор Ужинский печатал в газетах объявления, призывая больных с мочеполовыми расстройствами лечиться с помощью синего света, вибрационного массажа и душа Шарко большого давления.

Здесь Готлиб встретил зятя. Жил Микаэль точно ракотшельник, забился в углу. Всего и всех боялся. Побледнел, увидев шурина. Потирая руки и ежеминутно затравленно озираясь, сбивчиво поведал про свое невеселое житье-бытье.

— Фуй, фуй... что у тебя за сестра?! Будь проклят... Ферфлюхт тот день, когда я ее встретил! Ну, скажи: что еще ей надо было, а? Купил ей вязальную машину. Научилась вязать по шестнадцать пар чулок в день. Представляешь? Шестнадцать пар! Я работаю, как вол. Значит, худо-бедно, а жить можно. Нихьт ваар? А она... с какими-то нищебродами, смутьянами спуталась. По разным сборищам шатается. Перед пленными австрийцами выступает. Среди рабочих воду мутит. Прячет дома оружие. Как с цепи сорвалась. Стыд и срам: два месяца опять в тюрьме торчала. Думал — успокоится. Какой там! Долбил ей, дол-

бил: уймись, опомнись, у тебя трое детей, муж. Уедем, говорю ей, уедем. Купим в деревне домик. Сейчас дома в деревнях ничего не стоят... с садиком, с прудом, понимаешь, хрюшку заведем, гусей, уток... Может, даже пасеку. Нет, ничего слушать не хочет. Фуй, фуй...

Не дослушал Готлиб жалобы зятя. Понял: жизнь у них давно уже пошла врозь. Страсти, яростно разгулявшиеся по всей стране, захлестнули и подхватили неуемную Каролину. И тщетно оглядчивый Микаэль старался оберечь свое хрупкое гнездышко. Год назад ушла Каролина из опостылевшего дома, ушла от нудных назиданий и жалоб Микаэля. Ушла с двумя малышами-близнецами.

Готлиб усмехнулся: зять все еще болтал, размахивая руками, и чаще, чем прежде, точно заклинание, срывалось с его сизых губ привычное словцо «швайнерай». Да, да, все, что творилось вокруг, — швайнерай. Вся эта политика, черт бы ее побрал,— выдумка бездельников. Швайнерай! То, что жена отбилась от рук, тоже швайнерай.

— Где она? — холодно спросил Готлиб.

— Слышал, будто теперь в Николаевске ошивается...

В маленьком пыльном Николаевске бурлили всероссийские страсти. Порядок кое-как поддерживал полковой комитет 138-го запасного полка. Готлиб нашел сестру усталой, исхудавшей, с темными тенями под глазами, но крайне возбужденной, взбудораженной.

— Что делать будешь, Гоша? — спросила, едва утерев радостные слезы.

Готлиб растерянно пожал плечами.

— Кстати приехал. Очень ты нам будешь нужен. Я тебя познакомлю с людьми, которые мигом тебе все растолкуют.

— Кому это «нам»? Ты-то сама кто?

— Я?! — Каролина горделиво вскинула брови. — Работник Николаевского Комиссариата внутренних дел!

— О-о! С бомбами, выходит, дело не имеешь?

Она скользнула по нему быстрым взглядом и как-то враз потемнела лицом.

— Нет! С этим покончено. Из эсеровского «летучего отряда» давно ушла. Когда-нибудь, будет время, все расскажу.

Через день она привела его на Дворянскую улицу.

— Рад, товарищ Риттер, что пришел к нам, — сурово пробасил Ермощенко. — Каролина Андреевна за тебя ручается. И нам как раз нужны люди, умеющие работать среди трудящихся колонистов. Разные крикуны совершенно сбили народ с толку. Живет он в нищете и страхе. Надо ему раскрыть глаза, честно объяснить, что хотят большевики. Понятно? Отправляйся в Балаковский полк в распоряжение товарища Вебера. Там получишь конкретное задание.

Выехал Готлиб в Балаково в тот же день и вновь встретил сестру случайно уже в декабре 1917 года на открытии 3-го крестьянского съезда в Николаевске. Потом он узнал, что Каролины нет в городе, что выехала она куда-то по секретному заданию укома, а дети оставлены на попечение квартирной хозяйки. И вот депеша: «...убита в бою у деревни...»

— Как быть с детьми — ума не приложу...

— А отец? — спросил Ермощенко.

— Что отец? — Готлиб скривился.— Да разошлись же они. Что толку от такого отца?!

Ермощенко задумался.

— Вот что, — пробасил решительно. — Дом Чемодурова знаешь? Ну, где старая мельница над взвозом? Там по распоряжению Василия Ивановича открыт детдом для сирот красных бойцов. Отвези детей туда — будут под присмотром. И сегодня же выезжай в Ивантеевку. Затевается серьезная заваруха.

Готлиб вздохнул, встал.

III

Мучительно долго выбиралась она из мрака. Первое, что ее поразило, — тишина, неземная, выморочная. В заоблачной выси звенел, трепетал тонюсенький голосок, который, как бы изнемогая, обессиливая, надолго замирал, и казалось, вот-вот оборвется, и, напряженно вслушиваясь в него, она тоже замирала, немела в страхе, сознавая, что вместе с этим трепетным, зыбким звуком вновь оборвется что-то и в ее груди, и тогда опять тошнота подкатит к горлу, мрак захлестнет ее, и поплывет она стремительно в небытие, точно на невесомых тучах, проплывающих над ее головой.

Она напрягла сознание и тотчас с еще неосознанной радостью ощутила, как ветер ерошил прядь ее волос на лбу и как низко, доверчиво наклонились к ней чахлые стебельки пшеницы.

Густой, прелый воздух струился откуда-то. Должно быть, поблизости находился овраг. Лунный свет протекал сквозь редкие разрывы скученных облаков. На мгновение показывалась, отрешенно мерцая, одинокая звезда. Вокруг простиралось развороченное, с примятой пшеницей поле.

Она приподнялась, осторожно потерла онемевшую руку и сразу почувствовала боль. Неподалеку в черной луже бугрилась лошадь. Передние ноги были прижаты, задние — напряженно вытянуты, шея неестественно заломлена в сторону, зубы оскалены. Огромный выпученный глаз сурово и мучительно впился в небо.

Смертная мгла витала над степью.

Каролина поспешно отвернулась и зажмурилась.

IV

С самой весны, с того дня, как в Уральске был совершен контрреволюционный переворот, а Чехословацкий мятежный корпус захватил Самару, Челябинск, Омск, Уфу, Сызрань, продолжались лихие набеги белоказаков на Николаевский уезд. Но пробиться долго не могли. Николаевск, точно островок среди бушующей бесшабашной вольницы, держался стойко.

В степном уездном городишке события в последнее время разворачивались стремительно. Уже в октябре 1917 года в Николаевской организации РСДРП(б), руководимой большевиком Ермощенко, насчитывалось более ста пятидесяти членов. Имя Чапаева, недавнего плотника, вернувшегося с войны с двумя Георгиевскими крестами, с каждым днем обретало в этих краях все большую популярность. Не случайно ему было поручено открыть 3-й крестьянский съезд в Николаевске, который провозгласил в уезде Советскую власть и решил безвозмездно отобрать землю у помещиков, создать трудовую социалистическую коммуну и одобрить решение Советского правительства о прекращении войны. Именно на него, Чапаева, было возложено задание разогнать земское собрание. Из добровольцев-земляков одного или нескольких соседних селений — русских и немецких — спешно создавались красные полки. Уездный центр защищало шесть красных полков: первый,

второй, третий, четвертый Николаевские, Балашовский и Балаковский.

С весны положение резко ухудшилось. В соседних губерниях и уездах один за другим, точно пал в степи, вспыхивали контрреволюционные мятежи. Группа агитаторов, в которой находилась и Каролина Риттер, не однажды лишь чудом уходила от расправы бандитских отрядов, свирепствовавших в волжских деревнях. Стало ясно, что белые части со всех сторон надвигаются на красный Николаевск.

Через несколько дней после того, как Каролина со смертельным риском — в февральскую метель, плохо одетая, голодная, ночью по заснеженной степи, днем по камышиным зарослям промерзших озер и оврагами — вырвалась из Балакова, где мятежниками был убит военком Григорий Чапаев, ее вызвали в уездный комитет.

— Хотим тебе, Каролина Андреевна, поручить новое задание, — сообщил ей Ермощенко без обиняков. — Отправить тебя разведчицей по тракту Николаевск — Самара. Дело, сама понимаешь, рискованное. Но позарез надобно связь налаживать. Разузнать, какие части и с каким вооружением двигаются к Николаевску. И передать сведения через связных.

— Понятно, — тихо ответила Каролина.

— Понятно-то оно понятно. Только как это сделать? — Ермощенко пристально посмотрел на бледную, худощавую женщину.

«Поразительно! — подумал он уже в который раз про себя. — Трудно поверить, что ей почти тридцать и что она мать троих детей». С затаенной грустью смотрел сейчас товарищ председатель на ее прекрасное, вдохновенное лицо с правильными чертами. Голова чуть-чуть склонена влево. Такое ощущение, будто она постоянно к чему-то прислушивается. А на лице — явная печать усталости. И под глазами легла тень. Больше всего поражали глаза с большими влажными зрачками. Глаза выдавали характер: стойкий, упрямый, решительный.

Ермощенко вздохнул, отвернулся.

— Как быть? Ведь тебя в этих деревнях многие знают.

— Ничего... Что-нибудь придумаю: не узнают.

— Как?

— Наряжусь беженкой и пойду с котомкой по деревням. Много же их сейчас, беженок с западных губерний. Никто не догадается..

— А задержат? На допрос поведут?

— Тапро-оз? — еще сильнее почеркивая свой немецкий акцент, переспросила Каролина. Она встала, изобразила наивно-глупое выражение лица, опустила глаза, скрестила руки на животе, покорно-виновато ссутулилась. — Я бедни женшин... арме фрау, косподин оффицир... я пешенка... ишшу звой муш... А могу и так. — Каролина резко выпрямилась, вызывающе откинула голову, развела руками: — Не вем, цо пан мувит.

У Ермощенко раздвинулась щетка усов.

— Мать честная! Ловко! На всякий случай дадим тебе еще паспорт с царским гербом на имя уроженки города Лодзи. А?!

V

Бледная, изможденная женщина брела из деревни в деревню, разбросанные вдоль большого тракта. Уже несколько дней шла она со стороны Николаевска, зорко оглядывалась вокруг, вступала в разговор с путниками и прохожими, рассказывала на ломаном русском языке, мешая немецкие и польские слова, о своем несчастье, о том, что ищет мужа, бывшего солдата 138-го полка, и осторожно, как бы между прочим, выведывала, в каких местах скопились белые и много ли у них оружия, расспрашивала дорогу на станцию Ершово, на Самару. Была женщина в рваном, явно с чужих плеч, зипуне, из-под которого выглядывал подол заношенного платья. На голове — застиранный клетчатый плат, в руке — узел с тряпьем и портняжными принадлежностями. Дни заметно удлинились. Солнце ходило уже высоко и днем ласкало, обогревало еще не проснувшуюся степь. Над оврагами кружили, надрываясь, вороны. Чернели склоны холмов, дымились чуть-чуть, а снег бурел, лежал неприглядно, островками, и по земле уже плыла предвесенняя истома.

Брела одинокая женщина то проселочной дорогой, то большаком, то тропинками, замечая первые признаки весны, и поневоле одолевали ее думы о своей казавшейся иногда такой долгой-долгой жизни. Становилось грустно, и слезы сами собой наворачивались, набухали на ресницах. Хотелось думать о хорошем, безмятежном, о детстве, о любви. Но хорошего и радостного получалось до обидного мало.

Родителей она и не помнила толком. Уехали они из Ямм-ерталя в засушливый, неурожайный год, какие бывали нередко на Волге, уехали, надеясь найти обетованное мес-

точко в жарком краю, где, по слухам, люди только и делали, что лакомились в тени виноградом, инжиром, айвой, и арбузами величиной с котел. Думали годик прожить как-нибудь у односельчанина, выехавшего в далекий хлебный край раньше, получить надел хотя бы на одну ревизскую душу и слепить мазанку, а потом уж перевезти детей и бабушку, не пожелавшую сразу покинуть родной Шёнталь даже ради этого самого винограда на краю света. Должно быть, в недобрый час прибыли родители в ту сказочную землю, именуемую звонким словом Туркестан. Через год скосила их тамошняя незнакомая хворь. Даже не успели, бедные, обзавестись желанной мазанкой. Бабушка сразу сдала, опустила руки. Даже в нищем Яммертале Риттеры были самыми нищими. Когда смышленая, расторопная Каролина, на удивление всем, окончила-таки церковно-приходскую школу и бойко «зашпрехала» по-русски, добрые люди помогли определить ее служанкой в богатый дом покровского адвоката. Все изведала она там: и обиды сиротства, и назойливые притязания прыщеватых барчуков. Может, потому и вышла рано за Микаэля, чтобы обрести какую-никакую защиту. Долговязый, длиннорукий, весь какой-то нескладный, он души не чаял в энергичной обаятельной Каролине, выступавшей к тому времени в театре купца Очкина. Дома, над супружеской кроватью, висел портрет: Каролина в длинном, до пят, белом платье, в огромной шляпе с кружевами и цветами, с гитарой в руках на фоне бутафорской пальмы. Микаэль не мог налюбоваться на этот портрет. Он напоминал желанную мечту о красивой и тихой жизни. Жалкий чудак!

Когда родилась дочка Аделаида, гордый муж повез семью на родину, в Лодзь. Странный был город: пестрый, многоязыкий, суетливый и шумный. Казалось, все тараторили разом на всех наречиях, и Каролина быстро освоила эту своеобразную манеру разговора — фантастическая мешанина из русских, польских, немецких, еврейских, литовских слов. Невезучий Микаэль и здесь перебивался случайной поденщиной. Он умел все: подметать улицы, играть на мандолине, переплетать книги, стеклить окна, подыгрывать клоуну в цирке, даже петь в кафешантанах на тирольский лад, но очень скоро Каролина поняла, что на благоверного надеяться ей не придется, что он из той многочисленной породы вечных неудачников и неисправимых мечтателей, любящих только разглагольствовать о том, чего никогда не будет. Сама Каролина устроилась в швейной мастерской,

стала заводилой среди работниц, однако вскорости хозяин уволил ее за строптивость.

Потом появились на свет мальчики-близнецы. Микаэль согласился опять податься на Волгу. Здесь у Каролины завелись новые друзья, увлеченные, смелые, иногда бесшабашные, отчаянные, и они привнесли в ее жизнь смутный, опасный, но притягательный смысл. До этого жили бедно, теперь же — еще и тревожно. Беспокойство овладело всеми — и богатыми, и бедными. Все ожидали перемен. Еще больше о них говорили — и открыто, и тайно. Микаэль становился все более озлобленным, раздражительным. Он осознал вдруг свою ненужность в этом неблагополучном мире, где нет даже места его призрачным мечтам о скромном и тихом благополучии. Семейные ссоры участились. Жили по древнему, как мир, принципу вместе-врозь. Каролина долго не могла решиться на рызрыв, хотя, казалось, чего проще: он католик, она лютеранка, и брак их не скреплен узами ни людьми, ни богом.

Да-а... что и говорить, не задалась личная жизнь. Об этом, однако, Каролина в последнее время почти не думала. Назойливые думы она упорно гнала прочь. Какая еще личная жизнь? У нее есть цель, есть дело, друзья, увлеченные единой прекрасной идеей, есть дети. Что же еще?..

Брела одинокая, усталая женщина из деревни в деревню вдоль большого тракта. Вслушивалась в зарождавшуюся весну. А на сердце было тяжело, тревожно. И те же растерянность и тревога царили сейчас в деревнях: крестьяне были взбудоражены, обозлены. Что с этим миром стряслось? Что это людишки словно как обезумели? Одни проклинали белых, другие на чем свет стоит ругали красных, третьи и тех и других обзывали смутьянами, разбойниками, нарушившими извечный и такой понятный крестьянский уклад жизни.

На беженку смотрели с подозрением. Много их нынче по белому свету шляется. Редко в какой деревне пускали в дом. Очерствела душа у людей. И приходилось беженке ночевать на сеновале в каком-нибудь сарае, коротать ночи под мышиный шорох в заброшенной мельнице на окраине села, в церкви, в заросшей бурьяном бане в конце огорода по-над суглинистым берегом.

Однажды наткнулась невзначай на группу верховых. Моложавы, горбоносый офицер с пышными баками круто

осадил возле нее разгоряченного жеребца, ткнул кнутовищем ей в подбородок. «Кто такая?» Выслушал нетерпеливо ее сбивчивый рассказ, усмехнулся, раздувая ноздри: «Ну, ну... пани. Ищи, ищи своего мужа. Только там ли его ищешь, а?!» И ускакал под гогот своей свиты.

Почти во всех больших селах стояли белые. И всюду изгилялись на один и тот же манер. Секли шомполами и нагайками всех подозрительных на площадях, для острастки — даже баб и подростков, вылавливали большевиков, совдеповцев, травили их родственников, расстреливали в оврагах и топили в реках, глухими ночами предавались разбою и пьяному разгулу. Однако части эти казались беженке хотя и свирепыми, но малочисленными, разрозненными и не особенно вооруженными. Первое донесение она передала в уком через связного в селе Марьинка.

В захолустном хуторе Экгейм иззябшую беженку пустила к себе многодетная колонистка.

— Бист дох айне дайче? — спросила на диалекте. — Фон визензайте одер бергзайте?

Беженка улыбнулась. Неистребимая привычка волжских немцев первым долгом разузнать, кто откуда — с нагорной или степной части, с правобережной или левобережной стороны Волги.

— Найн, — сказала беженка, опустив глаза. — Не отсюда я... издалека...

С большой, на половину дома, немецкой печки с двумя котлами, свесив головы, с любопытством глазела на странную гостью стайка белокурых малышей. Хозяйка, сидя за прялкой и ширкая носом, жаловалась на свою нескладную судьбу:

— Гот, ах, гот... Не иначе как настал конец света. Вернулся мой Хайнрих с германского фронта обросший, исхудалый, чужой какой-то. Вижу: взбаламучена душа. Думы непонятные гложут. Промаялся три дня, ни меня, ни детей толком не приласкал... подался к красным. Потерпи, говорит, Мальхен, скоро новую жизнь начнем. А какая она, новая жизнь, — в толк не возьму. Уехал, мерина забрал... Потом примчался деверь, Иоханнес. Издерганный, взбешенный. В глазах — муть. Хрипит: «Куда уполз этот красный ублюдок?! Я его из-под земли достану. За ноги к колодезному журавлю привяжу!» Это на родного братато... Жена его, Катрин, укатила к своей матушке в Катариненштадт. Приспичило. Другого времени не нашла! И два месяца ни слуху ни духу. Может, и нет ее уже?..

Теперь вот и ее выводок, и мои, целый табун, — все на моей шее. Скажи, что с ними делать? Пока была Гермина, моя старшая,— еще куда ни шло. Теперь и ее где-то черти носят. Моталась, моталась по деревням, вместе с мужиками на сборищах речи толкала все про свободу... равенство... мир, про какой-то декрет... о земле, что ли... Так и прозвали ее в деревне: Гермина-сицилистка. Где это видано, чтобы порядочную девушку так обзывали? Все свихнулись. А мне как с этой оравой сладить?

«Орава» на печке, притихнув, серьезно слушала и поглядывала на гостью, которая выкраивала для них из ветхих тряпок и обносок какую-то одежку.

Беженка молчала, тоскуя о своих малышах, оставшихся под присмотром квартирной хозяйки. «Бедные, бедные мои детки... При живых отце и матери — сироты. Неужели и им суждено вырасти, как мне, без любви, без тепла и ласки? Может, надо было послушаться Василия Ивановича? Предлагал же он пристроить сирот в доме Чемодурова. Говорил, что скоро переведут детдом в Никольский монастырь. Небось и у него душа изболелась по своим. Трое их у него, да еще двое Пелагеиных, вдовы убитого друга Куясова, с которой в прошлый год Василий Иванович соединил судьбу. Ах, горе, горе...»

Тревожный гул вдалеке оборвал думы Каролины. Стремительно накатывался шум от топота копыт. Разом всполошились хуторские собаки. В хлеве во дворе загоготал гусь. Поблизости нестройно затявкали ружейные выстрелы.

— Опять...— испуганно прошептала хозяйка и тотчас задула лампу-чадилку, плотнее завесила низкое оконце. Малышня на печке юркнула под овчинную шубу, затихла.

Мимо дома оглушительно проскакало несколько верховых. Кто-то дурняком завопил:

— Прячьтесь! Белые!.. Белые!..

Точно шальная банда на взмыленных конях ворвалась в маленький хуторок. Однако уже через несколько мгновений гул утих, выстрелы удалились, растворяясь в безбрежной тиши слабеющим эхом, и только распалившиеся псы никак не могли угомониться.

— Пронесло-о...— вздохнула хозяйка, удивившись про себя спокойствию гостьи.— Вот так чуть ли не каждую ночь. Не помню, когда и спали-то спокойно в последний раз.

Должно быть, и собакам надоело брехать впустую. Сно-

ка погрузился степной хуторок в ночную тишь. Хозяйка постелила беженке на лежанке и, что-то бормоча под нос, полезла на печь к своей ораве.

Никто, однако, не успел уснуть. Вскоре с другого конца хутора наметом налетела группа всадников, и промерзлая земля загудела, задрожала под копытами коней. Собаки остервенели, залились вразнобой. С перепугу загорланил где-то петух и тут же осекся. У самого угла дома грохнул выстрел.

— Лю-у-ди-и! Прячьтесь! Красные-е... Красные!..

Каролине почудилось, что кричал один и тот же человек. И хозяйка, поминая всех святых, прислушалась внимательней.

— О боже... не Петер ли это разоряется, Якоба-брюхана сынок?! Слух идет, будто собрал он ватагу сорванцов из соседних деревень и озорует по ночам, бедный люд пугает.

— Прячьтесь, прячьтесь! Белые, белые-е!..

— Береги-и-ись... Красные, красные! — надрывался сиплый голос, заглушаемый выстрелами и топотом копыт.

«Вот тебе и сонная немецкая деревня!» — с усмешкой подумала про себя Каролина. Вспомнился ей неуемный Лео Гинц из «летучего отряда». Тот недоучившийся семинарист все возмущался, бывало, пассивностью, инертностью волжских немцев. До хрипоты утверждал, что только страшная беда может всколыхнуть дремучую душу колониста-бауэра, не желающего знать ничего, кроме благополучия своего двора. Как он заблуждался, бедняга! И в своем заблуждении сбивал с толку других. Ему казались незначительными и крестьянские волнения в пятом году в Новоузенском и Камышинском уездах, и бесконечные забастовки грузчиков и рабочих железнодорожных мастерских в Покровске. Ему, длинноволосому, конопатому Лео Гинцу, все не терпелось сунуть в руку каждого колониста по бомбе, чтобы немедля взорвать старый гнусный мир... Давно разошлись их дорожки. Где он теперь безумствует, Лео Гинц? Может, давно потерял буйную головушку?.. Посмотрел бы теперь, что творится в немецких деревнях. Что осталось от мнимой инертности, благочинности и законопослушности волжского колониста? Всех захлестнула, закружила вьюга революции... Всех. И никому не дано в этой вьюге отсидеться в тепле и переждать ее. Все равно, кто ты — русский, немец, татарин, мордвин. Это только недруги или откровенные враги-смутьяны пы-

таются обвинить инородцев в социальной пассивности. Как же?! Будешь пассивным, если в собственном доме пожар...

Наутро, чуть свет, Каролина, поблагодарив растерянную от всех невзгод-напастей хозяйку за ночлег, покинула глухой Экгейм.

Брела усталая женщина по проселочным дорогам, зорко оглядывалась вокруг. В станице Соболевской окопалась крупная часть белых. Двое суток хоронилась беженка по задворкам, прислушивалась, все подмечала, наблюдала за передвижениями, считала пулеметы, прикидывала в уме количество сабель. С вечера до утра отсиживалась на мельнице на окраине станицы, взбиралась на верхотуру: отсюда все было видно как на ладони. Судя по всему, именно отсюда готовилось решающее наступление на Николаевск. Обмирая от страха, Каролина заставляла себя все же несколько раз выйти из своего надежного укрытия, ходить по станице, прикидываясь побирушкой, задерживаться возле многолюдных мест, хватая обрывки разговоров, покорно снося обидные насмешки и откровенные намеки разнузданной солдатни. Но все складывалось для беженки удачно. Она успела передать через связного второе донесение в уком и благополучно выбралась после полудня из станицы. Уже на развилке дорог за околицей ее догнали казаки и привели в свой штаб.

— А-а... пани, старая знакомая,— словно обрадовался горбоносый офицер с баками.— Все еще мужа ищешь, а? Не думаешь ли ты, что он в моем полку от тебя прячется?!

Беженка всхлипнула, залопотала на своей диковинной смеси из русских, немецких, польских слов, взывала к жалости милостивого пана офицера, совала ему свой паспорт с царским гербом.

— Бронислава Кши... Кши-жа-новска,— прочитал по слогам горбоносый и задрожал баками.— О! О! Заприте в сарай! Вечером допросим эту ссу... пардон, пани...

VI

Однообразный звон разлился в ночном мире, словно одна оторвавшаяся от песни и заблудившаяся нота.

Звук дрожал, замирая, в вышине, за облаками, назойливо напоминал о себе, и чудилось Каролине, что все ее

существо, вся ее жизнь всецело зависят теперь от этого тонюсенького, неземного, бесконечно дли-и-и-инного и полного тревоги голоса. «Лишь бы не оборвался... Лишь бы не оборвался... не оборвался... не оборвался...» — лихорадочно, точно в бреду, твердила она про себя.

Она приподнялась, стараясь не глядеть туда, где в черной луже бугром возвышалась убитая лошадь.

Ночь затаила дыхание. Колосья сникли в тяжелой дреме. В щель меж редеющих облаков лишь на миг выглянула луна и стыдливо спряталась.

Так... что же случилось? Как же все было?

Да, да... сумрачный сарай, пропахший прелым сеном, слежавшимся пометом, нежитью. Глупые вопросы горбоносого, изощренные издевки, циничный гогот обросших мужланов. Долгие, отупляющие рассудок, ночи. Все казалось безразличным и бессмысленным, и Каролина уже сомневалась в пользе своих скудных донесений. Все, что творилось вокруг, чудилось недостойным жизни, и лишь думы о детях, оставшихся сиротами, нестерпимой болью обжигали сознание, возвращали к действительности, и от тоски, отчаяния, от жалости к себе хотелось плакать, горько и безутешно, но слез не было.

Однажды, на рассвете, белые спешно выступили. И вскоре лязгнул засов, в проеме двери показался спаситель, вихрастый подросток в холщовых, не по росту, штанах, небрежно проронивший ломким басом:

— Катись-ка ты, тетка, на все четыре стороны!

Пять дней и ночей, голодная и изнуренная, пробиралась она по бездорожью к Николаевску. Уездный городок оказался в кольце. Красные полки отчаянно отбивали натиск белых.

Ермощенко, почерневший, осунувшийся, объявил красному бойцу Каролине Риттер благодарность и отправил в лазарет. У нее дергалась голова, глаза блуждали, лицо покрылось пятнами.

В лазарете Каролина, однако, не стала задерживаться. Отоспавшись и малость придя в себя, решила бежать.

...Увидев ее, Ермощенко поморщился:

— Ну, какой из тебя, товарищ Риттер, боец?! — Помолчал, покусывая обкуренный ус. Спросил неожиданно: — Пацанов своих видела?

— Видела. Все в порядке... А где сейчас Готлиб, товарищ председатель укома?

— В Разинском полку.

— Пошлите и меня туда.

— Зачем? Мировую революцию спасать? Мать честная! Ты же винтовки не удержишь. Качаешься вон.

— Пошлите! Исполню любое задание.

Ермощенко на мгновение окутался махорочным дымом. Потом сказал, как отрубил:

— Только сестрой милосердия.

— Согласна.

Шии-ик!.. Шии-ик!..

Будто призрак, выплыл из мрака скрипучий рыдван. Понуро брели волы, отрешенно жевали жвачку. Мужичонка, спотыкаясь, тащился сбоку. Тяжело колыхался рыдван под скорбным грузом. Из-под рогожи торчали четыре ноги — в обмотках и бутсах.

«Значит, я не одна на этом поле...»

VII

До разинцев Каролина так и не добралась. Небольшой отряд красных бойцов расположился верстах в пятнадцати от Николаевска на краю пшеничного поля, неподалеку от полузаглохшей проселочной дороги. Получалась вроде бы засада, хотя место считалось безопасным. Никто не предполагал, что именно с этой стороны могут подойти белые. Всем казалось, что непременно пойдут большаком.

День клонился к вечеру. От пригретой земли исходила приятная истома. Синий воздух густел, дрожал над оранжевым закатом.

Бойцы благодушествовали. Ломали хрупкие пшеничные стебельки, растирали в заскорузлых ладонях колосья, пробовали на вкус молочное, клейкое, еще только набиравшее силу зерно. Несколько бойцов, из местных крестьян, наивно рассуждали о том, что как только вышибут беляков из Самары, так немедля вернутся в свои деревни и займутся крестьянским делом. Хватит, навоевались. Пусть, мол, каждый сам за свой уезд или губернию воюет. Ведь до чего просто: если каждый в своем дворе, на своем

участке, ну, самое большое, в своей деревне порядок наведет, так во всем мире справедливость наступит. И людей понапрасну изводить нечего, и про классовую борьбу ни к чему без конца говорить. Все это выдумки грамотеев. Неугомонный зубоскал Иосиф Мантлер, австрияк, безбожно коверкая русские слова, подтрунивал над молчаливым Укачиным, выпытывая, хороши ли собой татарочки и чем они, собственно, хороши. Укачину этот разговор был явно не по душе. Он раздраженно отвечал, что татарки хороши не чем-то, а вообще лучше и честнее всех баб на свете, потому что, если они любят, то любят, а коли ненавидят, так ненавидят. С ними всегда все ясно. «Неушшели? — сомневался австриец.— С шеншин разве ясна-а биваэт?»

Каролина задумчиво теребила повязку сестры милосердия на рукаве и все вспоминала наставления Ермощенко о какой-то женевской конвенции и о неприкосновенности медико-санитарных учреждений. По этой конвенции вроде получалось, что Каролина воевать не имеет никаких прав, а должна только оказывать помощь раненым. Это ей казалось странным и непонятным.

И тут случилось непредвиденное. За пшеничным полем вдруг всклубилась пыль, и тотчас на дорогу выскочили конные казаки. Они ехали открыто, крупной рысью. Ружья лежали на седлах. Иные из всадников придерживали шашки на боку. Шли плотной кучкой, будто не ожидали никакой преграды. Словно намеревались, все сметая на своем пути, все той же рысью ворваться в Николаевск.

Бойцы затихли, растерянно переглянулись. Казаки надвигались шквалом. И нельзя было определить, сколько их: может, конный батальон или бог весть еще какое подразделение. Головная группка выметнула на пригорок. Еще мгновение, и беляки проскочат мимо залегшего красного отряда.

Возникло замешательство. Казалось, красные затаятся, не посмеют поднять головы или, еще хуже, поникнут, дрогнут. И вдруг сквозь мерный топот копыт грохнуло. Кто-то, видно, не выдержал, пальнул вдоль переднего ряда. Конь под передним всадником будто взвился и, распластавшись, шмякнулся, окутавшись рыжей пылью. Конный отряд на мгновение оробел, но тотчас ощетинился шашками и превратился в многоглавое чудовище. Красные кину-

лись врассыпную, бугрясь спинами среди пшеницы. Мантлер, ойкнув, выронил карабин. Совсем рядом яростно застучали копыта.

— Та-а-ва-а-а-рищи-и-и-и! — взвился над полем отчаянный зов Каролины.— Та-а-ва-рищи-и-и-и, вперед! Пали-и-и-и по белым гадам!

И, схватив карабин Иосифа, побежала наперерез надвигавшейся неумолимо черной, точно взлохмаченной массе. Каролина увидела, как бойцы, оглянувшись, прижались к земле, услышала, как участились выстрелы. Сбоку неуверенно, захлебываясь, зататакал пулемет. Рвались снаряды, клубилась пыль, корчилась земля, хрипели, ржали лошади. Кто-то бросил гранату. Черная взлохмаченная масса дрогнула. Захваченная короткой стычкой, почти не таясь, все бежала и бежала вперед Каролина, всем существом ощущая, как вселился вдруг в ее отряд боевой дух, и видя, как, испуганные беспрерывной пальбой, поскакали прочь беляки. Рядом пробежал, выкрикивая непонятные татарские слова, Укачин. И все слышней, все громче, победней катилось по полю нестройное:

— Ур-ра-а-а-а!..

Вдруг вжикнуло возле уха, сверкнуло в глазах, страшная сила опрокинула Каролину навзничь, и тьма захлестнула ее, проглотила...

VIII

Рыдван свернул на дорогу. Жалобно скулили в ночи колеса. Что делать? Куда теперь? Где красные? Где белые?

Каролина встала, морщась от боли. Левая рука бессильно повисла вдоль туловища. Рукав набряк кровью. Рана, видно, запеклась.

Отпихнув ненужный теперь карабин, она медленно пошла за колыхавшимся вдали рыдваном. Наверняка приведет ее мужичонка в какую-нибудь деревню. Если судить по звездам, мерцающим сквозь теплые невесомые облака, ведет он свой скорбный груз в сторону Николаевска.

Брели волы, запряженные в старый, скрипучий рыдван, помахивали тяжелыми головами. Не оглядываясь, тащился обок угрюмый мужичонка. Шла за скорбным

обозом, не ведая куда, обессиленная, опустошенная Каролина.

Мутная июльская ночь казалась бесконечной.

Она не знала, сколько продолжалось это шествие. Близился рассвет. Сонная петушиная перекличка проклюнула предутреннюю тишь. В низине, в низко стелющемся тумане, показалась деревня. Возле сараев чернели сложенные в аккуратные кучки кизяки для топки. Возница не завернул в деревню, повел своих волов дальше.

У Каролины кружилась голова, подкашивались ноги. Тупое безразличие овладело ею. Казалось, вчерашний бой был когда-то давным-давно, а возможно, его и вовсе не было, приснился только в страшном сне. И не было ни боли, ни страха, ни этой длинной ночной дороги, ни безнадежного чиликанья заблудившейся птахи, ни скрипучего рыдвана, ни треска копыт послушно бредших волов. Она увидела тусклый свет в окошке крайнего дома и направилась туда, к теплому очагу, к людям.

Вокруг было пусто, тихо. У телеги с сеном, прислонившись спиной к колесу и зажав меж вытянутых ног винтовку, спал человек. Чуть поодаль, у коновязи, смиренно опустив головы, дремали лошади.

Каролина, чувствуя, что ее покидают последние силы, уже не ведая ни опасности, ни осторожности, неслышно прошла в сени, привалилась к косяку, прислушалась к смутным мужским голосам. Густой табачный дух ударил в ноздри, и тошнота неодолимо подкатила к горлу.

Она решительно толкнула дверь, шатаясь, переступила порог, мутным взором обвела избу. Все поплыло перед глазами... Тусклая лампа-семилинейка на столе... Блеклый рассвет за низким окошком. Человек десять мужчин, уставившихся в изумлении на нее.

— Здравствуйте...— Каролина еле узнала свой голос. И, облизнув иссохшие губы, подалась чуть вперед, сказала громче: — Здравствуйте...— Потом, судорожно сглотнув, в отчаянии — была не была — добавила: — Това-арищи-и...

Снова прорвался сквозь неведомую толщу занудливый тонкий звук, задрожал, затрепетал, стремительно удаляясь. На мгновение мелькнул страх: сейчас, сейчас оборвется...

Она еще увидела, как резко вскочили из-за стола, как кто-то в кожаной тужурке, с тяжелой кобурой на боку встал во весь громадный рост, и Каролине померещилось, что этот человек ей знаком, и нечто похожее на радость толкнулось в груди, и она тотчас услышала:

— Так это же... товарищ Риттер.

— Каролина!

«Он... Патрикеев... Разинский полк... И Готлиб... Гоша...— мелькнуло в сознании Каролины.— Свои... свои... това-а-арищи-и...»

Она пыталась что-то сказать, но сил уже не было. Пошатнувшись, рухнула подле печки.

1980

ЖАКЫП-ЯКОБ

Давиду Вагнеру

Девочка вбежала в дом, впустив за собой сизое облако пара, испуганно захлопнула дверь. Тазик, с которым она отправилась в сарай за кизяком, с грохотом упал у порога.

— Что с тобой, Мальхен?

Деревянное колесо веретена, недовольно скрипнув, остановилось. Руки матери, привычно и ловко сучившие клок шерсти, замерли.

— Там...— Девочка метнула взгляд на дверь.— Киргиз...

— Что-о?..

— Стоит... Трясется весь... Что-то лопочет.

— Ах, гот! В такую стужу,— вздохнула, по обыкновению, мать.— Выйди, Иоханнес, узнай...

Отец возле печки в закутке ладил конскую упряжь. Он нехотя вышел, накинув на плечи старый кожух. С громадной, на полдома, печи свесились две вихрастые головы.

— Ты испугалась, Мальхен?.. Он черный, да? Бородатый? И с мешком, да?

У мальчиков от любопытства округлились глаза. Но Маля, девочка лет тринадцати, не успела ответить. Вновь распахнулась дверь, и, подталкивая закутанного в лохмотья парнишку, вошел отец.

Гость был в огромных, явно не по ноге, сыромятных сапогах. Голова обмотана грязной тряпицей. На поясе болталась бечева, сплетенная из конского волоса. Сквозь прореху на затвердевших на морозе штанах синело голое тело. Щуря глаза-щелки, он робко переминался с ноги на ногу. На поясе висел тощий мешочек, сшитый из разноцветных лоскутков.

— Садись. Грейся,— сказал отец, показывая на скамью у печки.

Гость скосил на него быстрый взгляд и опустился, скрестив ноги, на половичок.

Маленькая немецкая деревушка — два десятка саманных домиков с неизменными пристройками и летней мазанкой-бахаузом — затерялась на самой границе казахских степей в стороне от всех дорог и событий. Лишь дядя Христьян, главный деревенский политик, потерявший на русско-турецком фронте ногу, бывало, привозил смутные новости со станции Урбах. Это он, вернувшись после долгих скитаний, поведал землякам о великих переменах в жизни: о свержении русского кайзера Николауса, о революции, большевиках, свободе. Его слушали с открытыми ртами, но с сомнением, недоверчиво, ибо в самой деревне перемен никаких не чувствовалось. Жизнь протекала однообразно, по извечно заведенному порядку, в бесконечно изнурительном труде и унылых заботах.

В тепле возле печки мальчика еще сильнее била дрожь. Он старался сдерживать ее и искоса оглядывал комнату. Все было ему внове: и громоздкая печь, и чисто выскобленный приземистый стол, и потемневшее от старости веретено, совсем непохожее на прялку-юлу, с которой не расстаются старухи в аулах. За окном стыл мороз, выл ветер, постепенно слабевший после многодневных буранов, а здесь было тихо, чисто, от печки струилось уютное тепло, пахло кизяком и чем-то кислым, незнакомым, и мальчик, вспомнив убогую, с погасшим очагом юрту, угрюмого отца, выгнавшего его в холод собирать по деревням милостыню, зябко поежился. Хозяева о чем-то переговаривались, но мальчик не понимал ни слова. Мужчина сосредоточенно прилаживал мягкий валик к остову старого хомута.

— Ты... откуда? — спросил он.

— А... аул... Кара-Ыбрай...

— Краут унд брай?[1] — озорно переспросил кто-то из сорванцов на печке, и все расхохотались.

Гость недоуменно посмотрел на всех и тоже улыбнулся.

Верстах в десяти от деревни начинались бескрайние запущенные степи. Там обитали, жили своей непонятной жизнью кочевники. Киргизами называли их в деревнях Поволжья. Огромная была степь, а народ вроде малочис-

[1] Игра слов, построенная на созвучии. Буквально: капуста и каша *(нем.)*.

ленный. Может, так только казалось... Ранней весной прокопченные юрты за пашней вдруг куда-то исчезали, на их месте еще долго темнели черные проплешины, а осенью, когда чахлая трава покрывалась ночами сизым инеем, эти юрты неожиданно появлялись вновь. Редко кто из деревни знал, как и чем живут степняки в юртах, а еще реже появлялись в деревне они сами. Потому, наверное, и ходили разные нелепые слухи о чернолицых, скуластых кочевниках.

— Ия... Кара-Ыбрай... Там... далеко.

Мужчина что-то сказал, и девочка, постреливая в гостя насмешливым взглядом, принесла большой ломоть ржаного хлеба, ухватом достала из печки чугунок, наложила в тарелку тушеной картошки и поставила на стол. Гость, жадно взглянув на еду, судорожно сглотнул слюну.

— Ешь,— сказал мужчина, кивком показывая на стол.

После еды гость согрелся, повеселел. Он сбросил с себя рвань, швырнул сапоги с войлочными чулками к порогу, благодарно воскликнул:

— Карашо!

Мальчики, осмелев, спустились с печки, подошли поближе.

— Краут унд брай? — спросил все тот же озорник.

— Ия, ия,— с готовностью откликнулся гость,— Кара-Ыбрай...

И первым расхохотался, сузив и без того узкие глаза.

Мужчина, незаметно поглядывая на него, достал из кармана кисет, короткую, обуглившуюся по краям трубку, не спеша набил ее табаком. Гость смотрел на девочку, убиравшую со стола посуду.

— Это Маля... Мальхен,— сказал мужчина. Он с трудом подбирал русские слова. Вообще и гость, и хозяин знали их, пожалуй, в лучшем случае десятка два. Но одно и то же слово каждый произносил столь своеобразно, что, казалось, они разговаривали на разных языках.

— Это — Виктор. Это — Франц.

Мальчики одновременно растянули губы до ушей.

Гость покивал бритой головой:

— А-а... Мала... Бектур... Пранс...

— А я — Бауэр.— Мужчина ткнул себя в грудь мундштуком обгорелой трубки.

— Твой — Бауыр,— согласился гость.— Мой — Жакып.

— Что-о?

— Мой — Жакып.

— А-а...— Мужчина разом выпустил облако дыма.— Якоб? Киргиз Якоб?

— Якоб! Якоб! — радостно воскликнули мальчики.

Видно, скучно им было целыми днями возиться на печке, из дома зимой носа не высунешь, разве лишь по неотложной нужде, а этот нежданный гость был так необычен и пришел из таинственной степи, куда их взрослые никогда не пускали.

Гостю на вид было лет четырнадцать-пятнадцать. Должно быть, совсем не сладко жилось ему в своей степи. Он не собирался уходить, простуженным гортанным голосом время от времени произносил:

— Кибитка — плохо, здесь — карашо!

Казалось, он совсем забыл, зачем пришел сюда, и не замечал, что подкрадывается вечер. Хозяйка положила ему в мешочек кусок хлеба, а Бауэр, кивком указывая на лохмотья у порога, напомнил:

— Домой... нах хаузе... надо.

Гость встревоженно глянул на него, отчаянно замотал головой:

— Нет, нет... домой нет... не надо!

Слезы вдруг полились из его глаз, и он стал что-то быстро и непонятно лопотать, изредка вставляя исковерканные русские слова, и все поняли, вернее, догадались, что мальчику очень не хочется домой, что худо ему там, холодно и голодно, отец заставляет просить милостыню, а потом еще и бьет, если он приходит домой с пустой сумой. Хозяйка, теребя подол передника, проговорила свое привычное: «Гот, ах, гот!» — а у Мали на глаза тоже навернулись слезы.

В доме стало тихо. Бауэр озадаченно смотрел на гостя, попыхивая трубкой.

— Ладно... Цум тойфель, не плачь! Оставайся.

Вечером хозяйка вынесла одежду гостя в сени, налила в деревянное корыто теплой воды, заставила парня помыться в закутке за печкой. Потом его одели в залатанные, но чистые обноски, напоили солодковым чаем и отправили вместе с Виктором и Францем на печку.

Так смуглый, черноглазый казашонок, прозванный Киргизом-Якобом, остался жить в семье крестьянина

Бауэра. Якоба полюбили за веселый нрав, живость и исполнительность. Радовался Бауэр: в бесконечных крестьянских хлопотах расторопный работник никогда не помеха. Младшие — Виктор и Франц — не отставали от него ни на шаг и хвастались перед деревенскими сверстниками: «Наш Якоб!» И тетя Гермина, хозяйка дома, привязалась к нему, как к родному сыну. Маля весело смеялась над его забавным выговором и охотно учила его обиходной немецкой речи.

Так прошел год, а Якоб и не помышлял о возвращении в степь. Бауэр как-то предпринял попытку поговорить по душам наедине, намекнул, что пора, пожалуй, навестить аул, родные наверняка беспокоятся, ищут его, что, дескать, нехорошо все получается, могут быть, кто знает, неприятности. Ничего не ответил Якоб, несколько дней ходил грустный, подавленный, и Бауэр решил про себя, что, видно, напрасно затевал он тот разговор.

Однажды хромой Христьян привез в деревню молодого учителя и торжественно объявил землякам, что новый советский шульмайстер будет учить деревенских неучей уму-разуму. Под школу отвели просторную пустовавшую комнату в доме дяди Христьяна, прорубив отдельный вход и пристроив крыльцо. Теперь Франц и Виктор восторженно, взахлеб говорили об учителе — долговязом Дитрихе. Там же, в классной комнате, неугомонный учитель организовал читальню и вечерами рассказывал любопытным крестьянам о новой жизни, о целях и задачах молодой Советской власти. Пусто было в читальне, всего несколько книг да невесть откуда притащенная кипа пожелтевших немецких газет лежали в самодельно сбитом шкафу, но не читать приходили сюда крестьяне, а слушать при зыбком свете лампы речи бледнолицего учителя. Часто приходил сюда и Якоб, плохо понимая, о чем иногда так яростно спорят обычно степенные крестьяне. Дитрих приметил его, предложил ходить в школу. Знания ведь нужны всем, и казахам, и немцам, и молодая власть очень нуждается в грамотных людях. Смущаясь, робея, Киргиз-Якоб отправился вместе с Виктором и Францем в школу. Он был старше и выше всех ростом, и задиристые рыжие сорванцы стали поддразнивать его, насмешливо называя «шварце онкель Якоб» — «чернявым дядей Якобом».

...Почти три года прожил Якоб в простой, работящей семье Бауэра. И, казалось, он уже навсегда связал свою судьбу с этой неприметной немецкой деревенькой. Но однажды — то было знойным летом — прискакал в деревню его отец, заглянул в один двор, в другой, растревожил всех собак и наконец, по чьей-то указке, примчался к крайнему саманному домику.

— Где киргиз-малшик?! — кричал он, с трудом сдерживая разгоряченного коня. Перепуганная насмерть тетя Гермина кое-как объяснила, что Якоб вместе с хозяином работает в поле.

Всадник, размахивая над головой волосяной веревкой, умчался в степь.

Бауэр и Якоб, работавшие на току, удивились, заметив стремительно приближавшегося к ним верхового. Якоб насторожился, побледнел и вдруг, закричав что-то по-своему, кинулся к стогу сена неподалеку. Но верховой, должно быть, узнал его. Он тоже кричал что-то непонятное и направил коня наперерез, прямо к стогу, на скаку слетел с седла, бросился в сено и рывком за ноги вытащил ошалевшего парня.

Все произошло так быстро, что Бауэр не успел даже опомниться. В следующее мгновение он увидел Якоба, уже привязанного волосяным арканом к хвосту лошади. С вилами в руке побежал он на помощь, но всадник, хлестнув упиравшегося парня камчой по спине, пустил коня рысью. Якоб бежал из последних сил, чтобы не упасть. Вскоре в зыбком степном мареве растворились и всадник, и тщетно взывавший о помощи несчастный Якоб. Будто и не было ничего...

Маля заплакала, услышав эту весть. Тетя Гермина вздыхала всю ночь. Ворочался в постели Бауэр.

На другой день он и учитель Дитрих отправились верхом в степь, надеясь встретиться с отцом Якоба, поговорить с ним по-доброму, хотя никто из них и не знал, о чем они будут говорить, напрасно только гнали лошадей. На широкой равнине одиноко стояли две кибитки, вокруг паслись несколько овец и коз. Старуха подозрительно покосилась на гостей и отвернулась. Глазела, разинув рты, стайка голопузых, босоногих детишек, а молодайка в длинном цветастом платье, толкая тощую, землисто-серую грудь в рот горластого сосунка, равнодушно сказала: «Мой не знайт...» Вокруг, куда ни посмотри, ни живой души. Только ковыль,

кивая седой головой, вел бесконечный разговор с вольным ветром.

И в деревне, и особенно в доме Бауэра часто вспоминали Якоба. За обедом, оглядывая стол, тетя Гермина каждый раз вздыхала:

— Где-то теперь наш Якоб? Интересно, как ему, бедному, живется...

Осенью, когда за пашней вдруг снова появились юрты, Бауэр отправился в аул поразведать, не вернулся ли Якоб. Но ни Якоба, ни того всадника он так и не увидел.

...Года два спустя ехала как-то Маля по хозяйственной надобности в соседнее село. День был солнечный, ясный. Мерин шел неторопливой трусцой, и девушка, изредка подергивая вожжи, негромко пела лукавую песню про любезного Хайнриха и милую Лизу. Дорога была длинная, а песня еще длинней: плутоватый Хайнрих из песни находил все новые и новые доводы для того, чтобы сделать предложение простодушной Лизе. Вдруг Маля услышала топот. С холма, на склоне которого паслось стадо коров, скакал ей наперерез верховой. Он был в треухе, полы чапана развевались на ветру. Девушка ударила мерина, испуганно оглянулась. Тот, в треухе, настигал ее. Маля поняла, что ей все равно не уйти, и стала придерживать мерина.

— Их дох ойер Якоб бин![1] — услышала она вдруг.

Они обрадовались друг другу, как малые дети, хохотали, говорили разный вздор. Потом, опомнившись, посмотрели друг на друга удивленно, странно, словно виделись впервые, покраснели и долго, растерянно молчали. Якоб пересел в телегу, привязав уздечку к передку, стал рассказывать.

Увез его тогда отец далеко, бил, ругал за непослушание, потом отдал в пастухи. Теперь Якоб уже большой стал, сильный и отца-самодура уже не боится. Недавно ушел с другим аулом. Несколько дней назад нанялся пасти стадо в богатом немецком селе. О них, Бауэрах, он все эти годы постоянно думал и, если они хотят, готов хоть сегодня снова перейти к ним. Может, ее отцу нужен работник?

Маля задумчиво слушала его нескладную, корявую речь. За эти годы Якоб многое позабыл, и непривычно звучали в его устах немецкие слова.

---

[1] Я же ваш Якоб! *(искаж. нем.)*

За оврагом они расстались.

А через неделю Якоб пришел к Бауэру, да так и остался в этой семье. Молодые полюбили друг друга, поженились, и теперь живут где-то в вольной семье наших народов потомки — дети и внуки — немки Амалии Бауэр и казаха Жакыпа.

В этой истории ничего не выдумано. Автор просто по-своему пересказал содержание крохотной заметки, опубликованной в немецкой газете «Майштубе» за 1927 год.

1973

ДЕДУШКА СЕРГАЛИ

Пришло от отца письмо. Как всегда, обстоятельно, по пунктам изложены все аульные, совхозные и районные новости: сведения о сенокосе, о надое молока, об обязательствах, неизменно повышенных, о ремонте тракторов, о строительстве родильного дома, о последнем собрании сельского актива, на котором с радикальными предложениями выступил мой активный отец, и все эти новости подтверждены вырезками из районной и областной газет. И, как всегда, ни слова о себе, о матери, о доме. А в конце письма приписка: «Умер дедушка Сергали. За несколько дней до смерти я навещал его, и он интересовался тобой, спрашивал, пишешь ли ты и передаешь ли ему приветы...»

За окном тосковала глубокая осень. Серая промозглая мгла плотно окутала дома, деревья, горы. Зябко поеживались ветки на обезлистевших тополях. И я подумал, что летом, когда приеду в аул, я уже не зайду в маленький приземистый домик у дороги и не услышу больше стихов дедушки Сергали.

...Мы, аульные мальчишки, называли его ата. За домом дедушки тянулся огромный пустырь, на котором малышня резвилась, играла в чижик, гоняла мячи с ранней весны, когда едва появлялись темные проплешины, до глубокой осени, пока пустырь не заметали снежные сугробы. Выходя из дома, дедушка Сергали иногда наблюдал за нашей возней, потом вдруг подзывал нас всех к себе. И мы уже знали, о чем он начнет сейчас спрашивать.

— А ну-ка, малец, скажи, как тебя зовут?

Первым отвечал Аскар, самый бойкий, самый смышленый среди нас. Вопросы шли всегда в одном и том же порядке. А сколько тебе годков, балакай? Так. А как зовут твоего отца? Так, так. А деда? А отца твоего деда? Очень хорошо. А отца прадеда? Э, молодец! Джигит! Аскер отвечал без запинки: он знал своих предков до седьмого колена, а дальше дедушка Сергали уже не спрашивал. Он считал, что из человека, знающего своих предков до седьмого колена, непременно выйдет толк.

И остальные все мои сверстники без особых затруднений отвечали на немудреные вопросы дедушки, хотя иные и путались в именах своих пра- и прапрадедов. До меня очередь доходила последним, наверное, потому, что я держался сторонкой и страшно волновался, как, впрочем, и потом, когда отвечал на экзаменах, которых в моей жизни было великое множество.

— Ну, а тебя как зовут, Сары-бала?

Видно, среди моих скуластых, чернолицых сверстников я казался дедушке рыжим, потому он и называл меня Сары-балой.

Я, запинаясь, называл свое имя, так непохожее на имена моих приятелей. Дедушка задумывался, жевал губами, соображая, как бы переделать его на казахский лад: «Керойт, Карра, Керой, Керей...— шептал он и наконец останавливался на совершенно неожиданном для меня варианте: — Кирá».

— А теперь, Кира, скажи, как зовут твоего отца?

Я называл.

— А дедушку?

И имя дедушки я называл.

— А отца дедушки?

Тут у меня вспыхивали уши, и голова моя невольно опускалась еще ниже. Уже с третьего колена предки мои погружались во мрак неизвестности. Обласкав нас по очереди, одарив куртом и иримчиком из кармана своего камзола, дедушка Сергали уходил по своим делам.

Рассказывали в ауле, что в молодости ата был лихим джигитом, весельчаком и акыном. Вскоре мы в этом сами убедились.

Как-то по аулу прошел слух, что в нашей школе состоится айтыс — поэтическое состязание акынов нашей области. И вот однажды перетаскали из интерната в школу все столы, соорудили сцену, застелили ее коврами. Народу наехало — тесно во всех домах стало. Просторный зал и коридор школы были битком набиты. Мы еще в об прокрались в класс и просидели, затаившись под партами, до самого вечера.

Начался айтыс. Акыны, человек семь, сидели на сцене полукругом, поджав ноги. Все были одеты ярко и пышно. На коленях акынов лежали красиво отделанные домбры. Первым запел седобородый грузный старик. Он вяло пощипывал струны домбры, долго-долго тянул: «О-о-о-о-о-е-е-е-ай!» — и, перестав вдруг играть, заговорил что-то быст-

ро и отрывисто, и борода его при этом смешно подрагивала. Потом, когда у него уже кончилось дыхание и он перешел почти на шепот, старый акын как-то странно дернул плечом, мотнул головой, набрал побольше воздуха и снова затянул свое бесконечное «Э-э-э-о-о-о-ей...» и опять, как бы нехотя, побренчал на домбре. В зале раздались одобрительные выкрики.

Вторым запел молодой еще черноусый акын, сидевший на краю сцены. Он привстал на колени, весь преобразился, сверкнул глазами и запел сразу же во весь голос увлеченно, заразительно, страстно. Зал всколыхнулся, пришел в восторг.

— Уа де!

— Ай, джигит! — неслось со всех сторон

Сильный у него был голос, звучный, да и сам он был красив в своем вдохновении, и мы, мальчишки, решили, что этот певец, несомненно, займет в айтысе первое место.

Дедушка Сергали пел третьим. Он пел совсем не как первые — пел тихо, протяжно. И голос у него был слабый, с хрипотцой. Видно, для него важным было не само пение, не голос, а слова, смысл. В зале стало тихо, старика не подзадоривали так рьяно, как того черноусого, а слушали внимательно, напряженно и кивали при этом. Нас как-то незаметно оттеснили, мы очутились вдруг у самого прохода и почти не слышали, о чем поет наш ата.

Говорили тогда, что в айтысе победил дедушка Сергали. Что значит побеждать в айтысе, мы представляли плохо. Думали, что побеждает тот, кто просто громче и дольше поет, кто не устает и запросто складывает стихи в то время, когда остальные акыны уже выдохлись, иссякли. А оказывается, в поэтическом, словесном состязании побеждают настоящие акыны, которые понимают силу и значение истинного, умного красноречия. Впрочем, этого я тогда не знал, это я понял значительно позже.

А потом был День Победы — самый яркий, самый памятный день нашего детства. Великую долгожданную новость узнали с утра, а уже в обед, после шествия с флагами и песнями, весь наш аул собрался на широком открытом лугу возле Ишима. На свой страх и риск зарезал тогда председатель колхозную овцу. И закипел той. Все были в тот день счастливы: и старики и дети. И все же как-то тихо было вначале. Отвыкли, должно быть, люди за долгие годы войны от шумных и веселых тоев. И тогда поднялся дедушка Сергали и объявил, что в такой счастливый день

он покажет народу они — игры. Подвели ему лучшего колхозного коня. Крепко-накрепко затянули подпруги. Сел дедушка в седло, приник к гриве, гикнул, пустил жеребца вскачь. Он сделал два-три круга и вдруг начал резко наклоняться с седла то в одну, то в другую сторону так низко, что руками касался земли. Кто-то бросил на обочину тропинки платок с кольцом, и ата, разогнав коня, ловко пагнувшись, поднял его. Потом так же, на всем скаку, перелез под брюхо чубарого жеребца. Толпа ликовала.

— Сейчас он будет скакать стоя на седле! — закричал кто-то.

Но на этот трюк дедушка не отважился: ему шел тогда уже шестой десяток.

Мы, мальчишки, восторженно глядели на лихого наездника.

А потом, отдышавшись, ата взял домбру, ударил по струнам, выпрямился, расправил плечи и, уставившись куда-то вдаль, неожиданно зычно пропел зачин, чтоб овладеть вниманием собравшихся на лугу аульчан. Запел дедушка Сергали. Слова той песни не остались в моей памяти. Я еще слишком слабо знал тогда казахский язык. Но я увидел странно притихших аульчан, слезы на запавших лицах вдов, еще не успевших выплакать своего горя. Видел, как закрывали старухи рты кончиками жаулыков, как застыли вдруг с разинутыми ртами мои сверстники. Слышал, как вздыхали старики. Видел, как гневно пылали глаза фронтовика-бригадира, и в этот первый мирный день не слезавшего с кургузой лошаденки. Пел дедушка Сергали, и тихо было вокруг, даже Ишим внизу, под обрывом, не ярился, не швырял пену на камни Тас-уткеля. Я не понял тогда слов. Но смысл той песни ощутил всем своим мальчишечьим сердцем. И запомнил на всю жизнь.

Когда я кончил десять классов аульной школы и собрался поехать в Алма-Ату на учение, отец зарезал овцу и пригласил всех стариков. После трапезы дедушка Сергали позвал меня к столу и сказал, что хочет мне дать бата́ — благословение. Он обвел глазами комнату, ища домбру, но домбры у нас не было, и тогда он попросил балалайку. Осторожно коснулся струн и поморщился от резкого непривычного звука. Потом быстро отпустил струны, чтобы балалайка звучала глуше, и, слегка пощелкивая по ним, произнес бата в стихах. Старики провели ладонями по лицам, сказали: «Аминь». С полевой отцовской сумкой за спиной, набитой книжками и бельишком, и с благословением де-

душки Сергали я покинул ранним летним утром родной аул.

С тех пор я каждый год неизменно приезжаю домой и, поздоровавшись с отцом и обняв мать, бегу скорей с салемом к дедушке Сергали и к другим старикам.

Любая весть распространяется в ауле мгновенно. И если я почему-либо не захожу к дедушке Сергали в день приезда, то уже на следующее утро после намаза и чая он спешит ко мне. Он идет мелкой, старческой походкой, далеко вперед закидывая посох, и издали кажется, что впереди вприпрыжку несется черный посох, а уж его, протягивая руку, догоняет сухой, поджарый старик с белой острой бородкой. Он без стука открывает дверь, снимает галоши с мягких сапожек, кричит слабым, надтреснутым голосом:

— Где Кира? Он приехал, что ли?

И деловито постукивая посохом, не оглядываясь по сторонам, идет напрямик через все комнаты в зал. Я бросаюсь к нему навстречу, протягиваю обе руки, смущенно бормочу извинения. Но дедушка суров и сдержан, смотрит на меня испытующе строго, медленно опускается на диван, ставит посох к стенке.

— Ну как? Жив-здоров? Руки-ноги целы? Аул-то не забыл? Э, жаксы, жаксы.

— А вы как, аке? Как здоровье?

— Э, дорогой. Какое у нас может быть здоровье? Ноги еще немного ходят, глаза еще чуть-чуть видят. Ну и ладно.

— А бабушка?

— Ну и бабушка, слава богу, еще шебуршит в своем углу.

Дедушка Сергали прикрывает красные веки, смотрит куда-то поверх окна. Я знаю, что сейчас он сочинит стих.

— Э, вот слушай:

Подкралась старость и зубы источила,
Лишила бодрости, кровь выстудила в жилах,
Глаза ослепли, в руках нет прежней силы,
А скоро и меня, родной, запрет в могилу.

— Вот так-то, дорогой Кира...

Сидит он недолго. Коротко расспросив обо всем, берет посох, встает:

— Ну, ты здоров, и я рад. Пойду-ка домой. Ты, однако, заходи. Бабушка тоже видеть тебя хочет.

И, все так же постукивая посохом, мелкой, суетливой походкой спешит к выходу.

Есть какая-то непостижимая, удивительно обаятельная доброта, мудрость, человечность в натуре казахских стариков. Я не знаю, что это, откуда, но всей своей жизнью, добротой и ласковой внимательностью заронили эти старики в наши души что-то хорошее, доброе. Вот придут они к нам, спросят о том о сем, и у нас уже щемит сердце, мы становимся серьезней, взрослей, что ли. И нам становятся еще дороже, еще роднее наши земляки, наши старики, наш аул.

Казалось бы, кто я и что я для дедушки Сергали или для других стариков. Аульный мальчишка, к тому же не смуглый, круглоголовый соплеменник, а, как говорится, иной по природе и языку. Ну, играл, бегал с их внуками, по аулу мотался, в школе учился, а теперь живу в городе, работаю где-то, ну и бог со мной... Так нет, он пристально и ревностно следит за каждым моим шагом, он знает обо всех моих делах, он считает себя ответственным за каждый мой поступок или проступок, радуется моей радости, сочувствует моей беде и искренее желает, чтобы я был хорошим человеком, добрым и честным и к тому же не забывал свой край, свой родной аул.

И эти старики становятся в чем-то мерилом твоей жизни, твоей совестью и честью. И надо еще заслужить их благословение. А потом попробуй обмани их надежду, их доверие, тебя всю жизнь будет сжигать стыд, будто ты предал родного отца.

Прошлым летом, приехав в аул, я узнал, что дедушка Сергали занемог. Я зашел к нему домой. Он сидел, по обыкновению, у окошка передней комнаты на старенькой алаше в черных плюшевых штанах и камзоле, в неизменных мягких сапожках. Рядом лежал черный посох. Старушка жена, обложенная подушками, восседала на кровати, вязала пуховую шаль, держа спицы у самых глаз. На стене потикивали совсем уже почерневшие от времени часы. На потускневшем циферблате сиротилась одна часовая стрелка.

— Эй, глянь-ка, кто к нам пришел, а? Проходи, проходи, дорогой.— Дедушка Сергали чуть подвинулся, показал на место рядом с собой.

Старуха заулыбалась, отчего ее маленькое личико, сплошь покрытое морщинками, еще больше сморщилось, и, постанывая, держась одной рукой за поясницу, прошарка-

ла в угол, где у нее испокон веков стоит такой же древний торсук[1]. Я, как положено, отдал дедушке салем. Он расспрашивал о моем здоровье, потом о здоровье дочери, всех родных и знакомых. Старуха поднесла мне большущую деревянную чашу с кумысом.

Я пил кумыс, а дедушка Сергали уже в который раз начал рассказывать о том, как я в детстве здорово бегал, был настоящим жел-аяком — быстроног как ветер, и однажды во время игры, должно быть чем-то недовольный, выхватил из рук обидчика мяч и побежал во весь дух в сторону Ишима. За мною с криком и улюлюканьем погналась ватага мальчишек вместе с собаками, но никто, даже аульные собаки, не могли меня догнать. Рассказав об этом случае, который почему-то в моей памяти не остался, дедушка вздохнул и, как всегда, заметил: «Сглазил тебя кто-то. Да, да, точно, сглазил».

Я осилил лишь половину чаши и отставил ее. Дедушка Сергали удивился:

— Что так? Или кумыс моей старухи нехорош? Или у вас, городских, кишка тонка стала, а? Э, плохо, плохо... А знаешь, сколько мы, бывало, в молодости за день кумыса выдували? По пятнадцать чашек. Что, не веришь? Утром встанешь — одну-другую выцедишь. Потом соберемся — мальчишки, подростки — и айда на стригунках в соседний аул. И там угощают кумысом. Поиграем, порезвимся и давай скакать в следующий аул. Там тоже опрокинешь пару чашек. За день обскачешь пять-шесть аулов. Приедешь вечером, посчитаешь, бог ты мой, пятнадцать чашек — целое ведро кумысу за день выпил! Каково? — И дедушка весь затрясся, радостно рассмеялся.

— Почитайте, аке, стихи Шала-акына,— попросил я.

— Э,— почему-то грустно улыбнулся дедушка.— Большой акын был Шал, большой... Много мудрых слов нам оставил.— И, глядя по-старчески затуманенными глазами куда-то вдаль, часто покашливая, дедушка Сергали читал мне Шала-акына.

Акын Тлеуке, прозванный в народе Шалом, жил двести с чем-то лет назад на берегу Ишима в каких-нибудь тринадцати верстах от нашего аула. Его стихи о быстролетной юности, о тоскливой старости, о смерти, о женщинах знают в наших краях все старики.

— А теперь прочтите что-нибудь свое.

---

[1] Сосуд из козьих шкур для жидкости *(каз.)*.

— Я прочту тебе только одно стихотворение. А ты запиши, запиши.

Дедушка Сергали извлек из-за пазухи знакомую мне пухлую записную книжку вместе с какими-то квитанциями и рецептами, полистал пожелтевшие странички, заполненные арабской вязью, и откашлялся.

— Вот, записывай. «Слово старца Сергали, обращенное к молодым».

В «Слове» говорилось о том, что молодость подобна яркому цветку, ее нужно беречь и ценить, ибо она полна радости и счастья. В молодости нужно учиться, стремиться к знаниям, не прожигать впустую жизнь, потому что не успеешь оглянуться, как подкрадется беззубая старость, похожая на заросший жимолостью глухой овраг.

— Ну как? — спросил он.

— Верно говорите, аке. Очень верно.

Дедушка помолчал, полистал свою затрепанную книжицу-неразлучницу, показал ее мне.

— Вот это все, что я после себя оставлю. Состояния никакого не нажил. А жить осталось уже немного...

— Ну что вы, аке...

— Нет, нет, я точно говорю. Скоро уже, скоро, я чую... Здесь записаны два дастана и некоторые мои стихи. Не все, конечно. Кому нужен бред старика? А кое-что, может, и пригодится. Может, почитает кто и скажет: вот так, бывало, говаривал старик Сергали...

Дедушка уронил голову на грудь, зашелся в кашле, потом задышал тяжело, хрипло. Задумался.

Одинокая стрелка на часах незаметно переползла на соседнюю цифру.

— И-и, ал-ла-а...— вздохнула старуха.

Дедушка очнулся.

— Надолго приехал?

— Недельки две, пожалуй, побуду.

— Э, хорошо... Захаживай, кумыс пей, дорогой. Спасибо, что нас, стариков, не забываешь...

Грустно как-то стало. Я простился, встал, тихо прикрыл за собой обитую войлоком низенькую дверь.

И вот письмо...

Уходят старики от нас. Нет уже в живых Жайлаубая, Сейтходжи, Нуркана, Абильмажина. И с их уходом все более пусто становится на душе, вместе с собой забирают они в черные объятия земли и частицу нашей души.

Приеду летом в аул, пройду мимо опустевшего призе-

мистого домика у дороги, постою молча у черного холмика с серым камнем-стояком. А потом пойду по широкой аульной улице, и навстречу мне выйдут из домов юноши, подростки и совсем еще малыши, которых я узнаю лишь по сходству с их отцами. Они учтиво протянут мне обе руки — почтительный салем.

— Здравствуйте, ага!

А иные эдак солидно, врастяжку, ломающимся баском скажут:

— Ассалаумагалейкум!

«Вот, я уже ага этим юношам»,— думаю я и грустно и радостно улыбаюсь.

— Алейкум салем, мой дорогой. И тебе мир, аул мой!

1971

ГОЛОС ОСЕНИ

I

Лишь к обеду на четвертый день командировки он наконец уладил все, казалось бы, нескончаемые дела и, довольный, вышел из гостиницы. Надо было купить обратный билет в тихой, укромной кассе неподалеку, заглянуть в кое-какие магазины да и просто поразвеяться, поразмяться немного перед дорогой. Голова еще гудела от длинных и заумных речей за очередным «круглым столом», от писаний протокола и резолюций, от бесчисленных звонков, от спешных набегов между короткими перерывами в редакции и издательства, от новых и совсем не обязательных знакомств в сумрачном ресторане Центрального Дома литераторов.

Середина октября в Москве выдалась на редкость теплой и солнечной. Газеты писали о каком-то циклоне, прорвавшемся невесть откуда в европейскую часть страны, знакомые при встрече первым долгом заговаривали о небывалой, прямо-таки невообразимой, непостижимой осени, и даже суетливый приезжий люд, многоликим потоком захлестнувший узкие тротуары, казался менее напористым и озабоченным, чем обычно.

Роберт Александрович неловко вклинился в человеческую гущу, устремившуюся в сторону Красной площади, приноровился к монотонно хляскающему шагу толпы, но вскоре сообразил, что сегодня ему спешить, собственно, некуда, а потому нет смысла заряжаться сумасшедшим темпом, и, решив так, остановился возле залитого солнцем князя Долгорукого, с облегчением снял плащ.

«Хорошо,— сказал он сам себе.— Ха-а-раш-шо!»

Так он говорил всегда, когда на душе было ясно и покойно.

Вечером предстояла встреча с сыном и невесткой. Он представил себе, предвкушая блаженную радость, как долговязый Арно, поминутно теребя совершенно нелепую

на его мальчишеской физиономию рыжую бороденку, будет добродушно-снисходительно басить к месту и не к месту: «Ничего, па-ап... ничего... не волнуйся», как прехорошенькая Маринка, вся сияя простосердечием и любовью, начнет поддакивать своему ненаглядному и расспрашивать — конечно, вежливости ради — о его, свекра, творческих успехах, как они потом все вместе на прощание славно посидят в соседнем ресторанчике, филиале «Арагви», после чего молодые проводят его на аэровокзал.

Времени, казалось, было уйма. Он с опаской одолел широкую улицу, по которой, словно стадо чудовищ, в несколько рядов разъяренно неслись машины всех мастей, увидел над угловым зданием трепыхавшееся полотнище «Выставка литературы ГДР» и зашел в магазин «Дружба». В глазах зарябило от ярких, пестрых, глянцевитых обложек; изобилие и неуемная щедрость полиграфического искусства так ошеломили его, что он не сразу мог сосредоточиться; потом напрочь застрял у раздела беллетристики, разговорился с древней словоохотливой старушкой, набравшей едва ли не полного Дудена и растерянно соображавшей теперь, каким образом она дотащит все это сокровище до дома. Тут он спохватился, вспомнил про билет, запихнул в портфель десяток книг и заспешил в кассу.

Здесь, как всегда, народу было негусто, но билетов на ночной рейс не оказалось. Пришлось взять на следующие сутки, и то с посадкой в Петропавловске. Он расстроился, ибо на собственном опыте познал, как тягостно, невыносимо одиночество в большом городе.

Сына заметил еще издалека. Высокий (и в кого только вымахал?), плечистый, патлатый, в кожаной куртке нараспашку, он небрежно привалился к колонне у входа в гостиницу и глядел поверх снующей взад-вперед толпы. Рядом стояла черноглазая Маринка в джинсах, в грубом черном свитере, с сумкой на ремне через плечо и, облизывая по-девчоночьи губы, ела мороженое.

— А вот и я!

— Здра-а-авствуйте-е...— радостно-изумленно пропела Маринка, и ямочки заиграли на ее тугих щечках.

— Так, так...— ухмыльнулся Арно.— Подводит тебя в Москве твоя пунктуальность, па-ап.

— Что? Я разве опоздал?

— Опоздали, опоздали,— заверещала Маринка, кокетливо вскидывая бровки.— Мы вас уже четверть часа ждем.

— Ну, виноват... виноват, ребята.

Он передал тяжелый портфель сыну, нашарил в кармане пропуск и направился к важному швейцару.

— Постой, па-ап...— Арно встал сбоку.— Билет-то купил?

— Купил, да неудачно. На завтрашний рейс.

— Вот здорово! — Маринка схватила свекра за рукав.— Просто прекрасненько! Мы решили...

— Подожди, зайчик...— с легкой укоризной пробасил Арно.— Все складывается хорошо. Выглядишь ты, прямо скажем, не ахти. И будет здраво, если...

— ...если вы... если мы вместе... сейчас... сейчас же,— от нетерпения Маринка начала заикаться.— Да, да, сейчас же поедем к тете Нюре. А то нехорошо получается. Правда же, Арик, нехорошо? Она вас ждет. Там и по лесочку погуляете, воздухом подышите.

— Ка-ак? — Он развел руками, понемногу заражаясь озорной радостью Маринки.

— Оченно просто,— деловито гудел над ухом Арно.— Бери чемодан, расплатись за номер, и мы тотчас отправимся на Ярославский вокзал. Через час будем у тети Нюры. Завтра отдохнешь, побродишь по ельнику. Погодку, кстати, тебе гарантирую. А вечером приедем за тобой и проводим.

— Хм-м... Все рассудил, барбудос?

Арно дотронулся до курчавившегося пушка на бороде.

— Все!

— Ай, славненько-о! — чуть не взвизгнула Маринка.— Вот хорошо-то будет!

Он подмигнул ей и решительно направился в номер за вещами.

II

Была пятница, и дачники с тяжелыми сумками, мешками, баулами валом валили за город. В битком набитом вагоне электрички Арно высмотрел-таки место для отца, потом, уговорив старуху с двумя большими корзинами чуть потесниться, усадил напротив Маринку, а немного погодя и сам пристроился рядом. «Ловкач! — подумал про себя отец.— Обтерся в большом городе. И женитьба, кажется, пошла ему впрок. Сколько уверенности в мальчике!» В мыслях своих он по-прежнему называл его «мальчиком»: все не укладывалось в уме, что Арно нынче стукнуло двадцать один и что он уже муж. Было интересно наблюдать даже со стороны, как Арно стал от своей любви,

от своего счастья даже чуточку высокомерен, показно небрежным. Видно, все еще не в силах был скрыть тайное довольство своим новым положением — положением мужа. А Маринка в своей непосредственности и не пыталась скрыть свой восторг избранником и, озаряясь всплесками наивной радости, трепеща пугливыми ресницами, часто взглядывала на него преданными глазами.

— Ну, как, Роберт Александрович? — спросила она.— Устали?

— Немножко есть.

Разговаривать, однако, в этой толчее и грохоте было невозможно, и все трое, переглянувшись и улыбнувшись друг другу, занялись каждый своим делом. Арно, вытащив из-за пояса потрепанную книжицу, погрузился в чтение; Маринка достала из сумки рукоделье и принялась довязывать шерстяной шарф на двух огромных спицах; Роберт Александрович, откинувшись на спинку сиденья, прикрыл глаза и предался думам.

...Зимой, после сессии, Арно прилетел на пять дней домой. Каникулы эти Роберт Александрович ждал с нетерпением. Он загодя распланировал предстоявшие дела, предельно разгрузился, перенес несколько лекций, убрал папки с рукописями в шкаф, съездил на базар, набил холодильник всякой всячиной и приготовился все эти дни провести неразлучно с сыном.

Все было как всегда. Тихая, строго прибранная квартира сразу ожила, наполнилась возбужденными голосами и смехом; ошалело заливался телефон; гости — приятели отца и старые дружки сына — заявлялись один за другим; стол на кухне был заставлен яствами; до хрипоты свистел чайник; и запах крепкого кофе струился по комнатам. Поздними вечерами, оставшись наконец одни, отец с сыном устраивались в креслах в просторном кабинете, слушали мудрого в своей неземной печали Баха, листали книги, рассказывали друг другу о своей жизни, и приятны им были эти тихие, размеренные беседы, перемешанные общими воспоминаниями, это созвучие двух душ, и казалось, что они никогда не расставались и что так будет всегда. Однажды даже выбрались в горы, целый день бродили по окрестностям Медео, находились до истомы в теле, до ломоты в суставах, воздухом надышались до сладкого звона в ушах, а вернувшись домой, Роберт Александрович сготовил дунганскую лапшу — любимое блюдо сына,—

и оба, уставшие, довольные, испытывали нечто похожее на блаженство.

И все же Роберту Александровичу чудилось, что сын чем-то вроде озабочен. Он несколько раз ловил на себе его долгий, обеспокоенный взгляд, видел, как Арно рассеянно покусывал нижнюю губу, замечал и непонятное, отсутствующее выражение в глазах. «Истосковался мальчик по домашнему теплу,— решил отец про себя.— Осточертело, конечно, в общежитии. А тут и каникулы какие-то куцые — пять дней».

Накануне отъезда Арно зашел в кабинет, приглушил бормотавший в углу телевизор, плюхнулся на диван и с мрачной решимостью уставился на отца, разбиравшего за письменным столом вечернюю почту.

— Ну, вот что, па-ап... Летом я... женюсь...

Занятый чтением длинного и запальчивого письма одной несостоявшейся поэтессы, Роберт Александрович рассеянно откликнулся:

— Вот как?.. А почему не зимой?

— Я серьезно говорю,— буркнул Арно.— Летом... Женюсь... Понимаешь?

— Понимаю... Ну, и кто она?

— Кто?

— Та, на ком ты... женишься.

— А-а-а... Маринка!

— Хм-м... Ответ исчерпывающий... И что она за птичка, сия гражданка Маринка?

— Она не птичка, а очень хорошая девушка. Студентка ГИТИСа.

— Чего, чего?

— ГИТИСа. Театрального института.

— Ого-о!

На этом насмешливость иссякла. Испарилась. Роберт Александрович почувствовал, как холодная волна прокатилась по спине, и слабость ударила в ноги. Он отбросил занудливое письмо обиженной на весь белый свет поэтессы и пристально посмотрел на сына. Арно сложил ладони, зажал их между коленями и беспомощно сгорбился на диване. Роберт Александрович все еще пытался свести нежданный разговор на шутку.

— Вспомнил, кстати, анекдот. Встречаются две пожилые советские немки. «Фрида, Фрида, снаиш, Матильда вышла самуш»,— говорит одна. «Та-а?! — удивляется вторая.— Са кому?» — «Са рыший немец са таму».

Роберт Александрович хотел было уже рассмеяться, но заметил кривую усмешку на лице сына и быстро раздумал.

— Спятил? — спросил через паузу.— Рехнулся?

— Не думаю.

— Уж не для того ли ты и приехал, чтобы порадовать этой вестью?

— Ну, отчасти... в некотором роде — да.

— Ясно-о...

Черта с два ясно. Всерьез, видно, вляпался. Нарвался на вертихвостку и побрел на поводу, будто теленок... Лицо Арно окаменело. Губы плотно сжались. Кадык судорожно дернулся. Глаза отрешенно уставились в стену. Плечи повисли.

— Что-то не больно похож на жениха.

— Почему?

— Да-а... растяпистый какой-то... лопоухий.

— Ну уж позволь не согласиться с тобой. Жених как жених. Не хуже других.

— О, в рифму заговорил. Значит, симптом серьезный. Что ж... выкладывай давай.

А выкладывать оказалось нечего. Сыну все было предельно ясно, и на все вопросы и сомнения отца у него находились готовые, обезоруживающие ответы.

В самом деле, какие, собственно, могут быть преграды? Самое главное и абсолютно очевидное — это то, что Маринка и он друг друга любят. Фактор, с которым нельзя не считаться. Это раз. Далее. Ему, видите ли, уже двадцать один... ну, вот-вот будет. Марине без малого двадцать. Вполне взрослые люди, не так ли? Особенно если учесть нынешнюю акселерацию. Рано или поздно он все равно женится, так уж устроен мир, а она выйдет замуж. Значит, коли конечный результат предопределен, какой резон тянуть, откладывать, чего-то ждать? Тем более что через полтора года он закончит институт, станет, надо полагать, приличным инженером транспорта, а Маринка за это же время получит диплом. Следовательно, будущее ясно и определенно. Это два... или три, неважно. Дальше что? Ах, да... где будут жить... Да хотя бы у тети Нюры, у нее вполне симпатичный домик в дачном поселке по Ярославской железной дороге. Далековато, конечно, туда-сюда ежедневно два часа езды, но ничего, терпимо, для Москвы это в порядке вещей. А потом в крайнем случае можно и комнату снять. Та-ак... Что еще? На что жить будут?

Тоже не проблема. Две стипендии — уже кое-что, ну, а там... родители подкинут, не без этого.

Роберт Александрович, слушая доводы сына, слегка опешил: до чего все просто! И возразить нечем. Странно: отчего у взрослых, у сорока-пятидесятилетних все так сложно, запутанно, трудно? Почему же многие его сверстники и сверстницы, точно мухи в паутине, увязли и трепыхаются в каких-то неразрешимых комплексах, психологических несовместимостях, в тенетах недоразумений, измен, взаимных обид? Простота и ясность — это что, удел юности? Привилегия неопытности? Или стиль времени? Печать всемогущего рацио? Сколько раз приходилось ему слышать от своих же студентов: не усложняйте, жизнь — проста. Вот и у его Арно вся жизнь, все будущее как на ладошке. Все взвешено, все запрограммировано. И потому сидит теперь перед ним на диване и искренне недоумевает, с какой стати его отец вдруг опечалился.

— Ну, допустим... А все же конкретнее, в деталях как ты все это представляешь?

— Конкретно? — Арно прищурился.— В деталях я как раз и хотел с тобой посоветоваться. Я мыслю примерно так: месяца через два подадим заявление, а в июне, как сдадим сессию,— свадьба. Ты приедешь, с Енисея — Маришкина мама, и вместе с друзьями соберемся у тети Нюры. И все будет о'кей.

— Покажи фотографию.

— Чью? Маринкину?.. У меня ее нет.

— Ну, хоть расскажи, какая она. Должен же я знать или нет, по-твоему?!

— Не волнуйся. Нормальная! Черноглазая, круглолицая... Веселая, добрая... Что еще? Рост — метр шестьдесят, вес — пятьдесят один кэгэ...

Роберт Александрович скривился, как от зубной боли, смерил сына с ног до головы долгим взглядом, отметив про себя горделивое и одновременно глуповатое выражение на его лице, и вдруг начал хохотать. Он хохотал долго, откинувшись на спинку кожаного вращающегося кресла, и Арно хотел было уже оскорбиться, но, взглянув на неожиданно по-ребячески развеселившегося отца, тоже расхохотался.

Наконец отец успокоился, вытер слезы и сказал грубовато-ласково:

— Балда ты!..

Утром встали рано: самолет вылетал в половине восьмо-

го. До аэровокзала шли молча. Город еще только пробуждался. В серой изморози устало мерцали фонари. На перекрестках трехцветно мигал в пустоту улиц семафор.

У стойки толпились сонные пассажиры: началась регистрация. Было грустно, тягостно. За стеклянными стенами зыбилась рассветная муть. Колыхаясь, выкатил на перрон озябший за ночь автобус.

Роберт Александрович обнял сына, похлопал по спине:

— Бывай! Пиши, позванивай. Держи меня в курсе. Может, за эти месяцы еще и передумаете...

— Ни за что!

— Ну, хорошо... Смотрите сами. И напиши... маме.

Арно недоверчиво посмотрел на отца сверху вниз, недоуменно повел плечом.

— Да, да! Непременно!.. Адрес у нее прежний.

— Ладно, ладно,— поспешно закивал Арно, заметив, как обмяк, посерел вдруг лицом отец.— Напишу.— И ловко влетел в отходивший от перрона автобус.

III

— Па-ап, очнись. Приехали!

Густой, настоянный воздух упруго ударил в лицо. По мосту по шатким, продавленным лестницам, гулко топоча, прошли торопливые дачники. Электричка позади дернулась, прогрохотала и исчезла во мраке ночи.

И плотная завеса тишины накрыла окрестность.

Сразу же за железнодорожным полотном начинался величавый, душистый лес. Громадные ели стояли хмуро и тесно. Сладостно-бодряще пахло сырой нетронутой землей, сумрачным лесным раздольем, приморожeнным сеном, лишаем, гнилыми сучьями.

Причудливо извивалась узенькая просека; по ней легла блеклая тропинка, устланная по краям порыжелой хвоей, и чудилась эта просека бесконечной, а тропинка, казалось, должна была вот-вот оборваться, исчезнуть в косматых дебрях ельника.

Шли тихо, молчали, как бы боясь нарушить фантастическую тишину, тяжелую лесную дрему неуместным человеческим словом. С безнадежной робостью освещали тропинку редкие лампы на столбах, бессильные пронзить плотную темень. Сквозь застывшие верхушки елей отрешенно мерцали звезды. Тихо. Одиноко. Чуть-чуть боязно.

Но именно это восторгало и манило, как неодолимо манит всякая жуть, все неведомое.

Во тьме под кущами деревьев, за высоким забором угадывались силуэты добротно срубленных дач, и Маринка, семенившая рядом с Робертом Александровичем, почтительным шепотом называла их именитых владельцев — политических комментаторов, режиссеров, литераторов; потом прошли узенький мостик над заросшей осокой балкой, откуда тянуло промозглой сыростью; минули обелиск, погруженный в суровую задумчивость, петляли по полузаглохшей тропинке, свернули на дорогу, изрезанную глубокой колеей, и наконец вышли к неказистому дому, в котором, должно быть на кухне, сиротливо горел свет.

Низенькая времянка — обитель молодых — темнела в глубине сада.

— Прошу! — Распахнув дверь, Арно сделал широкий жест.— Добро пожаловать в наш шалашный рай!

Рай был тесен, но с претензией на уют. На стене за кроватью висели в продуманном беспорядке разные безделушки и маски со свирепым выражением. У изголовья под почерневшей от времени корзиной мягко, вполнакала, светила, создавая интим, матовая лампа. На самодельных полках аккуратно стояли книги. В углу на колченогом столике из высокого, узкогорлого кувшина высовывалась ветка осины с багряными листьями. Всю наивную прелесть и трогательную гармонию молодого рая нарушала громоздившаяся посередке ржавая печка-«буржуйка» с жестяной трубой, выведенной наружу через форточку. Что-то будто стронулось в душе Роберта Александровича при виде этой печки и тазика с щепами и чурками рядом, что-то давно забытое, но очень дорогое, сокровенное ворохнулось в затаенном уголке памяти, и непонятная грусть захлестнула его, но тут, шаркая отопками на босу ногу, вошла Анна Михайловна в просторном фланелевом халате, в наспех наброшенной на плечи шали и радостно всплеснула руками:

— Здравствуйте, сват! С приездом! А мы-то уж боялись, вы к нам так и не заглянете. И даже расстроились. Ну, слава богу, приехали, значит... сподобились.

Роберт Александрович обнял ее неумело, смущенно.

— Как вы, Анна Михайловна? Что здоровье? Как настрой души?

— И-и, сват, что про нас-то спрашивать? Какое здоровье, такой и настрой. Скрипим помаленьку, небо коптим,

и ладно. Все болит, все как чужое. Ну да ничего-о, ничего-о... Все же лучше, чем смертушка.

У Анны Михайловны усталые, точно вылинявшие глаза и печальная, как бы навечно застывшая улыбка. Опустилась на низенькую табуреточку перед «буржуйкой», заправила седые космы под шаль, сложила тяжелые, изнуренные работой руки на колени, но тотчас спохватилась, откинула заслонку, запихнула в прожорливую пасть печки горсть щепок. Посмотрела, как пламя робко, словно прилаживаясь, облизнуло древесный мусор, как занялось, вспыхнуло вдруг радостно по краям, и подложила еще несколько сухих чурок, прислушалась к зарождавшемуся в утробе «буржуйки» ровному гуду.

— Вот так и живем, сват. О молодых наших не беспокойтесь. Добрые ребятишки, что там говорить! И все у них покуда ладненько. Вот только у Марины каждый божий день репетиции, репетиции, спектакли. Пока возвернутся — весь поселок спит. Одна я дневалю. Все прислушиваюсь, не прогрохочет ли электричка, не скрипнет ли калитка. Как же?.. Надо ужин подогреть, печку подтопить. Ночи-то знобкие. И хоть молодые, но тоже, чай, устают. Приятно небось, когда тетка встречает-привечает. И мне поспокойнéй. Ничего, сват, ничего... Живем помаленьку, и слава богу... Сами-то как? Все книжки пишете?

— Все так же, Анна Михайловна. И книжки, случается, пишу, и на совещаниях вот выступаю.

— Тоже дело... Каждому ведь, сват, свое... Да-а...

Судьба, казалось, только и делала, что испытывала Анну Михайловну на прочность. С пятнадцати лет круглой сиротой, да еще с крошечной сестренкой на руках, осталась в глухой сибирской деревушке, с ранней рани сполна изведала все лишения. Потом — по слепой любви ли, или обстоятельства вынудили — пошла замуж за непутевого Егора, плотника, в поисках легких харчей да неведомой дали забредшего случайно в их колхоз. Должно быть, неплохим плотником был Егор, но неуемная русская страсть к перемене мест, к скитаниям по белому свету бросала его, как он сам любил петь, «по долинам и по взгорьям». Так и мытарилась с ним Анна Михайловна по разным стройкам, куда иголка, туда и нитка, мыкалась по чужим углам, уповая на зыбкое счастье и плотницкую удачу, которые, верилось, вот-вот улыбнутся им из-за туч житейских неурядиц. Перед самой войной образумился Егор, спохватился, облюбовал себе место в задумчивых лесах

Подмосковья и начал ладить дом. Жизнь обретала смысл и красу, уже вовсю лопотала дочка, запоздавшаяся из-за бесконечных странствий, радость семьи, но тут полез «германец» (Роберт Александрович при этом слове улыбался про себя, угадывая наивную деликатность Анны Михайловны, старавшейся избегать при свате слова «немец»), все вокруг заколебалось, ушел Егор на фронт, чтобы вскоре погибнуть смертью храбрых, и осталась после него щебетунья-дочка с большими удивленными глазами, остались недостроенный дом да немудреный столярный инструмент в обшарпанном деревянном сундучке.

О дальнейшей своей жизни Анна Михайловна рассказывала нехотя, вскользь, как о чем-то недостойном внимания. Дальше и не жила вроде, а только надрывалась, жилы тянула. Надо было сестренку в люди вывести, дочь растить, одолевать беды да болести, нищету да горести, задавить в себе бабью тоску, смириться с горькой вдовьей долей. Вышла было еще раз замуж, да не замужество то было, а одно недоразумение, глупость. Какое это житье, когда тело иссохло и в душе все спеклось, потухло?..

Потом все же полегчало, жизнь маленько наладилась, выпрямилась, и дни-годы замелькали, как спицы в прялке. Дочка замуж вышла, зятя привела, внуками наградила. Да только дом Егоршин так и остался недостроенным, и все заметней донимала теснота. Пришлось Анне Михайловне на кухне обосноваться, сколотить себе топчан за печкой. И на пенсию ушла, а хлопот-забот ничуть не убавилось... какой там, вроде бы еще больше стало. Но ничего-о... ничего-о, слава богу, жить-то можно. Дочка с зятем все надеются квартиру в казенном доме получить. Теперь и Маринка, любимица племянница, свою жизнь начинает строить. Веселая, ласковая, не подбитая горестями да нехватками, родниковая душа... вот она-то, наверное, счастливая будет. Да обойдут ее все беды-напасти, все хворости-страсти...

Еще летом, на свадьбе, понял Роберт Александрович, что жизнь в этом дворе всецело держится на незаметной, безотказной Анне Михайловне и что именно ее душевная щедрость и мудрая неназойливая доброта, замешенная на женском терпении, и станут той надежной опорой, в которой — особенно поначалу — так нуждается всякая молодая семья. И утишилась тогда его душа, успокоилась.

— Что же это я расселась? — Анна Михайловна поднялась, взяла со стола чашку.— Пойду-ка соленые по-

мидоры из кадки принесу, капустки наскребу. Марина, тащи с плиты чугунок с картошкой.

— Да не хлопочите, Анна Михайловна,— взмолился Роберт Александрович.— Не надо ничего, кроме разве что чаю. Ну, кто на ночь-то ест?

— Что вы, что вы, сват,— строго возразила Анна Михайловна.— Все должно быть как у людей. Не каждый день ведь встречаемся.

Все забегали, захлопотали, несмотря на поздний час, заставили стол разными соленьями и вареньями, «буржуйка» раскалилась, источала жар, гудела все веселее, из-под двери врывался, клубясь, холодный воздух, в низкой времянке становилось оживленно и немного бестолково, как обычно при встрече, но Роберт Александрович никак не мог сосредоточиться и лишь рассеянно улыбался, вполуха слушал возбужденное щебетание Маринки, басовитые распоряжения Арно и, глядя на натруженные, со старческими пятнами руки Анны Михайловны, на ее скорбные складки на давно увядшем лице, на ржавую печку, неровно воспламенявшуюся изнутри, прислушиваясь к непривычной лесной тишине за низеньким окошком и вдыхая терпко-сладкий дымок от березовых щеп и смолистой бересты, невольно уносился мыслями далеко-далеко, то к той промозглой избушке в заснеженном казахском ауле, затерявшемся в березовых перелесках, то к памятной мазанке на юге, в пыльном районном центре, где он учительствовал когда-то...

IV

Сон не шел.

Разбежались мысли. Все спуталось — прошлое, настоящее...

Ушла, пожелав спокойной ночи, Анна Михайловна, ушла, длинно зевая и потирая онемевшую поясницу, на свой топчан за печкой, благословляя еще один прожитый день жизни; отправились спать на веранду и молодые. Спокойные, желанные друг другу, с душой, не взбаламученной, не отягощенной памятью и невзгодами. Ворочался Роберт Александрович на скрипучей деревянной кровати, смотрел в сумрак землянки, будто сквозь даль времени, прислушивался к треску остывающей «буржуйки». Всплыло в памяти библейское: что было, то и теперь есть, что будет, то уже было.

Да, да... все это было. Был — хоть и, кажется, в другом мире — тот окруженный лесами тихий аул в стороне от всех дорог, с запомнившимися на всю жизнь запахами дыма, кизяка, овчины и перебродившего айрана. Была та одиноко стоявшая между интернатом и школой неказистая избушка, сработанная местным плотником в спешке для каких-то хозяйственных надобностей. И было это тягучее, зыбкое, подавленное состояние, о котором он, Роберт, потом долго помнил. И еще были недоумение и испуг в глазах молчаливой мамы.

Избушку в том ауле не успели ни оштукатурить, ни обмазать, как поселили в ней — осенью сорок первого — семью Эрлихов, приехавших сюда с Поволжья. Отец вознамерился было сложить плиту да пристроить из жердин нечто похожее на сенцы, но так и не дошли руки: забрали его в глухое ненастье спешно и неожиданно в трудовую армию.

И сразу же — хорошо это помнится — обрушилась зима. Тяжелые тучи угрюмо проплывали над аулом, цеплялись за верхушки деревьев. Истошно каркали над березовым колком вороны, разом и гулко взлетали в мглистое небо, кружились плотной стаей над притихшими мазанками посреди угрюмого леса. Завыла на все лады метель, наметая невиданные сугробы, по трубы заваливая дома. Ветер насквозь продувал избушку, шевелил мшистые космы между бревнами, пар клубился по стенам, оседая инеем. Сумрачная муть лилась в окошко, и, казалось, весь мир погрузился в промозглую ночь и не будет ей конца до самого скончания века.

Что бы с ними, эвакуированными, стало, не пожалей их люди аула, с которыми и общаться-то толком не умели по причине взаимного незнания языка? Когда уже жить стало совсем невмоготу и отчаяние заклешнило горло, заглянул к ним аульный кузнец, сивобородый Сеит-ходжа, повздыхал, покрякал, грудь, вечно открытую, пятерней поскреб, и в тот же день приволок «буржуйку», бог весть каким образом очутившуюся в этом краю. Потом колхозный баскарма определил пришлую женщину с непривычным именем Гермина на молочную ферму — за телятами приглядывать, коров доить, а директор интерната, на свой страх и риск, распорядился кормить ее пугливого мальца в скудной интернатской кухне.

С той метельной зимы и ведет точку отсчета своей сознательной жизни на земле Роберт Эрлих. Все, что было

до этого,— лишь неяркие блики, зыбкие видения полузабытого сна. Ему неизменно казалось, что жизнь его началась именно здесь, в лесном ауле с непосильным поначалу для произношения названием — Алка-агаш, в маленькой избушке с покореженной «буржуйкой» посередине.

Уже следующим летом избушку с помощью аульчан подладили, оштукатурили, обмазали, а мать, раздобыв где-то известку, побелила ее снаружи, и принарядилась избушка, повеселела, издалека притягивала взор, и называли ее в ауле не иначе как «белым, точно яичко, домом Гермины». Тогда же и печку сложили, вывели трубу над покатой крышей, укрытой дерновыми пластами, а «буржуйка» перекочевала на ферму, в закуток для доярок...

До чего цепка детская память! Сколько уже лет прошло, сколько всякого случалось на немалом уже его веку, а поди ж ты, всё в душу врезалось: и помятая «буржуйка», и свирепые, не чета нынешним, метели, и ручная мельница, и пожухлые колоски на раскисшем весеннем поле, и сахарная кость, поданная каким-нибудь сердобольным аксакалом во время аульного тоя.

Понемногу развеялся, истаял испуг в глазах мамы, а недоумение осталось. Потом, когда пришла весть о смерти отца и аульные женщины набились в тесную избушку, чтобы вместе поплакать и утешить «немку-марджу», которой выпала та же судьба, что и им, недоумение сменилось болью и скорбью.

Единственным смыслом ее жизни оставался Роберт, и он это понимал без слов, угадывал чутким мальчишеским сердцем. Слишком много материнских надежд угасло, но последняя — может, самая сокровенная — казалось, оправдывалась: хорошо учился Роберт, не отставал от сверстников, и был любим в ауле, и в институт пробился сам, без помощи и поддержки, и уже мечталось о скорой неразлучной, какой-то другой, новой жизни.

Не суждено было.

Не задалось.

Третий курс заканчивал Роберт, когда чуть в стороне от аульного кладбища на бугре, рядом с межой, отделявшей правоверных от иноверцев, вырос сиротливый холмик...

С той поры чувство гнетущей, необъяснимой вины не покидало Роберта.

...Что было, то и теперь есть, что будет, то уже

было. Неужто и впрямь таков вечный круговорот бытия?..

Да-а... и это было. Мазанка, наполовину вросшая в песок; пыльная поземка, змеившаяся за подслеповатым, почти у самого потолка, окошком; длинная, похожая на караван-сарай школа на краю большого южного села, за которым простиралось бескрайнее кукурузное поле.

Чудилось: все то же. Все сначала. Все это уже было. Убогая обстановка в убогой мазанке-землянке. Весь уют — поставленный торцом и застеленный ярким полотенцем фанерный ящик, служивший одновременно и этажеркой, и туалетным столиком. В углу — железная койка с провисшей сеткой, взятой напрокат из интерната. В середине одолженная у соседей кроватка-качалка — обитель пискуна Арношки. У входа — изрыгавшая едкий дым печка, которую топили сухими кривыми сучьями — боялычом.

Все то же, да не совсем. Убогость семейного гнездышка не замечалась; необжитость особенно не донимала, не омрачала радужный настрой. Все было впереди, а то, что было впереди, мерещилось прекрасным.

Работали одержимо. Почти с утра до ночи пропадали в школе. Нагрузка — совершенно фантастическая. Роберт преподавал в казахской школе русский язык и литературу, в русской школе — казахский язык, в вечерней — немецкий. В две смены работала и Софа. И при этом непостижимым образом успевали вести еще уйму кружков, участвовать в районной самодеятельности, выступать на разных конференциях, диспутах, соревнованиях. Лихорадочное было время! Когда случались «окна», Роберт забегал домой, спешно растапливал печь, варил свой неизменный рисовый суп, брал у соседей Арношку, закутывал его по грудь в одеяло и сажал на кровать, обкладывая с двух сторон подушками. Арношка лукаво зыркал глазенками, ловил отцовский взгляд и, поймав его, улыбался, неумело дергал ручонками. И тогда отец с сыном затевали любимую игру. Роберт резко ударял в ладошки, выпаливал: «Б-бу-ух!» — и Арношка, обнажив в счастливой улыбке розовые десны, заваливался на бок, точно сраженный. Хохоча, Роберт сажал его прямо, прислонял спинкой к стенке и снова ударял в ладоши, вскрикивал: «Б-бах!» — и Арношка с готовностью падал на другой бок. Длилась эта потеха, на радость обоим, иногда долго. Тут прибегала с кипой тетрадей стремительная Софа, нежно

воркуя, приговаривая смешные ласковые слова, бросалась к Арношке, а Роберт, торопливо проглотив суп, мчался в вечерние классы...

Интересно, вспоминаются ли теперь те годы Софье, запало ли ей что-нибудь в сердце — кто знает, но Роберту Александровичу и сейчас еще кажется, что детство, каким бы оно ни было,— прошедшее в лесном ауле в бревенчатой избушке, и начало супружества с Софой в южном селе, в мазанке-землянушке при школе, похожей на караван-сарай, были лучшей порой его нескладной жизни...

...Нет, не уснуть. Сам себе разбередил душу.

Роберт Александрович встал, свесил с кровати ноги и почувствовал, как струилась холодная волна по полу, обволакивала стены, тянулась ввысь, к теплу. Пожалуй, следует подтопить «буржуйку», не то к утру выстудится времянка, точно погреб.

Встретились с Софьей на свадьбе сына. Была она явно сконфужена непривычной для себя ролью, многолюдьем в чужом доме среди незнакомых, вниманием, которое она вызывала своим появлением, суетой и хлопотами вокруг, встречей с сыном и бывшим мужем, которых не видела восемь лет. Говорила слишком громко и оживленно своим четким педагогическим голосом, никак не попадала в верный тон, взглядывала на долговязого Арно растерянно и робко, словно не узнавая, а Маринку называла «милочкой», «деточкой», и звучало это неестественно, неприятно. Должно быть, Арно поведал Маринке кое-что о странных отношениях родителей: с детской непосредственностью и с любопытством рассматривала она свою свекровь и морщила при этом носик.

Как-то невпопад, придирчиво начала вникать Софья во все детали свадьбы, расспрашивать, сколько приглашено гостей, кто они и откуда, да где и как все будет происходить, как и где намерены молодые в будущем жить и почему решили играть свадьбу именно здесь, в дачном поселке, а не в отчем доме или, на худой конец, в приличном ресторане, и Роберт Александрович понимал, что все эти вопросы обращены главным образом к нему, и чувствовались в них упрек и раздражение, однако он помалкивал, сидя в сторонке, и про себя замечал, как дородная, не по годам сырая сватья, мать Марины, оскорб-

ленно поджимала губы и хмурила густые черные брови, как озабоченно хлопотала вокруг смущенная Анна Михайловна, а Арно подчеркнуто вежливо и обстоятельно разъяснял, как он сам выразился, «суть сложившейся ситуации». Возникла опасность, что предсвадебная беседа повернет невзначай в нежелательное русло, и тогда Роберт Александрович, впервые прямо посмотрев на бывшую жену, глухо произнес:

— Успокойся. Все идет как надо.

Софья осеклась, сникла сразу.

— Ну да... конечно... конечно... Извините... Я понимаю...

И отошла с нескрываемой обидой.

За свадебный стол их усадили рядом, и Роберт Александрович деликатно ухаживал за Софьей, и все шло хорошо, достаточно сумбурно и шумно, гости кричали: «Горько!» — и жених с невестой, вставая, лихо целовались под дружный счет: «Пять... шесть... десять!» Софья тоже сказала тост и расчувствовалась, прослезилась, и, слушая ее, Роберт Александрович побледнел, а пальцы его мелко-мелко дрожали.

Свадьба между тем разгоралась. Речи тонули в неровном гуле. Молодежь, друзья Арно и Марины, самозабвенно «балдела». Пол в недостроенном доме ходил ходуном. Динамик отчаянно выстреливал оглушительные синкопы, корчился в бит-муках. От взрывов хохота и криков ошалело взлаивали псы в дачном поселке.

У Софьи разболелась голова, и она ушла во времянку. Роберт Александрович походил, послонялся по комнатам, по двору, потрясенно смотрел на первобытные пляски, затеянные студентами, на конвульсивные содрогания с дикими вскриками, воплями, заглянул даже на кухню, где хлопотали Анна Михайловна с сестрой, посидел немного рядом с молодоженами и наконец, не найдя себе места, тоже отправился во времянку.

Софья лежала в постели и курила.

— Считаешь, у них все будет хорошо? — спросила она сипловатым голосом после долгого молчания. — Они, по-твоему, — пара?

Он опустился в кресло-качалку, вытянул гудевшие ноги.

— В таких случаях не считают, а надеются.

— А мне тревожно что-то... Вроде не подходят они.

— Почему же?

— Так... Будущая актрисочка. Сквозняк в голове.

— Ну, уж... Сквозняк, полагаю, не только в головах актрис гуляет.

Софья выпустила между чуть вытянутыми губами тоненькую струйку дыма и прикрыла глаза, вздрагивая ресницами. Он догадался, что замечание его она могла воспринять как намек или, еще хуже, как упрек, и поэтому поспешно добавил:

Главное, что сошлись по любви.

— По любви... по любви... — медленно повторила Софья. В голосе ее послышались неприязнь, досада, и Роберту Александровичу показалось, что он понял, что́ именно она хотела сказать.

Молчали, прислушиваясь к гвалту во дворе. Уличный фонарь слабо освещал окошко.

— Ах, как болит голова... — Софья вытянулась под одеялом. — Расскажи хоть о себе. Столько не виделись... Никого у тебя нет?

— В том смысле, как ты думаешь, — нет.

— Что ж так?.. Вот и сын женился... свободный...

— Свободный... От чего?

— Ну, как же? Мужчина видный, степенный. Знаменитый. Сколько можно бобылем-то?

Он дернул плечом. Говорить не хотелось. А может, и не о чем было...

Странно: это было нынче, в июне, всего три месяца назад, а кажется — прошла вечность. Она лежала на этой вот кровати, «буржуйки» тогда еще не было, и время от времени нервно натягивала одеяло на грудь, и белела в предрассветных сумерках ее обнаженная рука, стряхивавшая пепел в цветочный горшок. А Роберт Александрович сидел в плетеном кресле опустошенный, потерянный, вытянув ноги и прислушиваясь к печальной дрожи в груди.

Во дворе вдруг все смолкло; молодежь отправилась кого-то провожать на станцию, а потом пройтись босиком по росе, разжечь в лесу костер и «балдеть» до одури, до изнеможения.

В наступившей неожиданно тишине слышно было, как за оградой сосед рвал меха охрипшей гармошки, пытался даже петь, но каждый раз захлебывался в надсадном кашле и глухих всхлипах. Странно: недавно все это было, в июне...

V

С утра свежило. Время, по всему видать, было позднее, но дачный поселок укутался знобящей мглой. Низко по земле стлался туман, натягивал влажность, волочил, клубясь и разрастаясь, свой сизый шлейф, окутывал деревья, дома, ветхие, приунывшие сарайчики, и солнце, все еще робко выглядывавшее из-за верхушек здоровенных деревьев, бессильно было его развеять.

Но день входил в силу. Небо голубело, ширилось, проснулся ветерок, и вздрогнул затихший ельник, и туман воровато прижимался к земле, заползал в чащобы, прятался по ложбинам, недоступным солнечным лучам.

Роберт Александрович вышел из времянки, зябко поежился. В теле чувствовалась неприятная ломота, в затылке ныло, как всегда после бессонницы.

Сад был гол и неприглядеи. Яблони понуро мокли. Прела на грядках пожухлая, побитая морозцем картофельная ботва.

Пусто. Уныло.

На крыльцо вышла Анна Михайловна — в платке, безрукавке поверх кофты, в фартуке, в разношенных войлочных сапогах.

— Доброе утро, сват! Пойдемте чай пить. Небось замерзли?

— Сейчас, сейчас, Анна Михайловна. Вот только за водой сбегаю.

— Да не надо, сват. Я сама потом схожу.

Он откинул крышку бидона, стоявшего на тележке. Так и есть: ни капли. Семеро душ во дворе, а воду таскать, кроме Анны Михайловны, некому.

Пока Роберт Александрович привез на тележке бидон воды, помылся, помахал руками, попрыгал малость, косясь на крыльцо, ломота прошла и тупая боль в затылке ослабла.

— Проходите, проходите, сват... Садитесь.

С утра Анна Михайловна успела проделать уйму дел: натаскала дровишек, растопила печь, сготовила чай, проводила на работу зятя и дочь; потом разбудила Арно и Марину, сварила им кофе; потом одела, накормила внучек, одну отвела в школу, другую — по дороге — запихнула в детсад; возвращаясь, заглянула в магазин — не

привезли ли с утра мясо, купила молоко, хлеб, узнала, работают ли сегодня химчистка, прачечная, будет ли завтра баня, управилась со всякими мелкими делами по дому и теперь отдыхала, отводила душу за чаем, в теплой кухне, где можно было с часок без спешки посидеть, обдумывая предстоящие хлопоты на весь оставшийся день.

— Побежали детки-то спозаранку, — растягивая слова, точно выпевала Анна Михайловна. — Жалко их мне будить, ох, жалко. Не высыпаются ведь ребятки. У них, сват, чуточку нескладно получается. Маринке нужно утром к одиннадцати, Арно — к девяти. А едут вместе... Не могут друг без дружки-то... — Анна Михайловна развела руками, и лицо ее смягчилось, на дряблых губах мелькнула улыбка, и глаза потеплели. — Вечером Арно мог бы пораньше домой вернуться, а он дожидается Маринку, пока у нее кончится репетиция. И так каждый день... Пейте, пейте, сват, еще...

Чай, крепкий, запашистый, растекался по жилам, бодрил.

— Надо им снять квартиру в Москве, — озабоченно наморщил лоб Роберт Александрович, — а то зимой трудно будет.

— Тру-удно-о, — согласилась Анна Михайловна. — Только больно дорого нынче квартиру снимать. А здесь как-никак — семья, вместе. И мне веселее, спокойнее, и им неплохо: варю, присматриваю.

Все выше взбиралось солнце над лесом. Кусты под окном встрепенулись, ожили. На заборе играли веселые блики.

— Распогодилось-то как... Небывалая осень! У нас, сват, уже и снег был, и дожди, холода. И вдруг на́ тебе — теплынь, солнышко, ну, прямо как бабье лето.

— Выходит, повезло мне, Анна Михайловна. Пойдука поброжу по лесу. Грешно упустить такую возможность, а?!

VI

Разъехались после свадьбы кто куда. Софья спешила в Ленинград на какие-то курсы работников школ с эстетическим уклоном. У Роберта Александровича горела путевка в санаторий. Арно предстояла производственная практика, и он хлопотал, чтобы его на правах молодожена оста-

вили где-нибудь поближе. Маринке подворачивалась съемка в каком-то учебном фильме здесь же, в Подмосковье.

В электричке было душно и многолюдно. Теснились пассажиры даже в тамбуре. Роберта Александровича и Софью оттиснули к самому выходу, и пришлось им всю дорогу стоять, едва не прижавшись друг к другу.

Электричка грохотала, дергалась, раскачивалась. Мимо, горбясь, проплыла Акулова гора, и Роберт Александрович начал рассеянно бормотать про себя запомнившиеся со школьных времен строчки: «...а низ горы — деревней был, кривился крыш корою». Из строчки вырывались причудливые слоги — в такт грохочущего вагона: гор-кри-кры-кор.

Софья была задумчива и казалась усталой. Он незаметно покосился на нее, отметил тонкую сеть морщинок под глазами, скорбную складку возле губ, обвядшую шею, нить сединок у висков. Она перехватила его взгляд и — должно быть, догадалась, о чем он подумал, — недовольно сдвинула брови. «Знаю, знаю, что выгляжу плохо. Как же?.. Дорога, бессонная ночь, застолье. Даром это не проходит. Да и какой педагог, хотела бы я знать, выглядит хорошо к концу учебного года? Тем более если ты одинокая женщина и тебе — куда денешься — сорок четыре».

Она тоже мельком — снизу вверх — скользнула по нему взглядом, чуть закусила нижнюю губу. «А ты... ничего. Молодцом. Легок, ладен... Не похож на обрюзгшего литературоведа. А вот шевелюра поредела и голова точно сизым дымком окутана».

Грохотала, спешила электричка. Мелькали за окном подмосковные ели, заметно редея ближе к городу.

А думы были вялые, чуть грустные.

«Так, так... кривился крыш корою... Еще одна межа, значит, позади. Сына оженил, свекром стал. Эдак и до дедушки недолго. Покатились, побежали годочки. А низ горы, между прочим, деревней был. Был... был... был... Не осталось другого утешения, кроме работы. Недельки три водички попью, печень подлечу, на песочке поваляюсь, похожу и потом засяду как проклятый за монографию. Может, до занятий листов шесть накатаю. А там завертит снова: лекции, семинары, заседания, статьи, доклады, ночные бдения за письменным столом. Таков уж твой

удел, почтенный... э, как тебя... свекор до самых... до крыш корою...»

«Опять раскалывается голова. Конечно, постарела, издергалась. Надо бросать завучество. Не то в педагогическую савраску превратишься. Боже, до чего все банально! Сын, Арношка, женился! Представить только — ужас!.. Вернусь с совещания, зайду к Жакупову: пусть раскопает путевку хотя бы в «Просвещенец». На море бы надо, горло подлечить, нервишки укрепить, да куда уж! Потом, потом нужно халупу подлатать, подладить, дрова на зиму выписать, мать в больницу устроить. А там — новый учебный год, и все сначала: планы, посещения уроков, расписание, педсоветы, комиссии... карусель...»

В тамбуре говорили, смеялись, толкались. И Роберт Александрович, и Софья несколько раз замечали на себе из другого угла пытливый и как бы сочувствующий взгляд невестки. Она устремляла свои черные блестящие глаза то на свекра и свекровь, то на своего косматого, осунувшегося за эти дни юного мужа, прижималась к нему нежно и уверенно, и вдруг сквозь толчею, сквозь разнобой шума оба явственно услышали ее восторженно-чистый голос:

— Чудно́... Правда, Арик, у нас так не будет. Никогда! Правда?

— Что, зайчик? — недоуменно прогудел Арно, наклоняя к ней голову.

— Ну, вот так... как у них... правда, никогда не будет?

Арно понял, насупился.

— А-а-а...

— Нет, ты скажи, скажи... Верно же: мы с тобой так не будем? Ну-у, Арик?!

— Никогда, зайчик! — И губами коснулся ее уха. — Никогда!

Маринка вся расцвела, еще плотнее прижалась к нему.

Роберт Александрович и Софья смущенно переглянулись. Оба вздохнули.

«Никогда... Никогда...»

VII

Никогда... Никогда...

Ничто не предвещало беды. И уж совсем не думалось о том, как приходит и почему уходит любовь, как

причудливы и жестоки ее капризы на излучистой тропе жизни.

Нет, ничто не предвещало беды. Казалось, ее и неоткуда было ждать. Все зиждилось на определенности и ясности: Роберт увлеченно занимался модной компаративистикой, выявлял схожие мотивы в литературе среднеазиатских республик, готовился к защите; Софья с головой ушла в школьные заботы; Арно подрастал, одолел алфавит и все чаще заговаривал о школьном портфеле; и была — хоть и на отшибе и совсем крохотная — квартира.

Все было ладно, складно, надежно. Нередко приезжали аульчане, благословляли очаг земляка, сына бедной Гермины, радовались его успехам, пили чай из рук доброй снохи-келин. Постоянно бывали друзья, приятели, сокурсники. Праздники, а их в молодости бывает много, отмечались шумно, с разными затеями и забавами. Думалось: так будет всегда. Или, на худой конец, долго-долго, до глубокой старости, которую даже в мыслях невозможно было представить.

Нельзя сказать, что все произошло неожиданно. Нет. Роберт смутно замечал, что с Софой с недавнего времени что-то происходит, улавливал в ее речи незнакомые ему интонации, какие-то уродливые, скользкие словечки, чуть-чуть отдававшие «клубничкой», скабрезный, с ухмылочкой отрывистый смешок, мимоходом роняемые изречения о том, что жить надо ярко, не чувством, а страстями, и любить — безоглядно, что-то такое зыбкое, неуловимое в движениях, жестах, что было ей доселе совершенно несвойственно. Потом замелькала в ее рассказах из школьной жизни одна и та же фамилия — приехавшего откуда-то молодого преподавателя то ли пения, то ли рисования, который, по ее представлениям, выделялся остроумием, острословием, необыкновенной смелостью, раскованностью и резкостью в суждениях, и, повторяя его слова, шутки, анекдоты, бон-мо, всегда попахивавшие, как говорят немцы, нижним этажом, Софа непривычно кривила губы, и в глазах ее вспыхивал тревожный блеск. Фамилия эта то и дело всплывала и в разных компаниях-застольях, где собирались коллеги-сослуживцы Софы, и Роберт видел, что упоминание ее — нередко откровенно ироническое, с какими-то двусмысленными намеками — было ей тем не менее приятно.

Потом как-то Софа привела его вместе с двумя подруга-

ми домой. Забежали они после какого-то педагогического мероприятия на часок, шумно, перебивая друг друга, делились впечатлениями, ругали дуру директрису, неисправимую формалистку, гремели посудой на кухне, а гость, Игорь Маневский, насмешливо взирая на бабью суету, кривил толстые лоснящиеся губы. Вот эта манера ухмыляться и кривить губы почему-то неприятно поразила Роберта с первой же минуты. Во всем облике Маневского было что-то несоответствующее его молодости и тому представлению о нем, возникшему из восторженных повествований Софы. Был он рыхловатый, носатый, пучеглазый, длиннорукий. Какой-то весь неряшливый, помятый. Разуваться он не стал, заявив с хохотком, что, во-первых, он еще не привык к этой азиатской манере, а во-вторых, ноги его — пардон, девочки — отдают отнюдь не амброй. На брезгливом лице его застыла скука. Гундося, спросил у Роберта, над чем он трудится, скоро ли защита, что такое компаративистика и с чем ее едят и кому — тысячи извинений — они нужны, эти самые схожие мотивы среднеазиатских литератур, и, не дослушав, длинно зевнул. Оживился он только за обедом, разлил по рюмкам коньяк, выгреб себе на тарелку половину яичницы с ветчиной и, облизываясь, сказал:

— За... э-э... чудесную хозяйку и... э-э... ее прекрасного супруга!

— О-о-о! — воскликнули женщины и переглянулись, а у Софы порозовели щеки.

Разговор был шумный, с перекатами, жеманными вздохами. Говорили все разом, громко, будто в классе на уроке, и со стороны казалось, что разгорается спор, но никак нельзя было определить о чем. Софа, заметно взволнованная, все время вскакивала, ставила на стол ненужную посуду, раскладывала расшитые салфетки, невпопад извинялась и, обращаясь к мужу, неестественно протяжно тянула: «Ро-о-обик...» Гостьи, тараторя, то и дело изучающе-пытливо косились на Роберта, как бы спрашивая: «Ну и как?» — и было в этих взглядах что-то неприличное, заговорщическое.

Маневский, опустошив посуду на столе и отдуваясь, пересел с ополовиненной бутылкой коньяка в кресло, вставлял в бойкую трескотню плоские бон-мо, называл женщин «девочками-коллегами», что, судя по всему, им очень нравилось.

Неожиданный визит этот вряд ли остался бы в памяти

Роберта — ему как раз предстояло в третий раз дать на перепечатку автореферат и разослать его по кафедрам, оформлять уйму официальных бумаг накануне защиты, — если бы о нем не заговорила сама Софа:

— Знаешь, — радостно сообщила она, — Маневскому понравилось у нас. Только, говорит, муж у тебя строгий, на инспектора похож. Такой шутник! Я ему объяснила, что ты совсем-совсем не такой. И пригласила его на мой день рождения.

Был Маневский и на дне рождения, приходил потом еще несколько раз то с Софой, то в компании, встречались в гостях у друзей, и Роберт заметил одну его особенность: он, оказалось, знал всё на свете и с одинаковым апломбом и уверенностью говорил о Бермудском треугольнике, о парапсихологии, французском импрессионизме, половых извращениях, хоккее с шайбой, разновидностях сыра, театре абсурда, защите природы и бит-музыке. При этом жонглировал темами так ловко, что говорил за столом только он, а другие сконфуженно слушали, подавленные собственным безнадежным невежеством. Как-то невзначай завел он разговор о комбинационном даре Таля, и мужчины, загоревшись, тотчас затеяли блицтурнир, и тут выяснилось, что познания Маневского в шахматах всего лишь на уровне «е-два, е-четыре», и всем стало неловко, но сам Маневский ничуть не смутился, заявив, что его лично в шахматной игре никогда не интересует результат сам по себе, он, видите ли, эстет во всем и в шахматах ценит лишь изящество. Правда, после этого случая он исключил из своего обширного репертуара тему о комбинационном даре Таля, предпочитая травить анекдоты из нескончаемой серии: «Вот приезжает муж из командировки...»

— Заурядный трепач твой Маневский,— заметил тогда простодушно Роберт.— Балбес. И к тому же, кажется, альфонс.

Софа вспыхнула, оскорбилась.

— Доживет он до твоих лет, будет в сто крат умней тебя!

Была Софа какая-то издерганная, взвинченная, ходила сама не своя. Роберт думал: весна, конец четверти, дел в школе невпроворот, скоро уже выпускные экзамены, да и за него, видно, волнуется — как еще пройдет эта защита? Все позднее приходила Софа домой, на недоуменный взгляд мужа отвечала с раздражением, отводя глаза: был пед-

совет, культпоход в оперный, день рождения одной учительницы, засиделась у Ольги, проводили кого-то на пенсию, ездила в совхоз договариваться о летней практике, выпускала стенд к празднику. Однако чувствовал Роберт, что это притворство, ложь, что происходит неладное, избегает его Софа, уходит от разговора. И было у него на душе тоскливо и противно. Однажды он спросил без обиняков:

— Скажи, что с тобой происходит?

Она, к его удивлению, как-то странно сжалась, покачалась взад-вперед, сложила руки меж колен, лицо осунулось, одеревенело, глаза потухли и, вздрагивая худыми плечами, сказала чужим голосом:

— А ничего и не происходит... Самая банальная история. Я... влюбилась. А он... а он на меня чихать хотел... Страшный человек...

И — расплакалась. Жалко, безутешно, беспомощно. Он опешил, никак не ожидал такого прямодушного признания, не нашелся сразу что ответить, губы запрыгали, во рту стало сухо.

— К-к-кто «он»?.. Уж не Маневский ли?

Это было немыслимо, непостижимо, невозможно. Это исключалось.

— Нет... не он...— проговорила она медленно, с измученным, несчастным видом. — Другой... Ты его не знаешь... Он работает в гороно. Мы и видимся-то редко.

— А... чего убиваешься? Я тебя п-п-поздравляю. Любовь ведь — радость. Счастье...

И тут же пожалел, что брякнул так глупо, фальшиво, потому что думал сейчас совсем не об этом.

Она зло смахнула слезы и прошла в ванную.

— От такого счастья... впору повеситься.

За завтраком, все так же избегая его взгляда, она неожиданно хохотнула — вызывающе, мстительно.

— Ты это... не принимай всерьез. Это я так... сболтнула, сама не знаю почему. Просто...

— Что просто?

— Ну... это... Ольгу представила.

— Хм-м... Странные, однако, шутки. При чем тут Ольга?

— Да у Ольги сложилась такая ситуация.

Хотелось думать, что это была вспышка, блажь, хотя тревога не исчезала. Несколько дней Софа приходила домой раньше обычного, однажды даже взяла Арношу из дет-

сада, чем удивила и мальчика, и Роберта. Имя Маневского не произносилось. И Ольга, закадычная подруга, не показывалась. В доме было тягостно.

...То, что должно было случиться,— случилось.

В тот день с утра томился Роберт, не находил себе места, изводило душу нехорошее предчувствие. Он съездил на кафедру, прочел заочникам лекцию, зашел в публичку — неясное, неведомое беспокойство не покидало его. Может, с мальчиком что случилось? Может, дома какая беда?.. Он помчался домой.

...Дверь была приоткрыта. В коридоре стоял большой чемодан. Софа, в синем костюме, светлом пыльнике, сидела в кресле, перебирала что-то в сумочке.

— Я ухожу, Роберт,— сказала она холодно и твердо. — Не хочу больше обманывать. Ни тебя, ни себя. Хозяйка Игоря написала директору, что я нахожусь с ... ним в преступной связи. Так и написала, старая стерва... Директор вызвала Игоря, спросила: «Правда?» Он ответил: «Да!» Что мне оставалось?.. Вот и решилось все.

Роберт судорожно сглотнул комок в горле. Присел. Дрожь колотила его.

— Ты?.. С Маневским?!

— Да! — с вызовом ответила она. — И ради бога, без сцен. Я и так на пределе... Я люблю его. Понимаешь?! И хочу быть с ним... всегда быть с ним. Всегда! И теперь мы уедем.

— К... к... куда?

— Не знаю еще... — Злая ухмылка исказила ее лицо. — Тебе это должно быть безразлично. Не торчать же нам в этой школе после всего...

Он опешил, увидев ее глаза — глаза женщины, с которой он прожил в любви и согласии восемь лет, глаза, в которых сейчас плескалось нечто похожее одновременно на ненависть, на презрение, на мрачную решимость.

— Ты с ума сошла! — Он был растерян, раздавлен и никак не мог смириться с тем, что это явь. — С Маневским?!.. С этим...

— Да!.. Каким бы он тебе ни казался — я люблю его. И он согласился на мне жениться.

— Жени-иться?!.. Со-согласи-ился-а?! — Голос его дрогнул, сорвался от боли и возмущения. — Да он же... мразь... Ничтожество... пошляк...

— Не смей! — словно отрубила она и решительно двинулась к выходу. — Тебе не понять его. И вообще, что́ ты понимаешь в людях?!

Он вскочил, преградил ей дорогу и промямлил противным, унизительным, жалким голосом, от которого его и потом, спустя много лет, бросало в жар:

— Постой... Может, одумаешься еще, а?.. Пока еще не поздно... Это же несерьезно, а? Я постараюсь все понять и... и...

— Оставь, — проронила она глухо.

Дверь захлопнулась. Щелкнул автоматический запор.

Роберт стоял как оглушенный, тупо глядел на порог, выкрашенный почему-то в черный цвет, и чудился он ему черной межой, отделявшей его прошлое от того, что еще должно было быть впереди.

VIII

Все пошатнулось. Рухнуло. Жилось, как во сне.

Прошла и долгожданная защита, были поздравления, цветы, объятия, банкет, но все это не задевало сознания, только мелькало и тотчас исчезало, истаивало бесследно, и казалось, происходило не с ним, а с кем-то другим, он только барахтался в вязкой тине, что-то делал помимо воли, что-то вовсе не обязательное, ненужное, в угоду всесильным обстоятельствам, и была с ним только опустошенность, разбитость, парализованность, тупая, ноющая, не отпускающая усталость, все болело, корчилось от боли, все в нем было воспалено, и он не мог себя заставить сосредоточиться, и не было сил вырваться из этого состояния лунатичности, и не было даже сил дальше так жить.

Вечерами он забирал Арношку из сада, рассеянно слушал его потешные рассказы о детсадовских делах, потом что-то делал на кухне, сидел у телевизора, ничего не видя и не понимая. Мальчик старательно играл гаммы, потом возился со своими машинами в углу и вопрошающе поглядывал на отца.

— Значит, мама больше к нам не приедет?

— Нет, Арноша, не приедет.

— Значит, будем мы жить с тобой вдвоем?

— Да-а... вдвоем.

И были в ясных глазах мальчика сочувствие и мудрость.

Ночи длились бесконечно, в изнурительных, бессмысленных думах. Лишь к утру, вконец измотанный, он забывался ненадолго, и каждый раз снилась ему Софа в объятиях Маневского, снилась разлохмаченная, растелешенная, распластанная. Откинув голову в сторону, с лихорадочным блеском в глазах шептала она: «Страшный человек! Ой, страшно, страшно!» — и отдавалась ему обреченно, сладостно, непристойно выстанывая...

И он просыпался от этого кошмара, настойчиво преследовавшего его, скрежетал зубами и обессиленно всматривался в серую муть за окном.

IX

...Он был тогда потрясен, опустошен и долгое время не мог прийти в себя. Почему? Почему? Почему?! Этот вопрос, словно наваждение, преследовал его неотступно, изматывал душу, мучил до тошноты. Иногда чудилось, что он доведет его до умопомрачения. Как это могло случиться? И что это было? Отуманивающая, ослепляющая, парализующая волю страсть? Или, может, какая-то злая сила посмеялась над Софой, обрекла ее на любовь к откровенному пошляку? Ту любовь, когда женщина теряет все: себя, свое достоинство, честь, стыд, когда любовь — рабство, даже желанное рабство, которое не может длиться долго и после которого неминуемо наступает опустошение? Чем можно объяснить, что весьма сдержанная, даже холодная, зрелая женщина вдруг с эдакой обреченной бесшабашностью, безрассудством увлеклась шалопаем, бывшим и моложе ее, и никогда не делавшим тайны из своих сутенерских наклонностей? Одно ему казалось ясным: в основе этой любви была не чувственность, не зов ненасытной плоти, от которого немеет рассудок, а нечто другое, подспудное, мистическое, закравшееся в мрачные закоулки подсознания. Словно некая неодолимая сила тянула ее в омут, и она не в силах была удержаться, испытывая сладкую жуть, оторопь, и бросилась в этот омут, очертя голову, чтобы потом всю жизнь мучиться и раскаиваться.

Сначала было недоумение, потом — растерянность, боль. Боль еще усугублялась тем, что она, вернее, причина

боли была необъяснима. Все было необъяснимо. Все. Все. Ясным было во всей этой банальной истории только е г о поведение — Маневского. Тут не было никаких «почему». Он действовал пошло, заурядно, низменно. И даже бравировал этим: не скрывал своего желания насладиться молодостью и жизнью.

Как-то Софа, закатывая глаза, сказала с придыханием: «Знаешь, а этот Маневский — страшная личность! Для него не существует ничего святого. Он на все, понимаешь ли, чихал. Ольга разревелась... ну, после этого... Говорит: как я теперь дочке в глаза посмотрю, а он ей: «Д-дура! Не все ли равно твоей дочке, с кем ты спишь?!.» Ужас! Такой, понимаешь ли, у него стиль!» И было непонятно, то ли осуждает она этот стиль, то ли восторгается им.

А между тем «страшный человек», которому и было-то всего двадцать четыре года, жил с сорокалетними бабами, кормился у них, рассказывал о них гадости, высмеивая среди знакомых их любовные томления, и считал свои похождения достоинством, внушая «девочкам-коллегам», что единственная правда на земле — вожделение, скрывать которое для свободного человека глупо и унизительно. Проповедь была стара как мир, но затасканный ее цинизм волновал, будоражил закомплексованных постной школьной дидактикой «девочек-коллег».

Словом, по части «страшного человека» все было понятно. Странно, что Роберт не испытывал к нему ни злобы, ни обиды, ни тем более ненависти. Была легкая неприязнь, возникшая при первой же встрече. Оставалась она, неприязнь, и потом, после того как все случилось. Только потом, вспоминая его, Роберт лишь досадливо морщился и невольно зажимал нос, как-то обостренно чувствуя запах его ног, который, как тот сам с неизменным хохотком говорил, отнюдь не отдает амброй. И тогда к неприязни примешивалась еще и гадливость.

А вот ее поведение, ее беспомощные уловки, ее нескладная, нелепая ложь, которой стыдился он сам, стыдился за нее, и она это понимала, были необъяснимы. Очевидно было одно: чем-то «страшный человек» прельщал ее, притягивал, и она жертвовала всем: прошлым, настоящим, сыном, собой, мужем, наконец, и жертвовала не просто, а очертя голову, неистово, находя удовлетворение в этой неистовости.

Почему? Почему?..

Объяснения не было. Да и напрасная затея искать в этом — все равно, страсть ли это, увлечение, любовь, дурман, — объяснения. Но до этой простой истины Роберт дошел не сразу. Еще долго изводил он душу, пытаясь как-то для себя объяснить эту истину, найти в ней, в любви, логику, забывая, что в любви как раз логики-то и нет. Нет и нет! Хоть разбейся! И, должно быть, потому, что любовь — вообще нечто зыбкое, неуловимое, причудливо-капризное, она часто не созидает, а разрушает, и не всегда влюбленная женщина прекрасна, ибо не всегда прекрасна любовь. Годами, многократно, до мельчайших подробностей и мелочей представлял он Софью того времени — взбаламученную, растерянную, униженную, отрешенную, жалкую, словно побитую, почти невменяемую, совсем-совсем не возвышенную любовью, а точно наказанную ею. Видно, бывает и такая любовь, уродливая, приносящая только боль, горе, отчаяние. Иногда — на всю жизнь. Уродливая любовь уродует, унижает женщину. А заодно и все, что вокруг нее, что связано с ней. И еще неизвестно, благотворны ли муки любви, всегда ли очищают они мрачные души своим якобы светлым трагизмом. Нередко она калечит душу, ранит больно, смертельно. Конечно, как всякая сильная душевная боль, как всякое страдание, и неразделенная любовь, и измена делают человека тоньше, душевней... Может быть... может быть... но раны эти незаживаемы, и горькая зарубка в сердце останется навсегда. Да что там... не красного словца ради и не хлюпиком, а могучим, как глыба, человеком было сказано однажды: «Я ж навек любовью ранен, еле-еле волочусь».

«Еле-еле волочусь»... Пожалуй, в эту куцую строчку умещалась вся дальнейшая жизнь Роберта. Он с трудом выкарабкался из оцепенения, не представляя ранее, что это так тяжко, и понял с годами остро и безнадежно, что любил Софу, любил только ее одну, любил, как мог, ровно и преданно, без диких страстей и клятвенных заверений. Он допускал, что его любовь была для Софы слишком обыденной; его честности, преданности, деликатности, вероятно, было недостаточно для той любви, к которой все годы их совместной жизни инстинктивно стремилась душа Софы. Кто знает, может, в чем-то и он был виноват... Одно ему было очевидно: по-другому он любить не мог и так уже любить никого не сможет. Случилась самая заурядная история. «Банальный случай» — как сама с

изумлением призналась Софа. Действительно, банально. Только кому от этого легче — ей? Сыну? Ему легче?

Он работал как одержимый, прямо-таки изнурял, оглушал себя работой. Написал несколько книг, защитил две диссертации, просиживал годы в архивах и библиотеках, читал лекции, воспитывал сына, заменяя ему и мать, и отца, добивался успехов, признания, казался преуспевающим ученым и литератором, но при этом он знал, постоянно чувствовал, что живет без огня, без стержня, точно надломленный. Он понимал, чувствовал, что никогда, ни за что не уйти ему от этого. И не вытравиться случившемуся из памяти. Какое там! Каждое слово, каждый жест, голос, интонации, все, все, все, что предшествовало т о м у и что последовало за э т и м, жило, жило неистребимо в клетках, оно кричало, плакало, стонало, болело. Боль с годами не исчезала, а просто реже накатывалась, спряталась, затаилась, притупилась.

Как приходит и как уходит любовь? И что она — любовь? Радость и счастье? Боль и страдание?

X

Что ж... Любовь, какая бы она ни была — злая или добрая, тихая или бурная, долгая или мимолетная, сотканная из радостей или из сплошных страданий, — все равно благо, или, точнее, дар. Дар судьбы. В жизни дар этот не каждому выпадает, как не каждому дается талант. Любить, выходит, не всем равно дано, и, значит, нужно довольствоваться тем, что есть, тем, что тебе отпущено. Сетовать не на кого. На себя — тоже. Любовь слепа, она как сказочная глупая птица удачи, опускающаяся на плечи плешивого пастушонка, и никому еще не давалась в награду — ни за ум, ни за благородство, ни за мужество, ни за какие-либо другие качества и достоинства. Было бы не так — всем дуракам, негодяям и трусам пришлось бы существовать на этой земле без любви, между тем сплошь и рядом чаще всего они в ней как раз и преуспевают. И напрасно порой еще твердят, что за свою любовь надо бороться. Вздор! С кем, с чем бороться? С любимой, любимым? С неопределенностью и неверностью? Со счастливым соперником? И как? Кулаками? Хитростью и коварством? Де-

монстрацией ума, красоты, способностей, возвышенности, силы, удачливости? Смешно! Любовь — не спортивное состязание, где победителя ожидает приз. Если она даже завоевана в борьбе, то, как правило, оборачивается поражением. Пусть не сразу, пусть потом, но непременно поражением. Для обоих. Борьба — стремление доказать свое превосходство, навязывание своей воли, открытое или искусно завуалированное насилие. А насилие и любовь — извечно несовместимы. Любовь, что бы там ни говорили,— благодеяние судьбы. И поскольку сама судьба прихотлива и обманчива, то еще в большей мере эти качества свойственны ее благодеянию.

...Должно быть, не сладко сладились. Сладка тайная любовь. Явная — приедается. А та, что мешает жить мужчине, становится в тягость обоим.

Через полгода Софья очнулась. Давняя ее подружка, Ольга, как-то заскочила вечером, зашныряла подведенными глазками по квартире, словно высматривала, нет ли каких-либо перемен, потрепала Арно, долбившего на пианино гаммы, за чубчик и, не в силах дальше скрыть распиравшую ее весть, позвала Роберта на кухню.

— Слышал? Софочка ушла от Маневского. Знать о нем ничего не желает. Говорит: подонок.

Роберт почувствовал, как побледнел и как тотчас вспыхнули уши; разноречивые чувства захлестнули рассудок, и он не нашелся что сказать, не знал, как поступить. Он не мог понять, зачем пришла эта неуемная болтуша, что ей надо, с какой стати вздумалось ей «тыкать» ему, и то ли она радуется, то ли злорадствует, и кого она, собственно, хочет осчастливить своей вестью. Подсознание подсказывало, что уместно, пожалуй, выставить эту дородную вестницу, или, по крайней мере, обрубить ее треп, а вместо этого он сидел перед ней как тюфяк, как размазня, проявлял воспитанность и деликатность, стал угощать ее чаем, с трудом подавляя в себе почти физическое омерзение. Гостья без умолку тараторила, намекала на худобу и истерзанный вид Софьи, на то, что она, видно, что-то с собой сделала, пыталась даже рассуждать о человеческой низости и благородстве, мимоходом спрашивала, как прошла защита и получил ли уже он кандидатский диплом, и Роберт мямлил нечто невразумительное, через силу, в мыслях его все путалось, что-то важное, нужное упорно ускользало, и все было гадко, гадко...

Потом общие друзья по разным случаям приглашали его на вечера, где непременно оказывалась и Софья, и все понимали, что встречи подстроены по чьей-то воле, что было это бесхитростной попыткой сблизить супругов, и были эти вечера мучительны и неприятны, потому что было не до веселья, думалось об одном и том же, и все пялили на Софью и Роберта глаза, и отношения их нередко бесцеремонно обыгрывались в велеречивых тостах и пьяных намеках. Роберт стал избегать этих сборищ.

Непосредственно при встречах с Софьей его подмывало все время спросить, почему она так быстро рассталась с Маневским, считает ли она по-прежнему его неотразимым, «страшным человеком» и была ли краткосрочная любовь с ним достаточной платой, вознаграждением за все муки и горести, на которые она обрекла мужа, сына и, может быть, себя. Об этом он думал постоянно, и ему было очень важно услышать от Софьи слова раскаяния, слова вины, но каждый раз он подавлял в себе это желание, это чувство, в котором сквозило злорадство, и так ни разу об этом и не спросил.

Раза три, предупредив Роберта запиской, Софья приходила домой, однако эти краткие посещения ничего, кроме досады, глухой тревоги и боли, не приносили. Роберт молчал, точно отгородившись от нее невидимой стеной, а Арно, должно быть, очень чутко уловил тягостные отношения между родителями, как-то по-своему понимал и болезненно переживал все случившееся, и каждый раз при матери замыкался, съеживался, упрямо сопел, а едва она, тоже расстроенная, закрывала за собою дверь, робко подходил к отцу, садился к нему на колени, и отец с сыном долго сидели так в обнимку и подавленно молчали.

Софья и сама понимала, что к прошлому возврата нет, что делать вид, будто ничего не было,— невозможно, немыслимо. Она понимала: дело не в сексуальной измене, точнее, не только в этом, а в неверности всему, что их столько лет связывало. Она знала: муж любил ее и, вероятно, теперь еще любит и может все простить, но только не измену. И, осознав это, она считала себя не вправе на что-либо надеяться, даже на привязанность сына, о котором в пору безудержного увлечения «страшным человеком» она действительно совсем забыла.

Вскоре она уехала в южный городок, к одинокой матери, оставив записку: «Ничего, видно, не поделаешь... Простите меня, проклятую. Роберт, береги сына. Ни мешать, ни напоминать о себе не буду». И все же к праздникам присылала она иногда поздравительные письма, и пахли они табаком и одиночеством.

XI

День клонился к вечеру. Солнце еще цеплялось за верхушки елей, пронизывало косыми лучами просеку. Из чащобы вышли двое — он и она — в потертых донельзя джинсах, сапогах, с палками и корзинами. Постояли, посмотрели с изумлением на человека, сидевшего в глубокой задумчивости на пне. Переглянулись. Пошли дальше, мягко шурша сморщенными еловыми шишками под ногами.

Пора возвращаться.

Прогулка в лесу освежила Роберта Александровича; лес точно освободил его от суеты, суматошливости последних дней, снял невидимый груз, успокоил, настроил на размеренный, созерцательный, немного печальный лад — состояние, которое больше всего соответствовало его, Роберта, складу и при котором ему лучше всего работалось. Ему всегда хорошо писалось, когда он бывал грустен.

— Ну, сват, загулялись!..— Анна Михайловна улыбнулась сухими губами.— Я уже подумала: может, заблудился... Проголодались небось?

Из времянки выпорхнула Маринка, одарила улыбкой.

— Роберт Александрович, а мы вас жде-е-ом!

В проеме двери качнулась долговязая фигура Арно.

— Давай, па-ап, за стол. Времени уже много, а до Домодедова ехать и ехать.

Роберт Александрович ахнул, взглянув на стол.

— Ну-у, братцы, такой дастархан только на слайды снимать.

Маринка, польщенная, по-девчоночьи рассмеялась.

Угощали Роберта Александровича все трое, наперебой. Арно подливал вино, Маринка все подкладывала в тарелку свои фирменные салаты, а Анна Михайловна просила отведать соленых груздей.

— Ты вроде смурной какой-то, папа?

— Я?.. Хм-м... Мне просто хорошо, ребята. И жалко расставаться.

— Ну, и славненько! Ну, и оставайтесь! Живите себе на здоровье! И нам хорошо!— Маринка проговорила это с таким горячим напором, с такой неподдельной радостью, что Роберт Александрович, глядя на нее, умилился.

В полупустом вагоне электрички они уселись рядом, и Маринка сразу же достала рукоделье и принялась довязывать шарф. Спицы быстро-быстро мелькали перед ее лицом. Роберт Александрович искоса поглядывал на сына. «Осунулся мальчик,— подумал про себя.— Скулы обострились. А губы пухлые, как у ребенка. И курчавая бородка — точно пух цыплячий. Чувствуется, по уши влюблен в свою Маринку. Пусть не обманет его любовь. Пусть она будет у него светлой, ясной. Пусть никогда не постигнет его разочарование. Не надо, чтобы он жил когда-нибудь с горькой зарубкой на сердце. Не надо... не надо... Мы ведь за них в ответе. Долговязые акселераты, волосатики-усатики, бородачи, а ведь беспомощные, как большие щенки. Или это только нам кажется, что беспомощные? Вот спорят: хуже они или лучше нас. О чем спорить? Просто другие. Не обожгло их, слава богу, сиротское детство, военное лихолетье. И рассказы о желанной миске айрана, о толченом просе, о куске лепешки, испеченной в золе, о горсти поджаренной пшеницы для них — пустой звук. У каждого поколения своя доля в жизни. И никто не знает, какая она. От всего мы их, детей наших, можем уберечь. И уберегаем. Но как их уберечь от ошибок в любви? Тут свой опыт не передашь. Невелика цена чужого опыта, а в любви и вовсе ничтожна...»

Маринка выглянула в окно, накинула еще несколько петель и вытащила из пряжи спицы. Потом, разгладив на коленях зеленый шерстяной шарф, полюбовалась на свое изделие и передала Роберту Александровичу:

— Разрешите вручить вам мой скромный презент! — Улыбнулась, являя веселые ямочки на щечках.— Носите на здоровье и не простужайтесь.

— Ай, спасибо, Маринушка!.. Спасибо, милая! — Роберт Александрович обнял ее за плечи, привлек к себе.

— Пожалуйста. Хотела подлиннее сделать, помоднее, да не успела.

«Ласковая, открытая душа,— подумалось Роберту Александровичу.— Совсем еще девчонка. А шустроглазая, умница, все видит, все подмечает. С чутким, отзывчивым сердцем, должно быть... Всегда бы так...»

Электричка, сбавив скорость, подкатывала к станции. «Ну, вот... ну, вот... — растерянно пробормотал Роберт Александрович.— Вот и все... все...»

У Ярославского вокзала он сел в такси и поехал в аэропорт.

1980

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТИ

Перед далью 4
Завтра будет солнце 89

РАССКАЗЫ

Сосновый дом на краю аула 150
У залива Тущи-бас (*диптих*) 173
Абильмажин . . 202
Каменный брод 219
В отчем доме 222
Чайки над степью 232
На отмели 249
Каролина 271
Жакып-Якоб 293
Дедушка Сергали 301
Голос осени 310

Герольд Карлович Бельгер

КАМЕННЫЙ БРОД

М., «Советский писатель», 1987, 352 стр.
План выпуска 1987 г. № 393

Редактор *Н. С. Гудкова*
Художественный редактор *А. С. Томилин*
Технические редакторы *Н. В. Сидорова, З. Б. Хамидулина*
Корректоры *А. В. Муравьева, Н. Г. Худякова*

ИБ № 5768

Сдано в набор 24.06.86. Подписано к печати 25.03.87. А 06631. Формат 84×108$^{1}/_{32}$. Бумага тип. № 2. Обыкновенная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 18,48. Уч.-изд. л. 19,00. Тираж 30 000 экз. Заказ № 470. Цена 1 р. 20 к. Ордена Дружбы народов издательство «Советский писатель», 121069, Москва, ул. Воровского, 11. Тульская типография Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 300600, г. Тула, проспект Ленина, 109

Бельгер Г. К.

Б 44 Каменный брод: Повести и рассказы.— М.: Советский писатель. 1987.—352 с.

Герольд Бельгер, живущий в Казахстане немецкий советский прозаик и переводчик.

Герои повестей и рассказов писателя — казахи, немцы, русские, живущие в едином интернациональном братстве,— не выдуманы, а увидены автором в реальной жизни.

Центральное место в книге занимает автобиографическая повесть «Перед далью» — о военном детстве мальчика, немца по национальности. В казахском ауле он обретает верных и искренних друзей на всю жизнь.

4702230000—107

Б ——————— 393—87

083(02)—87

ББК 84.Каз7

ВЫХОДЯТ ИЗ ПЕЧАТИ

1987 год станет годом
70-летия Великого Октября.
К этой знаменательной дате
издательство «Советский писатель»
готовит целый ряд изданий.

ШАГИНЯН М. Семья Ульяновых: Романы.— М.: Сов. писатель, 1987 (IV кв.).— 30 л.: ил.— (В пер.): 3 р., 100 000 экз.

Роман-хроника о семье Ульяновых строго документален. Он основан на огромной работе, проделанной Мариэттой Шагинян в течение многих лет.

В книгу входят также размышления о личности Владимира Ильича Ленина, неповторимых чертах его характера, публицистическое осмысление ленинских идей, ставших знаменем социального прогресса целой исторической эпохи.

ШЕЙКИН А. Опрокинутый рейд: Роман — Л.: Сов. писатель. Ленингр. отд-ние, 1987 (IV кв.).— 20 л.— (В пер.): 1 р. 80 к., 100 000 экз.

Роман А. Шейкина рассказывает об одной из драматических страниц гражданской войны — набеге белоказачьей конницы под командованием генерала Мамонтова на красные тылы.

Мамонтовский рейд, несмотря на свою внезапность и успех первых дней, был обречен с самого начала. Автор показывает, как этот рейд «опрокидывает» сам себя, как регулярные части корпуса превращаются в шайки грабителей.

Генералу Мамонтову, офицерам и солдатам его корпуса противостоят в романе образы большевиков — красных командиров и разведчика Шорохова, благодаря героизму которых и удается задержать продвижение белоказаков.